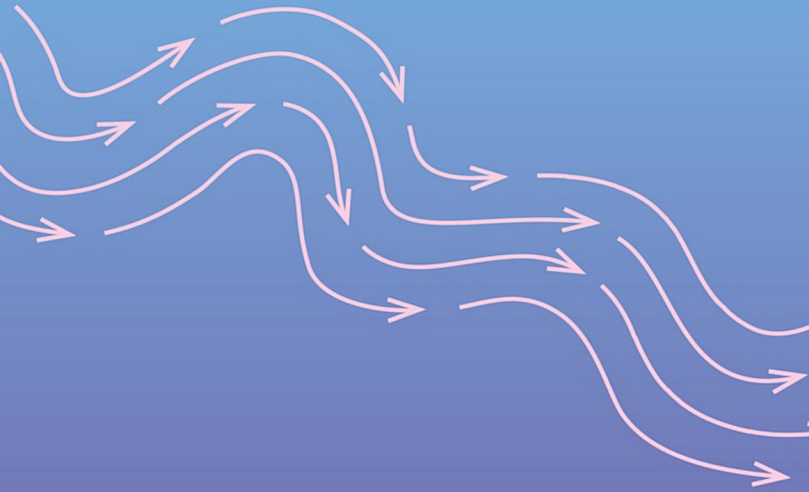
АНТОЛОГИЯ ШВЕДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



ИСТОРИИ, НАШЁПТАННЫЕ СЕВЕРОМ

Истории, нашёптанные Севером. Антология шведской литературы

Микаэль Берглунд, Мария Бруберг, Нина Вяха, Солия Крапу-Каллио, Элин Анна Лабба, Торгни Линдгрен, Андреа Лундгрен, Кент Лундхольм, Мона Мёртлунд, Аника Норлин, Аннели Ругеман, София Рютбек Эрикссон, Стина Стур, Пер Улов Энквист, Торстен Юнссон

Аннотация
Истории, нашёптанные Севером. Антология шведской литературы
Микаэль Берглунд. «Надземелье». (Отрывок из романа). В переводе Наталии Пресс
Мария Бруберг. «Омут». (Отрывок из романа). В переводе Елизаветы Голубевой
Ассар. 1955
Хокан. 1964
Хокан. 1966
Нина Вяха. «Искусство жарки анисовых лошадок во фритюре». (Рассказ). В переводе Наталии

Братовой
Солия Крапу-Каллио. «Пекарня и кафе Вестин». (Отрывок из романа). В переводе Аси Лавруши
1 декабря. На работе
Элин Анна Лабба. «Здесь велели нам жить господа». (Отрывок из книги). В переводе Натальи Асеевой
Bures eatnehat. Здравствуй, мать-земля
Rájit. Границы
Goahtoeanan, báze dearván. Прощай, моя земля
Стуоранъярга. Предпоследнее лето
Торгни Линдгрен. «Дом». (Рассказ). В переводе Екатерины Крестовской
Андреа Лундгрен. «Папа-дыра». (Рассказ). В переводе Анастасии Шаболтас
Кент Лундхольм. «Похититель дров». (Краткий авторский пересказ романа). В переводе Яны Бочаровой
Введение
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
Комментарий автора
Мона Мёртлунд. «Я еду через Юхонпиети, когда цветёт иван-чай». (Стихотворения из сборника). В переводе Алексея Алёшина
Анника Норлин. «Тебе смешно, а мне обидно». (Рассказ). В переводе Ольги Костанды
Аннели Ругеман. «Булиден — образцовое общество». (Отрывок из книги). В переводе Юлианы Григорьевой
Пролог. Улица Финнфорсвэген, 47
Часть 1. Птичье болото
София Рютбек Эрикссон. «Как на открытке». (Отрывок из романа). В переводе Юлии Колесовой
Глава тридцать первая
Глава тридцать вторая
Глава тридцать третья
Стина Стур. «Чюдищи». (Рассказ). В переводе Юлии Шубиной
Пер Улов Энквист. «Марш музыкантов». (Отрыв-

ки из романа). В переводе Ольги Денисовой
Напасть греховная
Улыбающийся мужчина
Торстен Юнссон. «Зимний этюд». (Рассказ). В переводе Полины Лисовской
Выходные данные

Аннотация

Какие тайны хранит северная глубинка Швеции? Чем живёт Норрланд? «Истории, нашёптанные Севером» отправят читателей в увлекательное путешествие, благодаря которому Швеция станет чуточку ближе. Проводниками выступят переводчики, внимательно отобравшие особенно полюбившиеся им произведения, разные по жанру и настроению.

В антологии представлены как современные классики, так и дебютанты. Все произведения публикуются на русском языке впервые.

Сборник подготовлен семинаром переводчиков шведской художественной литературы им. А. В. Савицкой при поддержке Шведского совета по культуре.

ИСТОРИИ, НАШЁПТАННЫЕ СЕВЕРОМ

АНТОЛОГИЯ ШВЕДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Истории, нашёптанные Севером
Антология шведской литературы

The anthology is prepared with the support from the Swedish Arts Council.



* * *

© Mikael Berglund, 2022, all rights reserved
© Maria Brobcrg, 2020, all rights reserved
© Nina Waha, 2017, all rights reserved
© Solja Krapu-Kallio, 2020, all rights reserved
© Elin Anna Labba, 2020, all rights reserved
© Torgny Lindgren, 2003, all rights reserved
© Andrea Lundgren, 2018, all rights reserved
© Kent Lundholm, 2022, all rights reserved
© Mona Mortlund, 2001, all rights reserved
© Annika Norlin, 2020, all rights reserved
© Anneli Rogcman, 2021. all rights reserved
© Sofia Rutback Eriksson, 2021, all rights reserved
© Stina Stoor, 2013, all rights reserved
© Per Olov Enquist, 1978, all rights reserved
© Thorsten Jonsson, 1941, all rights reserved

© Наталия Пресс, перевод на русский язык, 2023
© Елизавета Голубева, перевод на русский язык, 2023
© Наталия Братова, перевод на русский язык, 2023
© Ася Лавруша, перевод на русский язык, 2023
© Наталья Асеева, перевод на русский язык, 2023
© Екатерина Крестовская, перевод на русский язык, 2023

© Анастасия Шаболтас, перевод на русский язык, 2023
© Яна Бочарова, перевод на русский язык, 2023
© Алексей Алешин, перевод на русский язык, 2023
© Ольга Костанда, перевод на русский язык, 2023
© Юлиана Григорьева, перевод на русский язык, 2023
© Юлия Колесова, перевод на русский язык, 2023
© Юлия Шубина, перевод на русский язык, 2023
© Ольга Денисова, перевод на русский язык, 2023
© Полина Лисовская, перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. Строки

* * *

Микаэль Берглунд
«Надземелье»
(Отрывок из романа)
В переводе Наталии Пресс

В ПЕРЕВОДЕ НАТАЛИИ ПРЕСС

Отрывок из романа



Микаэль Берглунд

НАДЗЕМЕЛЬЕ

Засунув кулачок в рот, малыш мерно ударяется спиной о мою грудь, а сам внимательно смотрит вслед взрослым, уходящим по коридору. Они идут, слегка подавшись вперед, будто боятся случайно остановиться, собирают на кухне последние ведерки, контейнеры и пакеты, оставляют за собой цепочку грязных следов. Меня никто не просит помочь все отнести. Они видят, что я обнимаю мальчика — на другую поддержку с моей стороны они не рассчитывают, я ведь просто воспитатель в садике, куда ходит Юн-Эрик.

Он ищет взглядом старшую сестру среди почти неузнаваемых, грязных, пахнущих бензином и дымом тел. В грязных следах остаются волоски оленьего и собачьего меха, листики, раздавленные лисички, вереск и камешки. Брошенные на пол брюки и куртки сохраняют форму.

С трудом протиснувшись к двери, я с мальчиком на руках выхожу во двор, чтобы никому не мешать, и, возможно, чтобы увидеть ее немного пораньше. Сейчас три часа ночи, воздух сырой и холодный, но солнце уже поднялось над горой Рийбуоварддуо и даже начинает греть. Мы садимся на каменную плиту и ждем. Комары вылетели из своих укрытий и кусают все, до чего могут добраться. Мальчик никак не успокаива-

ется, изо всех силенок таращит глазки, чтобы не заснуть. Я прижимаюсь подбородком к его голове и чувствую, как он постепенно расслабляется. Мы ждем, что она вот-вот появится; начинают петь утренние птицы, веки снова распухают от комариных укусов. Сидя с мальчиком на руках, я чувствую, что и во мне растет нетерпение, желание увидеть человека, которого до этого видел только издалека. Малыш растет, и вместе с ним растут горы, деревня, я и его старшая сестра — мы растем одинаково быстро во все стороны.

Забрался мне под кофту, пригрелся и уснул; я глажу его по спинке и почесываю комариные укусы. Не бужу, хотя уже давно слышу звук мотора за оградой — хочу увидеть ее своими глазами, одну, без чужих мнений и ожиданий.

Девушка слезает с мотоцикла и кладет его на бок — и она, и мотоцикл почти целиком покрыты грязью и семенами. Снимает шлем и опускается на колени на траву рядом с нами. Темно-каштановые волосы торчат в разные стороны, более или менее гладкие только на шее. Сквозь сетку морщинок, комариные укусы, веснушки и грязь просвечивают крупные, напряженные черты лица. Может, она и не спала несколько дней, но все равно выглядит достаточно сильной и бод-

рой, чтобы при необходимости догнать и сбить с ног быка.

Она снимает перчатки, придвигается к нам, бережно забирает у меня братишку. Ее руки испещрены морщинками от яркого солнца, под ногтями грязь и земля. Немного отодвигается от меня, не вставая с коленей и оставляя после себя сильный запах пота, бензина, оленей и дыма. Прижимается ко лбу младшего брата губами, тихо заговаривает с ним, и он просыпается. Ее слова текут рекой — вместо ответа он сжимает в руке конец ее платка. Она смотрит на меня поверх головы ребенка — взмокшие от пота волосы обнажили обгоревший на солнце лоб. Кулачок малыша разжимается, платок выскальзывает из пальцев, и он снова засыпает.

Мне кажется, что мышцы ее лица создают новый рельеф прямо у меня на глазах, натягивают кожу так сильно, что она блестит над скулами, медленно двигаются крылья носа, подрагивает кончик, короткий желобок между носом и верхней губой становится глубже и вытягивается, змеятся потрескавшиеся губы. По ресницам бродит мошка.

— Ты что, влюбиться в меня собрался?

— До беспамятства.

Грязь у морщинок в уголках глаз трескается. Все, что ей говорил малыш, и намного-намного больше, отражается в ее прищуренных глазах. Я пытаюсь оправдаться.

— Братишка так тебя расхвалил, что я очарован заочно.

— Ха! Та же история.

У меня за спиной открывается дверь, я вздрагиваю — от этого звука безумный, возникший всего за минуту мир рушится. Грета надевает деревянные башмаки, выходит на площадку, забирает Юна-Эрика у Эйи, многозначительно смотрит на меня, но потом уходит и оставляет нас во дворе вдвоем.

Эйя шмыгает носом и кладет руки на пояс. Куртка шуршит, от рукавов отваливаются куски засохшей грязи. Она разговаривает с животом.

— Чувствуешь? Тут кто-то пытается появиться. Выбраться из-под земли, цепляясь ручонками за корни вереска.

Сон окружает Эйю со всех сторон и отделяет ее от меня. Глаза прикрываются, руки опускаются на колени, тело покачивается туда-сюда. Нормальный мужик почувствовал бы себя лишним, узнав, что у нее будет ребенок от другого, воспринял бы это как сигнал отойти в сторону.

А вот во мне разливается приятная теплая тяжесть. Эйя только что рассказала мне то, о чем еще никому не говорила, доверилась мне, хотя я этого совершенно не заслужил. Мы сидим в нескольких метрах друг от друга, но я спрашиваю почему-то шепотом:

— Тебе страшно?

Она с трудом приоткрывает веки и внимательно смотрит на меня. Поеживается от холода. Я хочу подхватить ее, чтобы она не упала, но не приходится. Я тут не нужен. Она едва заметно кивает.

Грета снова выходит во двор, забрать дочку. Ничего страшного, я успел побыть с Эйей наедине. Мы подходим к Эйе с двух сторон, кладем ее руки себе на плечи и ведем ее в дом. Она противоестественно тяжелая, вес тянет меня вниз, ее горячий висок вровень с моим, ее дыхание щекочет мое ухо. От нее пахнет вереском и костром. Сажаем на стул, снимаем верхнюю одежду. Прядь волос прилипла к платку. Кусочки засохшей грязи падают на пол, когда мы расстегиваем куртку и стаскиваем с плеч, меня ударяет теплой войной. Под шерстяной поддевой живот еще не заметен. Мы снимаем с нее пояс с ножнами, стягиваем штаны. Она протягивает руки, но не ко мне. Грета

бросает на меня взгляд, означающий, что мне пора уходить, помогает дочери встать и уводит ее в полумрак.

В передней пахнет так сильно, что щиплет нос и глаза. Не мой воздух, не для моих органов чувств. Я отвел домой Юна-Эрика, больше мне у этих людей делать нечего. Одежда Эйи медленно падает на пол, потеряв опору тела.

Обезлюдев, двор становится неузнаваемым. С мотоцикла Эйи падает гравий, выхлопная труба потрескивает. Чистыми остались только ручки и небольшое пятно на сиденье. Беру велосипед, выхожу на дорогу. Детское кресло, в котором я привез сюда Юна-Эрика, дребезжит на стыках асфальта. Оглядываюсь: за мной бежит пара бродячих собак, останавливаются, садятся, смотрят мне вслед, разворачиваются и трусят обратно.

Съезжаю с горы, на перекрестке кто-то едет мне навстречу, и метров за сто я понимаю, что это Айлу. Он полулежит на руле, вихляет, подъезжает поближе ко мне и поднимает левую руку в приветственном жесте. Он уже скрылся из виду, а запах и звук остаются. Он местный, и та близость, которую я только что ощущал с его девушкой, сменяется явным ощущением собственной чужеродности. Мы с ним особенно-то и незнакомы,

все, что я о нем знаю, мне рассказал Юн-Эрик. Когда Айлу проезжает мимо меня, я вдруг четко понимаю, что они с Эйей вместе, что у них будет ребенок.

Въезжаю в деревню. Пытаюсь представить себе завтрашний день.

Времени половина четвертого, через три часа мне открывать садик, но у меня нет сил войти в дом и поспать, поэтому я ложусь прямо на газон на лужайке перед домом, прикрываю лицо рукой, комары кусают меня за ушами, в лоб, затылок, по линии роста волос. Они залетают в рукава, чтобы наесться, а потом, сытые, выбираются наружу. Пение птиц сменяется солнцем. «Тебе бы уже пойти, Оскар», — шепчу я себе. Через три недели лето закончится, и я уеду отсюда домой. Лежу на спине, подложив руки под голову, слегка подергиваюсь, чувствуя, как по мне ползают комары. Что ж, я по крайней мере съедобный. Начинает болеть голова, потому что я уже довольно долго пытаюсь воспроизвести мимику Эйи, но мое лицо для такого дела не подходит.

— Оскар?! С тобой все в порядке?

Альва вышла гулять с собакой и увидела меня на газоне. Зрелище, конечно, жуткое. С трудом привстаю, щурясь от солнца. Мне хоть немножко

удалось поспать?

— Что, дверь захлопнулась, а ключ в доме остался?

— Да нет, просто вчера подвозил домой Юна-Эрика, у него семья оленят клеймила, вернулись поздно. Задержался, пока то да се, приехал, уже сил не было идти ложиться. Со мной все в порядке.

— Силы-то есть работать?

— Ну так, на исходе…

— Смотри, ты нам нужен живым, чтоб и на следующее лето приехал! Береги себя.

С трудом поднимаюсь на ноги и вхожу в дом через заднюю дверь, которая приоткрыта со вчерашнего дня. Оглядываюсь: грязных следов нет — так, немного песка да травы. Бреюсь, чищу зубы, причесываюсь. Стараюсь не смотреть в глаза своему отражению, хочу, чтобы со мной подольше остался взгляд Эйи. Наверное, мне ее лучше не видеть. А воспоминания о ней я смогу взять с собой, когда встречу человека, который захочет быть увиденным так, как сегодня ночью увидел ее я. Больше я сюда не вернусь. Это мое последнее лето в Аммарнэсе. Дедушкины рассказы о проведенном здесь детстве, вынужденные поездки сюда с папой на рыбалку, годы работы в

садике, одинокие прогулки в горах по выходным. Я никогда не чувствовал себя здесь как дома, сколько бы жители деревни ни говорили, как они меня ценят. Сегодня я буду рядом с другими детьми. Не так уж все и плохо, если задуматься.

Мы с тремя детишками полдничаем во дворе около кострища, и тут за оградой останавливается мотоцикл. Из-за угла выходит Айлу с Юном-Эриком на руках, настроение у него явно паршивое, а мальчик совсем на грани, щеки в красных пятнах. Наревелся так, что уже ничего не соображает, только смотрит пустым взглядом в никуда.

— По-моему, у нас тут кто-то хочет с тобой поговорить.

Встаю со скамейки, но не пытаюсь взять мальчика, пока он сам не потянется ко мне. Айлу одет в холщовые брюки, местами протертые почти до дыр, и фланелевую рубашку с закатанными рукавами — жилистые руки, держащие малыша, все испещрены комариными укусами и шрамами, грязь местами так въелась, что больше напоминает татуировку. Лоб весь в морщинах, даже когда лицо спокойно. От него как всегда сильно пахнет костром и смоляным маслом.

— Скажешь чего или как, Юн-Эрик? Говори, или

поедем обратно домой, — продолжает он, не давая мальчику времени открыть рот. — Ты хотел, чтобы Оскар забрал тебя к себе домой в Люкселе?

Я беру Юна-Эрика, ставлю его на землю, а сам присаживаюсь на корточки чуть поодаль. Он жмется к ногам Айлу, не выпускает его руку, но смотрит на меня, так крепко сжимая зубы, что аж губы белеют. Почему он вообще такое сказал? Он же совсем недавно так скучал по Эйе, что с ним было почти невозможно разговаривать. Да и к ее парню вон как жмется. Юн-Эрик поворачивается к детям, которые стоят за моей спиной и жуют gáhkkuo (гаккуо)[1], — проверяет, не будут ли его дразнить за то, что он плакса. Ко мне незаметно пробралась Майвур и тянет ручки, чтобы я взял ее.

Мы долго стоим и пытаемся найти выход чувствам малыша, которых как будто бы нет. Дети засовывают пальцы в рот, мы, взрослые, для них — словно стволы деревьев, пытаемся улыбаться друг другу. Юн-Эрик успокаивается, ковыряет ногами землю, осматривается по сторонам, и Айлу чувствует, что наступает подходящий момент уходить. Он забирает мальчика с собой, кивает

---

[1] Примечания: 1
Саамские традиционные лепешки.

мне на прощание, и мы расстаемся. За домом раздается мотор мотоцикла, и они исчезают из виду.

Майвур прижимается своим лбом к моему, ее голубые глаза сливаются в один большой глаз. Кладет пальчики на уголки моего рта и тянет вверх. Неужели я правда просто возьму и уеду от всех вас навсегда? Она убегает играть с остальными детьми в låvdagåhtie (ловдаготие). Их звонкие голоса разносятся по округе. Да нет, чего это я: дети наверняка быстро меня забудут.

Ласточки с криками носятся друг за другом, расчерчивая небо. Я провожу пальцами по лицу — пока я еще воспитатель детского сада. Майвур улыбается. Дети постарше садятся рядом со мной и пытаются выяснить, кто прав. Спрашиваю, что случилось, кто что сказал и что на самом деле имел в виду. Стою у входа в гоахти[2], засунув руки в карманы, и, как всегда, ничего не могу сделать, кроме как просто быть рядом. Дети, у которых есть олени, обсуждают оленей.

— А ты до забоя останешься?

— Нет, — качаю головой я, — послезавтра уезжаю домой в Люкселе.

---

[2] Примечания: 2

Саамская хижина или палатка трех типов покрытия: ткань, торф или древесина.

— И что там будешь делать?

— А что посоветуешь?

— Может, учителем станешь у нас в Аммарнэсе?

— Вообще я подумываю пойти учиться работать в лесу, — отвечаю я.

Трое детей хохочут, а Майвур аж падает на землю. И чего я такого смешного сказал?!

Все мои вещи помещаются в две сумки. Посуду, постельное белье и все необходимое мне предоставили вместе с квартирой. Кладу на место тщательно выбитые коврики, запираю дверь и оставляю ключ, где договорились. Сажусь в автобус — там кроме меня только один пассажир. Прикрываю глаза, пока мы едем по деревне, но к горлу все равно подкатывают слезы — резинка натягивается, и я это чувствую.

Не проходит и нескольких минут, как мне звонит Грета. Редкий случай.

— Ты еще тут?

— Проезжаю Наббнэс. Что-то случилось?

— Ах, ты уже уехал… Юн-Эрик убежал, хотела спросить, нет ли у тебя времени помочь нам его искать. Но раз уехал, счастливого пути! Надеюсь, еще как-нибудь соберешься с духом и заглянешь к нам в Аммарнэс!

— Не говорите ерунды, сейчас выйду.

Отстегиваю ремень безопасности, и, хватаясь за спинки кресел, пробираюсь к водителю.

— Господи, да его ж нет всего десять минут, я просто решила, вдруг тебе скучно и нечем заняться! Езжай домой, я сообщу, когда он найдется.

Но мы уже съехали на обочину около Бёртингчерн, и я выхожу на улицу. Крышка багажного отделения с шипением поднимается вверх.

— Да я все равно уже вышел. Заберете или дойти до вас?

Автобус отъезжает, оставляя меня наедине с моим решением.

— По-моему, ты немного поторопился.

— Ну меня не так сложно уговорить остаться на подольше.

Комары притворяются, что не замечают меня. Ага, думали, избавились от меня? Между елок виднеется Бёртингчерн. Папа наверняка привозил меня сюда, но я одно болото от другого вряд ли отличу.

Обычно Юн-Эрик особо далеко никуда не уходит. Бывало, что он сидел и играл один или замирал, глядя на горы по другую сторону от деревни. Раз Грета мне все-таки позвонила, дело серьезное.

Эйя приезжает за мной на заляпанном грязью родительском пикапе. Я закидываю сумки в кузов, не успеваю даже закрыть за собой дверь, как она отворачивается. Даже не здоровается. Чешет лицо, все в морщинках от беспокойства. Ее почти не узнать. У меня что, уже почти получилось ее забыть? Она вся на взводе, общаться явно не настроена, поэтому я еду молча и вопросов не задаю.

Склон Нэсбергет не вызывает у меня воспоминаний о катании на лыжах — с тем же успехом при въезде можно было повесить плакат с надписью «Так ты же только что уехал?». В дельте реки пасутся коровы, люди перед магазином оборачиваются вслед пикапу, словно спрашивая: «А это еще кто там сидит рядом с Эйей?»

Она проезжает мимо дома, едет дальше по дороге, потом останавливается, вылезает и ждет меня у пикапа, пока я переодеваю ботинки и прихватываю с собой термос с кофе и бутерброд — собирался съесть в автобусе.

Только когда мы уже отправляемся в путь, она говорит:

— Айлу сказал Юн-Эрику, что ты уже не вернешься, и тот просто развернулся и убежал в лес, и пропал.

Да, я знаю, что он любит, чтобы все были рядом, но нас в колледже учили в подобных случаях не устраивать особых прощаний с детьми.

Мы вышли на ту часть дороги, которая идет так близко к Gávtjávrrie Гавтйяври, что волны плещут о камни почти что под ногами. Эйя присаживается на корточки, пытается разглядеть его следы на влажной грязи, но если он и проходил здесь, то вполне мог перепрыгнуть это место.

— Когда я была как он, я часто уходила на мельницу. Я и сейчас туда часто хожу.

Озеро скрывается за темным ельником, плеск воды стихает. Ботинки шагают по гравию и сухой земле, приминая невысокую траву.

— Когда тебе было столько же лет, или когда тебе тоже казалось, что тебя все бросили?

Эйя останавливается и берет меня за запястье. У нее слишком пристальный взгляд, и стоит она слишком близко, но ждать умеет. Глаза цвета морской волны, немного покрасневшие. Ничего не говорит, просто дает понять, что я перешел границы дозволенного. Отпускает мою руку и идет так быстро, что мне ее уже не догнать.

Отреставрированное здание мельницы того же желтого цвета, как и раньше. Ручей Биссан в конце лета, как всегда, обмелел, но мельница все

равно место опасное, негоже там быть одному — особенно, если тебе шесть лет и ты в растрепанных чувствах. Вглядываюсь в пенистый ручей, но мне не страшно. Там его точно нет. Эйя стоит на мосту и зовет брата. Кричит так громко, что голос срывается. Мы переходим мост, идем к беседке. Малыш сидит на скамейке и ждет.

Нахмурив брови, смотрит на нас исподлобья, руки скрещены на груди. Эйя бросается к нему и обнимает, но он не двигается и смотрит на меня через ее плечо. Она прижимает братишку к себе, но он не смотрит ей в глаза. Эйя тихо говорит с ним, пока он не начинает плакать — по щекам текут крупные, как весенняя капель, слезы. Он тянется ко мне, но я не могу обнять его, не обняв заодно и сестру, поэтому просто протягиваю ему руку. Он вцепляется в нее с такой силой, что костяшки хрустят, и сердито смотрит на меня, пока я не опускаюсь на колени и не обнимаю их обоих. Глажу Юна-Эрика и Эйю по нагретым солнцем спинам. Она на какой-то момент прижимается головой к моему подбородку. На время я становлюсь для нее чем-то — пусть даже и просто подушкой.

Юн-Эрик отталкивает нас, встает и уходит в сторону дома. Эйя поправляет одежду, рукавом

рубашки вытирает с плеча сопли брата, поднимается и идет за ним.

Конечно, я могу уговорить себя, что оно само так вышло. По крайней мере, тело куда более расслабленное, чем в автобусе — размялся, подышал свежим воздухом, послушал звуки природы. На обратном пути Биссан журчит как будто бы ласковее, мы же нашли мальчика. Послеобеденное солнце высвечивает клубящийся над водой пар. Я специально отстаю, чтобы идти сзади и смотреть, как двое живых существ передо мной двигаются, как их голоса называют увиденных птиц и растения. *Såhkie*[3] *(сохкие), guassa*[4] *(гуасса), båsska*[5] *(босска), tsyjtsakh*[6] *(цыйцакх)*. Папа делал трубку из дягиля и курил семена, я помню этот запах до сих пор. Слова эхом разлетаются среди деревьев и камней, время от времени они оба оборачиваются посмотреть, не отстал ли я, но шагу не сбавляют.

---

[3] Примечания: 3
Береза (*саам.*).

[4] Примечания: 4
Ель (*саам.*).

[5] Примечания: 5
Дягиль (*саам.*).

[6] Примечания: 6
Воробей (*саам.*).

Мне приходит в голову сообщить Грете, что мы нашли мальчика. Она явно рада, но не удивлена. Ну и какая от меня была помощь? Эйя и так была уверена, что он на мельнице, Юн-Эрик даже со мной рядом не идет, я просто составил ей компанию. И побыл подушкой.

Молча садимся в машину и едем домой, готовясь к еще одному расставанию. Каждый смотрит в свое окно.

Айлу подвернул ногу и теперь от него толку мало — разве что готовить ужин на гриле перед домом. Я за это время успел побыть неприручаемым диким оленем, и Юну-Эрику пришлось изрядно потрудиться, чтобы повалить меня и заклеймить — слава богу, не ножом, а палочкой. Сидим на кухне, рисуем леммингов и пахнем травой. Смотрю в окно и вижу, как Эйя кладет голову Айлу на колени. Грета и Пер-Юнас входят на кухню с грязной посудой.

— Беглецу пора в кроватку! Завтра с утра Оскар будет еще тут, так что давай иди чистить зубки! Оскар, мы тебе постелили на диване в гостиной.

Обнимаю малыша, говорю ему спокойной ночи и убираю рисовальные принадлежности. Складываю посуду в посудомойку, слушая, как Грета читает сказку, а Пер-Юнас храпит перед теле-

визором. Не в силах больше оттягивать момент встречи, выхожу и сажусь к костру напротив молодой пары, ноги дрожат от нежелания так сильно приближаться к тому, что мне в этой жизни не суждено.

Поддерживаем костер, чтобы дым отгонял комаров. Айлу время от времени сгоняет их с лица Эйи и гладит ее по животу. Ему не терпится стать отцом.

— Жаль, что ты не останешься в Гавте, стал бы воспитателем нашего малыша в саду.

Айлу говорит резко и прямо, но все равно немножко в шутку — думает наверняка, что я ревную. Пытаюсь искоса разглядывать лицо Эйи — ее голова лежит у Айлу на коленях — и вспоминаю дословно все, что она мне сказала на этом самом месте, когда мы с ней увиделись в первый раз. Наверное, она рассказала мне, что из-под земли к ней стремится ребенок, потому что не была уверена, примет ли его Айлу. Я был для нее просто деревом — в дупло можно прокричать тайну, которую уже невыносимо держать в себе.

— Да, жаль.

— Мы будем скучать по тебе.

Слова Айлу удивляют меня. Он так говорит, потому что думает, что мы больше никогда не

увидимся? Эйя садится и смотрит на озеро. Сжимает руку Айлу и с трудом сдерживает зевок. Сдувая прядь с лица за ухо, ветер ласкает и ее волосы, и березу во дворе, и поверхность воды.

— Может, окунемся?

Мы оставляем все, кроме нижнего белья, у костра, и вместе молча идем к воде. Эйя поддерживает Айлу, помогая зайти в воду по коварным скользким камням. Один за другим мы погружаемся в тишину, темноту и холод. Вода сильно давит на веки и барабанные перепонки. Здесь нет ни комаров, ни взглядов — здесь мы все одинаково одиноки. Вынырнув, чтобы глотнуть воздуха, я вижу, что мы довольно далеко друг от друга. Раздается плеск воды. Будущие родители воссоединяются в теплом объятии, а я снова ухожу под воду. Кожа горит, глазам, ушам и легким уже невыносимо, и тогда я сдаюсь и возвращаюсь к людям.

Они уже подходят к дому, Айлу обнимает Эйю за плечи, они идут медленно и успевают обсохнуть — только с волос Эйи все еще капает вода. Забираем одежду в дом. Эйя вся в мурашках, гусиную кожу комарам не прокусить, мышцы напряжены от холода. Она поворачивается ко мне, и я пытаюсь забыть ее, пока еще могу видеть.

Эйя и Айлу принимают душ вместе после меня, чтобы сэкономить горячую воду. Лежу под пледом на диване, слушаю их болтовню и тихий смех. Мне становится легче думать о том, что они — отдельно, когда я представляю себе, как красиво переплетаются их тела. В гостиной нет штор, но я нормально не спал уже несколько ночей, поэтому, несмотря на белые ночи, глаза закрываются сами. Я погружаюсь в милосердную дрему.

Юн-Эрик повторяет мое имя, пока я наконец не отзываюсь.

— А ты скоро проснешься?

Времени уже десять часов, семья успела уехать в горы убирать ограждения с загонов. Айлу остался в деревне из-за подвернутой ноги, малышу тоже разрешили остаться, чтобы он мог попрощаться со мной. То есть последним, что я запомню про Эйю, станут все-таки капли воды в волосах, стекающие с шеи на покрытую мурашками спину, напряженные мышцы, поддерживающие хромающего Айлу. Запомню серьезный, встревоженный взгляд, сказанные в приступе незаслуженного мной доверия слова о том, что кто-то скоро появится на свет.

Воздух полупрозрачный, ветер колышет березы по другую сторону дороги, сгибая их в сторону

озера, которое временами белеет, когда в нем отражаются облака. Айлу заново варит кофе и отрезает мне несколько ломтиков сыра, Юн-Эрик тоже берет себе кофе, но в основном, чтобы размачивать в нем сыр. Мы сидим за столом на кухне и смотрим в окно.

— Что скажешь, Юн-Эрик? Хочешь ведь, чтобы Оскар остался здесь в Гавте? Может, он навестит нас в Лонгчерне зимой.

Юн-Эрик отворачивается. Расставание не дастся парнишке легче из-за слов Айлу. Мы вместе пьем кофе, слушаем тиканье часов и смотрим на озеро — этого более чем достаточно. Но Айлу не унимается:

— И вообще заезжай на Новый год, посмотришь оленей.

— Можно тебя на пару слов? — спрашиваю я.

Айлу берет чашку, мы выходим, прикрывая за собой дверь. Внизу склона, за дорогой, белеет озеро, вода высокая, заливает каменистый берег.

— Ты меня в Лонгчерн зовешь, потому что тебя совесть мучает? Из-за того, что Юн-Эрик так расстроился, когда ты сказал ему, что я сюда больше не приеду? Рано или поздно нам все равно придется расстаться.

Айлу хромает еще сильнее, чем вчера — а я

даже не спросил, как он умудрился так подвернуть ногу.

— Да не переживай ты, нам всем приятно, что ты у нас гостишь. Но теперь уже пора на автобус, пока ты не стал членом семьи.

Да какой там член семьи, кроме Юна-Эрика меня тут вообще никто не знает, с чего бы им было приятно, что я у них в гостях? Какое я вообще имею право на их радушие?

Юн-Эрик остается сидеть с Айлу в машине, я машу ему рукой из окна автобуса, но он не реагирует, даже не смотрит мне вслед. Интересно, что творится у него в голове? Он уже справился с болью расставания — если она вообще была — или вот прямо сейчас принимает решение забыть меня? Мне действительно не все равно, что с ним, или я так с ним сблизился, потому что мне очень хотелось познакомиться с его старшей сестрой?

Прикрываю глаза и начинаю следить за дыханием, пока мы не проезжаем Краддсэле. За окном березы сменяются елями и соснами, дома попадаются уже не так редко, хутора покрупнее, больше народу заходит, чем выходит, метр за метром мы удаляемся от гор и приближаемся к лесу, удаляемся от деревни и приближаемся к городу — я еду домой из дома. Меня должны переполнять

детские воспоминания и ностальгия по родным местам, но перед глазами стоит лицо Эйи, когда она обернулась, выходя из воды. На этот раз мне никто не звонит и не мешает уехать.

Служба в лесном полку, которой я так опасался, помогает мне дышать, но и требования там высокие. Горы провинции Норрботтен — совершенно уникальное место, особенно если раньше ты был бюджетником. Днем тружусь на износ, мои сослуживцы настолько непохожи на меня, что я даже не успеваю толком заскучать. Опыт работы воспитателем детского сада опять приводит к тому, что я становлюсь деревом с дуплом, в которое все кому не лень кричат о темных уголках своей души и запретных мечтах. Даже когда кто-то из командиров или психолог вдруг интересуется моим самочувствием, я не разрешаю себе ни о чем вспоминать. Наращиваю мышечную массу, сталкиваюсь с новыми ограничениями и учусь различать разные виды местности, снега и облаков, оказываясь в безвременье здесь и сейчас.

Я отодвинул личное настолько далеко от себя, что, когда наконец нас отпускают в увольнение на Рождество и меня выбрасывает в повседневное одиночество, я почти в панике от того, как долго скучал по ней, но запрещал себе думать об этом.

Снег укутал Люкселе в зимние одежды, но ничто не кажется мне красивым, если это неким явным образом не связано с Эйей. Брожу по освещенным дорожкам, нахаживаю километры по городу, узнаю, открываю заново. Пытаюсь отодвинуть будущее подальше, чтобы успеть привыкнуть к нему, будь то дом, береза, машина или что-то еще. Я воображаю, что встречу девушку, что у нас с ней будет ребенок, ребенок погибнет в автокатастрофе, мы разведемся, и я уеду жить заграницу.

Останавливаюсь перед витриной книжного магазина. Смотрю на свое отражение — бритая голова, широкие плечи и застывшее выражение лица. Провожу рукой по короткому ежику и щетине, сам себя не узнаю. На витрине выставлен фотоальбом под названием «Время горных леммингов». Впервые с момента поступления на службу я разрешаю себе подумать над приглашением Айлу навестить их на Новый год. Ехать туда сейчас — полный бред, они все про меня давно уже позабыли, как и я позабыл о них, но эти люди продолжают жить во мне и на самом деле я остался с ними.



Мария Бруберг
«Омут»
(Отрывок из романа)
В переводе Елизаветы Голубевой

В ПЕРЕВОДЕ ЕЛИЗАВЕТЫ ГОЛУБЕВОЙ

Отрывок из романа

Истории, нашёптанные Севером



Мария Бруберг

ОМУТ

Ассар
1955

В магазинчике Сигурда пылинки кружились в лучах солнца за ее спиной. Увидев ее, Ассар отпрянул прямо в стеллаж позади себя, так что все загремело, точно как в их первую встречу. Если она и заметила его, то не подала виду. Она не изменилась, прибавились лишь морщинки у рта и вокруг глаз, руки стали полнее.

Как у нее дела? Он не знал, они не разговаривали несколько лет. Ни когда он служил в армии, ни когда доучивался. Ему хотелось бы рассказать ей о подготовительных курсах: сдавать итоговый экзамен он ездил в Мальмё! Но кем он ей приходился, чтобы говорить с нею. Четыре года прошло. Ассар вел счет дням.

Он потер лицо, как будто чтобы сосредоточиться, не отрываясь от пылинок, круживших вслед ее движениям. Выглядела она цветущей. Щеки — как блестящие красные яблоки. Улыбка Маргареты заставила даже кислую физиономию Сигурда расплыться в улыбке, пока тот ее обслуживал.

Просто рефлекторно или чтобы делать хоть что-нибудь, Ассар потянулся вправо, взять что-нибудь с полки. В руки ему попала светло-коричневая банка какао. Напечатанные на ней глаза выглядели мистически, почти как живые. Ему казалось, что они вот-вот подмигнут в ответ, и тут Сигурд прервал его задумчивость.

— Так что, берем какао, или просто любуемся?

— Да, да… Возьму. Спасибо, — ответил он, и щеки у него покраснели, как у Маргареты. Выудил из кошелька несколько монет, пальцы вдруг стали неуклюжими. Вообще-то он приехал, чтобы купить еды на ближайшие дни и посмотреть, все ли осталось по-прежнему, а не за банкой какао. На что оно ему. Ассар не слышал, как вышла Маргарета, но колокольчик на двери звякнул, когда он поспешил на улицу.

Ассар догнал ее сразу за деревней. Удивился, когда понял, что она ждала его, совсем как в первый раз, когда они встретились. Она глядела перед собой, не мигая. Спина прямая. Улыбнулась ему в ответ, но не так радостно, как улыбалась Сигурду.

— Все думал, узнаешь ли меня, — сказал он.

— Конечно, узнала. Хотя и ты тоже стал старше.

— Зато ты совсем не изменилась, Маргарета. В точности такая, как я помню.

Ее лицо скривилось в странной гримасе. Не то чтобы он допускал, что Маргарета может быть некрасивой, но сейчас было близко к этому. Наконец она ответила, и голос ее прозвучал резко.

— Когда мы последний раз виделись, я ждала ребенка.

Он проглотил слова, которые собирался сказать, и они молча пошли рядом. Его будто что-то разрывало, тысячи тонких нитей, которые тянулись от Маргареты, притягивали его все ближе к ней, неотступно. Рукам хотелось прикоснуться к ее волосам, лицу, мягким плечам.

Маргарета первой прервала молчание.

— Ты исчез. До того, как пришло время рожать. Я только от Хеббе и узнала, что вы решили продать всю скотину и уехать.

— Да у меня и не было выбора, — ответил он, почувствовав, как острые шипы прорастают через содранную кожу. — Мать вряд ли справилась бы без меня. У нее больше никого не осталось. А тебе был нужен Хеббе.

Хутор остался за Ассаром. Мать переехала в маленький домик в Сорселе, а хозяйство переписала на него. Сейчас, приехав на свадьбу Аспера,

он был рад там пожить.

Дорога пока не высохла и лежала перед ними в весенней распутице. От шин в глине оставались глубокие следы, в которых еще стояла талая вода. Ветер приносил запах оттаявшего торфяника на краю леса и шумел среди деревьев.

— Иногда я скучаю, — сказал Ассар. — По дому. *По вам*. Я скучаю по вам.

Шаги их были не слышны, дорога слишком размякла. Они огибали размокшую грязь, обходя большие лужи с разных сторон.

— Мне, наверное, лучше пойти обратно, — сказал он наконец. — Могут заметить, что я бросил машину.

— Вышло, как тебе хотелось? С аттестатом? — произнесла она так, будто пытаясь избавиться от какой-то гадости, попавшей в рот. Кофейного зерна. Снюса. Паука, заползшего в уголок рта и устроившегося там жить. Да, подумал он, все вышло. Долгие часы над книгами, за письменным столом, в доме матери на Рингвэген, в доме, который так и не стал ему родным.

— А что вообще выходит так, как хотелось, — ответил он.

Когда Ассар впервые увидел мальчика, в глазах у него потемнело. Он направлялся к матери, в

Сорселе, когда заметил их на дороге, немного впереди. Снял ногу с педали газа и машина потихоньку покатилась вперед, а он тем временем мог рассмотреть все как следует: мальчик размахивал веткой, колотя по кустам вдоль дороги. Штаны на нем были мешковатые, над ботинками белели щиколотки. Рядом с мальчишкой, надменно и самодостаточно, возвышался Хеббе, наполовину скрытый от Ассара крышей автомобиля.

Волосы у парнишки были того же цвета, что и у Ассара — впрочем, как и у Хеббе. А глаза, глаза тоже Ассаровы, карие, серьезные? А нос как у матери, картошкой, или острый как у отца и у него самого? А зубы какие, а щеки, есть ли в нем что-то от Шёгренов?

Ассар обогнал их и остановил машину. Он с волнением искал себя, рассматривая лицо мальчика. И точно, он был там: в ямочках около рта, в глазах, которые таращились на автомобиль. «Хокан», — прошептал мальчик, когда Ассар спросил, как того зовут, и сияющая гордость так поднялась в нем, что едва умещалась в груди.

Гордость отползла, как пристыженный пес, когда мальчик взял Хеббе за руку, чтобы рассказать тому, как автомобиль хорош. Ассар не понимал, на что надеялся. На то, что мальчик его узнает?

Что где-то в глубине души поймет все все, увидит в Ассаре себя, отцепится от Хеббе и пойдет с ним. Что мальчик сможет то, что не смогла Маргарета. Как бы там ни было, он ощутил разочарование, услышав разговор Хеббе и мальчика, хотя и сделал, что мог, чтобы вклиниться между ними.

Что-то твердое и непроницаемое появилось теперь в груди, когда он услышал, как мальчик зовет Хеббе папой.

— Подвезти вас, папаша? — вырвалось у Ассара, и он не смог сдержать улыбку, заметив, как съежился Хеббе. — Идти-то тут, конечно, прилично — что старому, что малому.

Он видел, как Аспер венчался со своей девчонкой. Видел, как оба они светились, словно солнце весной, слышал благословения пастора и пожелания счастья от собравшихся. Когда Аспер делился планами на будущее, Ассар думал, что сам он свой шанс упустил.

Идя к Маргарете, он вспоминал как раз Аспера. До ее дома Ассар добрался пешком, к хлеву зашел с заднего двора. Снаружи, как и прежде, сушились наколотые дрова, колода стояла на своем месте. В углах, куда не попадало солнце, еще лежали заплаты слежавшегося снега.

Маргарета взвилась, едва он зашел в хлев, где

она возилась с коровами.

— Сдурел? — выпалила она, сжавшись как пружина. — Тебя могут увидеть. Хеббе или Хокан! Что я им скажу.

Голос ее звучал все пронзительнее.

— Они меня не видели, — ответил он, удивившись ее реакции. — Я вижу, что он от меня. Я про Хокана.

Она пожала плечами, и все раны, появившиеся у него за время, что он знал ее, засаднили.

— Просто хотел отдать тебе кое-что, — сказал он наконец и показал газету, которую держал в руках. Это была *его* газета. Ткнул в свое имя, напечатанное прямо на первой полосе. Его работа, после армии и учебы. Маргарета рассеянно взглянула на статью, пока коровы медленно, методично пережевывали жвачку. Потом протянула газету обратно, а когда он не взял, отложила ее в сторону.

— А это что, прям что-то из ряда вон? — сказала она. — Похоже, на это особо не проживешь.

Следующую фразу он принимался говорить несколько раз. Взвешивал и пробовал на вкус, и наконец решился.

— Маргарета. Он от меня. Мальчик от меня. Если я когда-нибудь увижу или услышу, что вы

делаете вид, что Хеббе — его отец, или я узнаю, что с ним обращаются, будто он — сын Хеббе, я расскажу все, всю правду, всем, так и знай.

Ассар решил уйти оттуда и не оборачиваться никогда.

Хокан
1964

Хокан нашел фотографию Хеббе в ящике на куче мусора, которую собирались сжечь — просто несколько дней шли дожди. Лучи солнца едва пробивались через щели меж досок, и было почти не видно, что внутри. Но похоже, что кто-то на скорую руку собрал все, что принадлежало Хеббе, и кое-как покидал в деревянный ящик Шведского акционерного сахарного завода: сверху стояла круглая печать: ШАС. Фотографии, некоторые в рамках, часть из них попортилась от лежания в ящике. Книжка с записями расходов, потрепанный сборник евангелических гимнов и несколько каталогов о рыбалке. Там же лежали письма, разобранные по порядку и увесистые, но без конвертов или марок. Хокан подержал их в руках и подумал, не открыть ли, но отложил в сторону, когда увидел шкатулку, чудесный деревянный ящичек со вставками из рога, в котором Хеббе хранил свои инструменты и который доставал, когда мастерил мушки, по вечерам, когда бывало достаточно светло — мушки, за которые

он выручал неплохие деньги. Обыкновенно он заваливал весь кухонный стол своими приспособлениями, шелковыми нитками и разными перышками от тетеревов, куропаток и глухарей, которых им иногда доводилось есть.

Хокан открыл ящичек так осторожно, как только мог. Там лежали крохотные ножницы, которые даже маме нельзя было брать, хотя она и очень просила, позолоченные щипчики, которые использовались для перьев, шильце с деревянной ручкой, бархатистой и потертой от длительного использования. Кончиками пальцев Хокан погладил инструменты, с которыми Хеббе провел столько времени, и на которые Хокан так подолгу глядел, сидя рядом.

В шкатулке лежала старая медная блесна, и Хокан всхлипнул, заметив ее. Положил на ладонь и потер большим пальцем. Она была матовой, не отполированной, и Хокан ясно представил, как она висела на груди у Хеббе, когда они рыбачили вместе. Его счастливая блесна. Которой при нем не было, когда он умер. Хокан осторожно накрыл шкатулку крышкой и надавил до щелчка, а потом положил рядом с собой. Потом достал фотографию в рамке, всю в белых пятнах птичьего помета, и положил рядом со шкатулкой. Он

огляделся в поисках чего-нибудь, чтобы накрыть вещи, оставшиеся в ящике, но ничего не нашел, и в конце концов снял рубашку, чтобы защитить их от пыли и птиц. Ящик был тяжелым, Хокан едва мог его поднять. Но все же потащил его по лестнице на чердак хлева. Вообще, ходить туда никому не разрешалось, но он решил, что там ящик будет в безопасности. Пол скрипел, когда мальчик переползал с балки на балку, но Хокан точно знал, куда поставить ящик. У третьего столба справа. Там его никто не найдет.

Он взял с собой шкатулку и фотографию, которую просушил и повесил на гвоздик, вдавив его в мягкую стену из оргалита, напротив девицы в белом махровом купальнике. Хеббе был высокий, долговязый. Ноги у него были почти как у журавля, и под одной штаниной над темным носком белела голая нога. Волосы, обычно гладко прилизанные, ветер раздул как знамя в прорехах. Он, похоже, не подозревал, что его снимают. Хокан решил, что Хеббе показалось, будто он вышел на фото неряшливым, потому-то оно и оказалось в ящике со всяким хламом.

Хокан сидел на кровати и старался запомнить все детали на фотографии. Глубокие морщины на лбу, собиравшиеся под кончиками паль-

цев. Волоски, торчавшие из ноздрей, которые иногда щекотали ему верхнюю губу, и он раздраженно пытался их выдрать. Пояс штанов, который он непрерывно подтягивал. Как будто все узнаваемые черты Хеббе оказались собраны на фотографии. Хокан смотрел и смотрел, и в конце концов лицо его будто бы разорвалось, и, брызгая во все стороны, хлынули потоки слез, соплей и слюней.

Повсюду что-то напоминало о Хеббе. Например, в лесу далеко за домом, в глуши среди вывороченных с корнями деревьев и мхов, и ягод, и чудовищ, среди запаха сырости и приглушенных звуков — лес будто вздыхал, как когда-то гармонь Хеббе. В этом месте Хокан всегда ощущал присутствие Хеббе, здесь ему вспоминалось, как тот все показывал и рассказывал. Он шел туда, когда нуждался в Хеббе, как сейчас, когда Нилас скандалил, а мама опять устала.

Он пошел по муравьиной тропе, самой широкой, какую знал, начинавшейся сразу на краю леса. Ее он держался, пока не достиг цели: огромного муравейника, под которым была наполовину погребена крепкая борона. Кто-то бросил ее тут, и теперь она лежала, все больше ржавея с каждым годом. Здесь всегда раньше всего поспе-

вала черника, но сейчас она еще зеленела снизу, где пока не вызрела под лучами солнца. Хокан все же съел несколько штук, и язык стал шершавым, как у кошки.

Он уселся на поваленное дерево и прислушался. Принялся строгать ножом ствол, по холмам и впадинам на коре, пока не осталось ничего, кроме тончайшей рыжей подкладки. Хеббе смог бы точно сказать, как она называется.

Наконец комары добрались до него. Они лезли в уши и в нос, заползали под воротник. Хокан сорвал ветку с березки поблизости и отправился назад, размахивая ею вокруг головы.

Минуя хлев, Хокан услышал всхлипывания. Тихие, приглушенные, но слышные даже с тропинки. Хокан не мог понять, откуда они идут. Решил сначала, что из торфяного сарая, но когда зашел туда, в темноту, где лежал торф, звук стал тише. Он завернул дальше за угол и зашел в хлев. Там тоже было темно, ни звука. Поискал в коровнике, пустом и вычищенном, пока коровы были снаружи, в загонах, заглянул в хранилище удобрений, где в нос ударял резкий запах. Ничего. Тишина.

Хокан поежился. Холодок пробежал по позвоночнику: он подумал, что это, может статься,

дурной знак, предвестник смерти. Тогда он решил пойти через дальний конец двора, к колоде для колки дров, где солнце висело низко над хлевом и так ударило ему в глаза, что он зажмурился, и тут звук послышался снова, откуда-то слева.

Приоткрыв дверь в сарай, Хокан ощутил укол страха; он подскочил, когда петли заскрипели. Но всхлипывания стали слышны отчетливей, и он настежь распахнул дверь, чтобы впустить свет в пыльное и грязное нутро сарая. Там сидел Нилас. Хохолок на его голове засиял как факел, когда на него попал солнечный свет. Слезы оставили на грязных щеках дорожки, но под глазами и носом все размазалось и засохло тонкой пленочкой.

Нилас плакал не сильно. Но похоже, что до этого рыдал вовсю — да, он почти задыхался. Хокан сел и обнял его. Всхлипы сменились мычанием, как будто Нилас снова дал волю слезам, он тесно прижался к Хокану, так вцепившись в рубашку, что швы на рукавах затрещали.

— Ты заблудился? — спросил Хокан наконец, когда Нилас успокоился.

— Не, — ответил Нилас, уверенно замотав головой. — Я ведь в сарае был.

— Так что стряслось?

Хокан не знал никого, кто бы выглядел злее,

чем Нилас. Разве что мама. Брови нахмурились в точности как у нее.

— Тебя не было!

— Ты меня искал?

— Угу.

— Ты подумал, что я тут?

— Я везде искал!

Хокан попытался ладонью вытереть ему щеки.

— Мама где? — спросил Нилас, он уже не злился, а прислонился к плечу Хокана.

— Мама? Она не дома?

— Маму не нашел, — замотал головой Нилас.

Что случилось с мамой? Она бы не оставила Ниласа одного надолго; даже если отходила от него, она никогда не отсутствовала так долго, чтобы тот не мог ее найти. Хокан выпрямился. Насторожился. Замер, как испуганный зверь. Думай.

— Ты искал нас тут? В сарае?

— Угу. Но страшно было. Я спрятался. Я плакал сильно-сильно и звал маму. И тебя звал! — Обвиняющий тон. Лицо снова скривилось.

— Мама не отвечала?

— Не, а потом, потом напугался я, Хокан.

— Потому что темно стало? Ты когда маму видел в последний раз?

— Я напугался, что я один-одинешенек.

Ему хотелось бежать, да, пробежать через двор в несколько прыжков, распахнуть дверь. Он боялся увидеть мамины ноги торчащими из двери, из кладовки, из кровати. Боялся увидеть маму безжизненно лежащей, схватившейся за сердце.

Но Нилас едва тащился. Он был таким грустным, что Хокану не хотелось орать на него, чтобы шел побыстрее, и они вместе пересекали двор, так медленно, что Хокану пришлось бороться с затаившимся в груди криком, готовым вырваться в любой момент. Мысли путались. Что теперь делать? Что ему делать, если мама исчезнет так же, как Хеббе, если Ларс заберет Ниласа, а его нет, что ему делать, если он останется один, брошенный, как Нилас только что, только на всю жизнь, сможет ли он хотя бы в школу ходить?

Но она распахнула дверь, прежде чем они дошли до мостика. Такая же взвинченная, как Нилас, — злая на то, что тот вышел из дома и напугал ее; она, может быть, бросилась бы к ним и оттаскала бы его за волосы или за ухо, не задвинь его Хокан за себя. Крик замер в маминой груди. Она стояла, уставившись на них, а Хокан — на нее. Наконец она вздохнула и зашла обратно.

После ужина Хокан спросил, где она вообще была. «В сортире, — ответила она зло. — Уже в

сортире нельзя спокойно посидеть», — ужалила, зашипев как змея. Нилас смотрел на них со своего места на полу, у дровяного ларя. Он выглядел напуганным, таким же одиноким и грустным, как тогда, когда Хокан нашел его в сарае. Хокан отодвинул от себя тарелку, есть не хотелось, а мама уронила голову в ладони, так что волосы скрыли ее, как занавеска.

— Я больше так не могу, — прошептала она. — Боже всемогущий, дай мне сил, помоги, я гибну.

Хокан
1966

Когда Нилас пропал, стало тихо. Тихо и пусто. Во всяком случае, спустя несколько недель, когда мама вернулась домой; его шапку с помпоном нашли на каменистом берегу под железнодорожным мостом в Сандселе, и поиски прекратили. Но в самые первые дни, пока никто не знал, где же мама, Ларс бушевал. Кричал, спорил с реальностью. Звонил в полицию. Топал взад-вперед на первом этаже, плакал, стонал и проклинал Маргарету. Выпотрошил все ящики из комодов, все шкафы, скинул книги с полки.

— Где ты! Что ты с ним сделала!

От отчаянного зова Ларса в животе у Хокана все скручивалось, но становилось еще хуже, когда тот замирал, уставившись в кухонное окно и так вытянув шею, что позвонки на ней проступали как сучки на дереве, а волосы торчали во все стороны. Беззвучный, поверженный. Тогда совесть ворочалась в Хокане, как личинки в навозе, возилась внутри так, что он не находил покоя.

Все эти дни Хокан просидел на лестнице, он

смотрел на Ларса и слушал. Как-то давно — кажется, целую жизнь назад — он докричался до изнеможения. Но теперь умолк. Язык как будто парализовало, раздуло так, что он больше не помещался во рту, а связки казались неподвижными, ненадежными. Хокан боялся, что скажет что-то, чего говорить не стоило, поэтому предпочел замолчать совсем.

«Где ты, мама, — думал он почти так же часто, как звал ее Ларс, — где ты, мама, где ты, помоги мне». Когда голод становился невыносимым, он запихивал в себя бутерброды на хлебцах, но заставить себя есть настоящую еду не мог.

Ларс тоже не ел.

Полиция совсем ничего не хотела делать, тогда, в первые сутки. Про констебля Биргера, у которого был красный от выпивки нос и дребезжащий голос, говорили, будто он закрывает глаза на то, что оленеводы порой находят в лесу рога, шкуры и кишки, хотя еще не сезон забивать оленей. Или на жалобы женщин, которые приходят в участок в слезах и с разбитой губой. Нет особых причин полагать, что ребенок не находится со своей матерью, заявил Биргер, хотя Ларс таскался за ним по дому, показывая, что вся одежда Ниласа на месте, и собранная сумка в том числе. Да, все осталось,

кроме того, что было на Ниласе в тот день.

Когда Биргер ушел, Ларс подсел к Хокану, опустив голову на руки. Прошло много времени, прежде чем он поднял мокрое, красное лицо и повернулся к мальчику.

— Что она тебе сказала, Хокан? Где она? Ты знаешь?

Хокан не мог выдавить из себя ни слова. Он покачал головой. Конечно, он не мог сказать, что она просила его взять Ниласа с собой. Ларс глядел на Хокана, приблизив к нему лицо, взволнованно, испытующе, и пока Хокан все молчал, взял его за плечи и стал трясти, как будто пытался вытрясти из него слова. Он то умолял, то кричал.

— Она должна была тебе что-то сказать! Скажи, Хокан, надо сказать, не защищай ее, где она, так больно, сердце она мне вырвала, — говорил он, ударяя себя в грудь кулаком, — где она? Я-то знал, что не нужен ей, но малого-то, мальчонку моего, забрала ведь мальчонку, где она?

Хокан только мотал головой, язык все так же не двигался, окоченел, как все внутри.

— Не знаю, — прошептал он наконец, и хотя бы это было правдой, он действительно не знал. *«Мама, где ты».* Ларс вцепился в него, повис на нем, прислонился к нему, и тоже заплакал. Они

плакали вместе. И наверное, Ларс думал, что плачут они по одной и той же причине.

Если бы Ларс не звонил в полицию так настойчиво, те, быть может, просто оставили бы все как есть; если бы он не привлек к себе внимание этим нытьем. Если бы мама не исчезла так надолго и не Биргер вел дело. Если бы все вещи Ниласа не остались на месте. Может быть, может быть, их жизнь сложилась бы совсем по-другому.

Наконец Маргарета объявилась. Никто не знал, где она была, и никто уже не ждал, что она вернется. Хокан так и не разобрал, кого и в чем подозревали, если вообще подозревали. Понял только, что его никто не подозревал. Ларс сам говорил с полицейским, пока Хокан мучился в доме.

Хокан с Ларсом сидели в доме у пастора и его жены, когда мама вернулась на велосипеде. В груди как будто застучал дятел, упорно колотя по ребрам. Если она и была напугана, то не показала этого. Никто из них не сказал ни слова, пока она не обняла его.

— Мама, я…

Она шикнула на него и прохладными пальцами убрала ему челку со лба. Хокан закрыл глаза, и она прошептала ему в ухо:

— Я знаю, Хокан. Что бы они ни спросили — мы в то утро были одни. Запомни. Нилас был с Ларсом. Мы с тобой оставались одни.

Когда Маргарета заявилась без Ниласа, никакого шума не поднялось. Скорее все как будто задерживали дыхание, пока ждали ее, и вдохнули, ощутив нехватку кислорода. Маргарета тоже вела себя тихо. Не плакала. Не кричала, не выла, не горевала. Не делала ничего из того, что делал Ларс. Понемногу поиски продолжились. Полицейские, дружинники и немало добровольцев прочесывали местность, выстроившись цепью. Несколько дней только и было слышно, как зовут Ниласа, к крикам примешивался лай собак, стрекот вертолета, отдававшийся эхом от берегов реки, шум лодок, сновавших туда-сюда и искавших в воде. Ларс так долго кричал, что в конце концов сорвал голос. Он единственный не прекращал поиски и в сумерках.

Наконец нашли шапку Ниласа, не участники поисковой группы, а какая-то женщина в Сандселе, которая гуляла с внуками у железнодорожного моста. «Это прям удача, что не труп нашла!» — фыркнула та с облегчением, что это просто шапка, и, не заметив, что удачей это показалось далеко не всем.

Шапка совсем потеряла вид. Ее купила мама — ярко-синий саамский колпак с красным помпоном — в сувенирном магазине где то между Елливаре и Арвидсъяуром, когда они в первый и единственный раз ездили навестить сестру Ларса с семьей — в основном потому, что Нилас не переставая хватал за шапку своего двоюродного брата. Ларс шапку не одобрил. В его семье такого не носили, сказал он, и у Ниласа уже была *тюппа,* тюбетейка, которую ему и следовало носить. Но Ниласу шапка полюбилась, он надевал ее каждый раз, выходя из дома, какая бы ни была погода.

Теперь она лежала на берегу реки, грязная и мокрая, с водорослями, набившимися в красный помпон, и стало понятно, что Нилас утонул. Сразу после этого поиски завершили. Ларс сидел, держа шапку в руках, и плакал.

Расследование продолжалось несмотря на находку, несмотря на то, что все, включая полицию, думали, что Нилас утонул. С Хоканом побеседовал констебль с мягким голосом и приветливым лицом, и это был не совсем уж *допрос.* Но все же Хокан отвечал тихо и односложно.

Почти все, что он рассказал, было правдой: как он собрал узелок и снасти и думал переночевать у старых изб в Мокаване и как поехал обратно,

потому что потерял блесну, старую блесну Хеббе. Констебль спрашивал и о Ниласе с Ларсом. Почему сумка Ниласа оказалась собрана, но осталась дома. Был ли Ларс в то утро дома. Часто ли Ларс напивался пьяным. «Я не знаю, может, не понадобилась, может, Ларс забыл, — отвечал он. — Да, немного, и да, случалось», — отвечал он. Когда он произнес это, голос как будто сорвался. Было сложно снова вернуть его.

— Ларс Юнссон и Нилас покинули дом вместе?

— Да. Мы с мамой с утра остались одни.

Хокан сказал именно так, как она ему велела. Иногда ему хотелось рассказать, как все было, впустить солнечный свет и отпугнуть тень, которая легла на его жизнь. Но одна мысль об этом пугала его. Может быть, тень только выросла бы от этого. Он не выдал ничего, ни во время первого допроса, ни во время второго. Ларса и маму допрашивали еще больше. Хокан так и не узнал, о чем их спрашивали.

Расследование быстро завершили, доказательств преступления не нашлось. Постепенно шумиха в местных газетах улеглась, были и другие темы, помимо утопленников в глубинке. Но деревенские сплетни — другое дело. Одного того, что могло существовать *подозрение*, было

достаточно, чтобы пошли разговоры, так-так, сам шеф полиции, стало быть, тут точно что-то нечисто. И все, конечно, прекрасно знали, что и как у этих лопарей.

Хокан ни разу не слышал, чтобы Ларс наорал на маму. Потом он иногда думал, что тому стоило это сделать, усомниться, спросить, почему ее не было, что она сказала на допросе, почему она соврала про него, про него и про Хокана. Но Ларс этого не сделал. Он как будто сдался, как будто думал о чем угодно, кроме того, что Нилас так и не вернулся.

После исчезновения Ниласа скорбь накрыла дом мокрым войлоком. Морщины на лице Ларса стали глубже, на его плечи будто давила невидимая тяжесть. В деревне он вовсе не показывался. «Люди шепчутся, — сказал он. — Говорят, я это», — добавил он, согнувшись, как ветка под тяжестью снега. Хокан тоже замечал, как все затихали, когда они входили в лавку Сигурда, видел взгляды, которыми обменивались, будто чтобы сказать — *как они смеют тут показываться.* «Все пройдет», — говорил Сигурд, заворачивая их покупки. Хокан не был уверен, что тот прав.

Гуннар переехал до того, как они перешли в старшую школу. «Папа нашел новую работу, —

сказал он и, улыбнувшись, показал дырки на месте выбитых зубов, их еще не вставили. — Посмотрим, как долго он там выдержит, перекладывая бумажки, — добавил он. Но он радовался, что увидит, как „Юргорден“ играет домашние матчи. — Это тебе не спортклуб „Блаттникельсе“», — добавил он, наклонив голову. И Хокан кивнул, почувствовав облегчение: уезжал единственный, кому он еще мог бы решиться обо всем рассказать. Но внутри его грызли подозрения, что все это связано с Ниласом, а может, и тот случай с Куно — тоже. А еще стало пусто. Будто исчезало все, что было ему небезразлично.

Руне, ну, Руне остался прежним: начал общаться с другими и тоже перестал существовать. Хокан отводил глаза, когда видел, как Руне стоит и гогочет вместе с Куно.

Хокан окончил девятый класс, не отпраздновав ни с кем, кроме мамы. Они сходили в кондитерскую к Сесиль, и он выбрал кофейное пирожное, обычно таявшее во рту, как меренги, но теперь ставшее безвкусным. В маленькой темной кондитерской сидели другие семьи, со смехом и шумом празднуя, а они сидели вдвоем и молчали. Вскоре она убежала на подработку у Люндера.

Потом Хокан пошатался по деревне. Руне стоял у почты и тайком курил еще с парой парней, и Хокан надеялся, что кто-нибудь их застукает, ему хотелось, чтобы Руне пришлось хреново. Был бы Гуннар все еще тут, они придумали бы, чем заняться. Может, съездили бы к сараю на речке Юктон, туда, где пировали раньше, или отправились бы вместе со всеми в ресторанчик на пляже Скиббикен, праздник в дюнах в свете вечернего солнца, который как будто не закончится никогда. Только вот закончится все, абсолютно все, рано или поздно. Да и смог бы он?

Ларс съехал из дома почти так же незаметно, как однажды поселился в нем, будто его и не было. Хокан не видел, чтобы тот паковал свои пожитки, но когда поискал аркан Ниласа, то не нашел, как и вещи Ларса, кроме разве что снаряжения сбежавшей собаки. Поразмыслив, Хокан понял почему. Ларс никогда не пускал у них корни, не оставлял в доме следа, не привносил сюда ничего своего.

Когда Хокан спросил маму, не знает ли та, зачем и куда подался Ларс, если не за Ниласом, и что собирается делать, она только пожала плечами. «Он делает, что хочет, — ответила она. — Всегда так делал».

Но кое-что Хокан все же смог понять из разговора, который был у него с Ларсом неделей раньше.

— Люди думают, это все я, я сделал с малым худое. И олени, олени, с ними мне тоже не справиться. Они ведь стали бы Ниласа, — сказал Ларс. Он оставил маленькую мятую бумажку с именем и адресом. *«Идивуома»*, — прочел Хокан. — Семья моей сестры, — сказал Ларс. — Если чего увидишь или услышишь… — начал было он, но замолчал.

— Хокан, — произнес он. Взгляд его был серьезен. — Хокан, я этого не делал. Ты не верь в такое. Даже если люди станут думать, будто я сделал что с Ниласом, ты так думать не должен. Ты-то веришь мне, Хокан?

Хокан не решался поднять на него глаза. Глядел в стол, слушая, как Ларс дышит: тяжелое, напряженное дыхание.



Нина Вяха
«Искусство жарки анисовых лошадок во фритюре»
(Рассказ)
В переводе Наталии Братовой

В ПЕРЕВОДЕ НАТАЛИИ БРАТОВОЙ

Рассказ



Нина Вяха

ИСКУССТВО ЖАРКИ АНИСОВЫХ ЛОШАДОК ВО ФРИТЮРЕ

«Syö sika huomena tapetaan», — так говорят они, садясь за стол, — разбросанные по всему свету братья и сестры, когда, приехав погостить друг к другу, зовут всю семью к обеду.

«Ешь своего поросенка, потому что завтра зарежут тебя» — вот что это значит.

Это особый язык, из этого семья и складывается, в любой найдется нечто похожее, в том или ином виде: защитные механизмы, движущая сила, юмор, объединяющее начало, коллективная память. Сдается мне, мы говорим друг другу подобные фразы вместо того, чтобы сказать нечто значимое.

Моя бабушка выросла в мире, который во многом напоминает наш сегодняшний мир. Она была беженкой, то есть женщиной, возможности которой предельно ограничены.

Спасаться бегством — инстинкт, который и по сей день заложен в ДНК человека.

Люди бросают свой дом, бегут куда-то, добираются до места или же оседают на полпути (мы, наверное, все так делаем, уверяя себя, что стремимся куда-то, где нам будет лучше, безопаснее, где нам быть предназначено, где больше перспектив, да вообще где все гораздо более *настоящее*, если уж на то пошло), и на всякой новой стоянке

создают временное постоянство: место, где можно спать, ходить в школу, взрослеть, кормить рты, проявлять эмоции, различать вкусы, чувствовать защищенность, сохранять надежду.

В свете нашей истории мы растем, растут наши тела, и на карте, которую мы невольно вычерчиваем, создается иное повествование, проявляется память вкуса — то совершенно уникальное, что есть в каждой семье, вроде фамилии, родового имени, способов избежать молчания, одиночества и молчания, и мы берем все это с собой, отправляясь в большой мир, сеем, как сеют слово божие, и непрестанно развиваемся — в бесконечном движении, во встречах с другими.

Когда я думаю о бабушке, то вспоминаю ее такой, как она была, *прежде*, когда приезжала проведать нас в стокгольмском предместье Хессельбю-Горд, как она слонялась от одного окна к другому, забредала то на кухню, то в мою спальню, то в гостиную, выглядывала наружу, не находя себе места, словно попала в западню и мечтает оказаться где-то еще. Бабушка не понимала нашего житья на съемной квартире за тысячу километров от дома. Так что всякий раз, навещая нас, она становилась у плиты и принималась печь. Это помогало ей почувствовать

себя как дома или хоть как-то отождествить себя с этим местом. Местом, где у нее не было своего угла, в квартире в Хессельбю-Горде, где она случайная гостья.

Бабушка всегда привозила с собой tuliaisia. Значит это словечко примерно то же, что и гостинцы. Бабушкины гостинцы всегда были съедобными. А на окончание школы она купила мне две кастрюли и сине-белый сервиз. Есть такое блюдо, Kalakukko. Полностью соответствует своему названию «рыбный петух».

Это куча мелкой рыбешки, ряпушки, озерной салакоообразной мелюзги, которую запекают в ржаном хлебе. Бабушка всегда формовала хлеб в виде петуха, так делали в Карелии, откуда она была родом, а потом всю эту катавасию долгие часы держала в печи. (Мне доводилось пробовать Kalakukko и в других местах, там его пекли просто в форме батона, а слово скорее указывало на то, что внутри скрывается еще что-то, как в сумке или как у Братьев Гавс, когда они тайком проносят всякую всячину друг другу в тюрягу.) Из-за метода приготовления это блюдо иногда называют «старейшими в мире консервами». В 2002 году ЕС присвоил kalakukko статус TSG — знак Гарантии традиционности блюд и продуктов.

Наравне с пармезаном и шампанским.

Рыбного петуха можно хранить до шести недель, а вкус его с непривычки может показаться вам необычным. Иными словами, мерзопакостным. Как в конце концов деликатно сформулировала мама, тот рыбный петух, которого бабушка привозила с собой междугородним автобусом, никому особо не нравился, так что не стоило впредь этим заниматься и утруждать себя.

«А с кефиром вкуснее будет», — отвечала бабушка.

Помню я кефир, которым она запивала любую еду. Тонкие белые усики над тонкой верхней губой. Бабушка существовала отдельно от нашего бытия и вгоняла маму в краску, передразнивая походку людей на перроне в Веллингбю — помню, как мы, дети, надрывали животы со смеху и как мама шипела ей что-то, а бабушка делала вид, что не слышит.

Я заполняю свою пустоту буквами, пытаюсь стянуть их в одну кучу, надеюсь, что они помогут мне преодолеть самые глубокие трясины невредимой. Бабушка заполняла наш морозильник своей выпечкой. Анисовые гребешки, анисовые барашки, хворост, пончики.

За готовкой она напевала. Пела про Керенского, русского революционера, который решил испечь пироги, а бедную маленькую Финляндию задумал всыпать в тесто вместо соли.

«Ой-ой-ой, Керенский, больно ты размечтался, Финляндия теперь свободная страна, и больше не часть России она» (мой вольный перевод по памяти).

Бабушка пела под шипение теста, погружающегося в горячее масло. При жарке во фритюре температура масла очень важна. Она должна быть ровно 180 градусов. При слишком низкой получатся тяжелые, напитанные маслом пончики. При слишком высокой от сожженного масла появится отчетливый привкус горечи, уж не говоря о риске возгорания. Так что термометр тут был бы кстати. И деревянная или металлическая ложка. Не жарьте по много пончиков за раз и не забывайте, что их нужно опускать в кастрюлю с аккуратностью, а не то шлепнутся туда и горячее масло разлетится во все стороны. Кладите их осторожно, словно спящих малышей, желательно при помощи шумовки, а потом жарьте примерно минуту с одной стороны, переверните и подержите еще минуту с другой. Пончики должны приобрести красивый золотистый цвет.

Достаньте их и выложите на решетку, чтобы масло стекло. Потом обваляйте в сахаре и ешьте, как вернетесь домой из школы. Отличное средство от черных дыр в душе и теле.

Бабушка над термометрами смеется. Не презрительно, скорее недоуменно и удивленно. Человека, который всю жизнь каждый божий день разводит огонь, кипящим в кастрюле маслом не напугаешь.

А вот на теперешней моей кухне масло для фритюра пугает гораздо больше, чем в детстве, когда бабушка жарила пончики в нашем доме на улице Фрихеррегатан. Подумаешь, немного разогретого масла — в мире полно других опасностей и ужасов, других поводов для страха. Мне стыдно за свою упорядоченную жизнь, где единственное бегство, которое я совершаю, не измеришь привычными мерками: я бегу внутрь себя. А от этого не умирают.

Съездить к бабушке, в ее дом в Лохиярви, 66.447492, 24.363910, на одной широте с Хирвиярви, что на шведской стороне, где она прожила двадцать лет своей жизни, в место, ставшее моим днем СЕГОДНЯШНИМ, которое и есть для меня воплощение бабушки.

Бабушка брала нас с собой на болота собирать

морошку. Зеленая сетка накомарника словно вуаль окутывала ее лицо. Никто тогда не думал о детской безопасности, пусть идет малышня, куда ж без них, без kläpit[7].

Мы же, малышня, настороженно вышагивали по мягким подушкам кочек, боясь провалиться в трясину и навечно сгинуть из этого мира.

Помню, как находили оленьи рога среди морошки. Считай, почти скелет. Самое близкое для меня знакомство с костями, да и вообще со смертью на тот момент.

Вернувшись домой после многочасовой охоты на морошку, бабушка готовила лапландский хлебный сыр — «скрипучий» сыр, есть его скорее весело, чем вкусно, тогда я такого не понимала — тяги ко всему тому в жизни, что одновременно отталкивает и привлекает (но есть этот сыр мне хотелось, хоть я его и не понимала, точно так же как меня все еще тянет ко многому, чего я не понимаю: аллигаторам, «ирокезам», кимчи, желанию застрять в трясине текста вместо того, чтобы бежать прочь); бабушка подавала тот сыр с моченой морошкой и свежесваренным кофе.

В гостях у бабушки кофе не возбранялось пить

---

[7] Примечания: 7
Дети (*меянкиели*).

в любом возрасте, как бы мал ты ни был. Не любишь кофе — добавляй сколько пожелаешь сливок и сахару, пока не станет вкусно, и пей на здоровье. А хочешь — переливай его из чашки в блюдце, дрызгайся и расплескивай. «Скрипучий» сыр бабушка готовила из коровьего молока. Жидкость она смешивала с сычужным ферментом и нагревала, проверяя температуру пальцем, а потом давала смеси застыть в алюминиевой кастрюле. После этого бабушка вынимала створоженную массу и выкладывала в форму для выпечки, а потом запекала, отчего сыр приобретал леопардово-пятнистый окрас и отталкивающе-притягательный вкус.

Все лето между четвертым и пятым классом я прожила на одних карельских пирожках с яичным маслом. Надо сказать, что лето у бабушки — это куча всяких вкусностей, и вот, круглая и радостная, как яичное масло, вернулась я домой после каникул, вступая в расцвет пубертата — ту пору, когда тебя не очень-то украшает живот, набитый (до отказа!) карельскими пирожками. Теми самыми, что родом из Карелии на востоке Финляндии. В этих овеянных преданиями краях появилась «Калевала» — народный эпос, записанный в XIX веке и ставший основой национальной

идентичности финнов. Во мне самой пробуждалось какое-то смутное чувство — возможно, подозрение, что этот эпос живет и в моем теле тоже. (Оно было достаточно большим, чтобы вместить нечто подобное, или же могло стать со временем, продолжай я такими темпами.) Сочинять, писать — вот чего мне хотелось, заправляясь как горючим выпечкой из ржаной муки.

Мама предпочитала подавать к карельским пирожкам что-нибудь соленое, поэтому дома мы едим их с яичным маслом, не отступаясь от традиции, но дополняем блюдо еще и перченой салями. Перец и соль в колбасе отлично контрастируют со вкусом ржаного пирожка с рисом. Бабушка качает головой. Но предпочитает лучше промолчать, чем высказать правду.

Karjalaspiirakka, карельские пирожки, размером с ладонь пекаря. Они должны умещаться в руке и таять во рту. Исходящие паром, горячие, только что вынутые из духовки пирожки бабушка всегда смазывала растопленным сливочным маслом.

Записывать рецепты она не умела, ни единого не оставила, только пожимала плечами: да ну, бери на глазок, зачем эта дотошность, по-всякому

можно, — зато всегда могла показать, если тебе хватало терпения, если у тебя было на то время.

Ее пальцы сами чувствовали, когда ржаное тесто подошло, знали, каким оно должно быть на ощупь, чтобы пирожки удались, какой густоты должна быть рисовая каша для начинки, чтобы не вытекла и не размочила тесто — не слишком жидкой, но и не чересчур густой, не то засохнет при выпекании, и пирожки получатся жесткими и несъедобными.

Подыскивая повод, чтобы вновь начать писать после многолетнего перерыва, я пыталась нащупать его в бабушкиной стряпне. В том пространстве, где дурное не может случиться, оно все уже произошло — архетипическая сцена, место, где все творится по необходимости ради того, чтобы выжить.

Сливы в сиропе, поданные к рисовой каше, припорошенное сахарной пудрой печенье «рождественские звезды» с начинкой из чернослива, брюквенная запеканка и морковная с рисом, паштет, запеченный в духовке. Мясной соус без намека на помидоры, с островками растительного масла на поверхности, — его всегда, без всяких исключений ели с вареной картошкой, непременно очищенной перед варкой. Сухой ржаной

хлеб, который размачивали в оставшемся от соуса масле, солоноватый на вкус.

Глазок сливочного масла в тарелке с кашей.

Те вкусы, что живут в глубине меня, те, что вроде бы давно уже забыты, — они запрятаны там, во мне, затаились, ждут своего часа.

You can't hide where you're from. Своих корней не скроешь.

Вот то, что создало меня, вот мои краеугольные камни, мои связующие компоненты.

В этой-то коллективной памяти, доставшейся мне по наследству, я и нахожу смысл вновь что-то о чем-то поведать.

Я сажусь перекусить, беру в руку булочку или тогда уж «плюшку», если не отходить от темы и упрямо продолжать связывать все с бабушкой, господи, да расслабься уже, думаю я.

Korvapuusti, что значит затрещина по уху, оплеуха, плюха или же… плюшка — это всего лишь диалектное слово, диалектная разновидность булочки с корицей. Вместо того чтобы, скатав промазанное начинкой тесто в длинную колбаску, нарезать его и положить разрезом вверх, а потом смазать яйцом и присыпать сахаром, мы кладем нарезанные рулетики кверху «спинкой», а потом решительно надавливаем на них чем-ни-

будь жестким, но не острым. Получается похожая на ухо булочка, предположим, во всяком случае, что так оно и есть. На вкус это никак не влияет, и на кофе, которым ее запиваешь, тоже, разве что получается ароматнее, впрочем, разницы никакой — что так булочка с корицей, что этак.

Когда дома у бабушки был праздник, не обходилось без торта со взбитыми сливками и бутербродов с красной рыбой. Тщательно промазанных маргарином, этим замечательным чудо-новшеством. Которое, согласно исследованиям некоторых ученых, может повышать риск заболеть Альцгеймером, но такие исследования касались кого угодно, но только не бабушки.

Теперь она совсем ничего не помнит. Кратковременные просветления. (Что называется, shotgun tour — все равно что выстрелить из дробовика по карте, а потом попытаться сопоставить свои попадания в единое целое.) Она бормочет себе под нос, что хочет вернуться домой, в дом своего детства, откуда ей пришлось бежать, тот дом, который навечно сгинул, как и бóльшая часть ее внутреннего мира.

В бабушкиной морозилке всегда был припрятан торт со взбитыми сливками, если не целиком, то хотя бы несколько кусочков. Сколько они

там пролежали — лучше и не думать. Ты просто вежливо съедал то, что она положила тебе на тарелку, непременно запивая своей порцией кофе. «Syö syö», — говорила она голосом, в котором при желании можно было вычитать почти что угодно: любовь, стремление к выживанию или нечто третье, отлично подходящее в качестве морали для рассказа о еде, а еще наследии, принадлежности и сочинительстве.

Лучше лопай сейчас — завтра может быть уже поздно. (Syö sika huomena tapetaan.)



Солия Крапу-Каллио
«Пекарня и кафе Вестин»
(Отрывок из романа)
В переводе Аси Лавруши

В ПЕРЕВОДЕ АСИ ЛАВРУШИ

Отрывок из романа



Солия Крапу-Каллио

ПЕКАРНЯ И КАФЕ ВЕСТИН

1 декабря. *На работе*

Как же хорошо на работе! Цивилизованная, вменяемая публика. Под ногами никто не вертится. В личную жизнь не лезет. С обязанностями Сигрид справляется без отрыва от двух любимых дел: разгадывания кроссвордов. И судоку. Да, еще она читает сообщения с сайтов знакомств, как только раздается сигнал. То есть любимых дел у нее три. Не суть. Ими она и занимается. На работе. А бухучет, счета, накладные — это так, ерунда. Когда приходит клиент, судоку легко прячется под журнал регистрации. А на эсэмэс можно отвечать, одновременно тыкая клавиши «дебет-кредит» в компьютерной программе, главное — делать это с соответствующей миной, независимо от содержания сообщения.

Ей, во всяком случае, кажется, что выражение лица у нее остается нейтральным. Хотя периодически она, видимо, все же вспыхивает, неконтролируемо улыбается и краснеет. Или даже фыркает. Там же столько психов.

Сегодня четверг, первое декабря, синоптики обещают необычайно теплый день. Тихо рабо-

тает телевизор, в утреннем шоу обсуждается небывалое тепло, которое не только охватило Норрландское побережье, но и проникло вглубь страны. В панорамных окнах покачиваются неуместные рождественские звезды из молочно-белого плексигласа.

Сигрид уже предвкушает выходные — выходные, когда она займется исключительно собой, будет делать что ей заблагорассудится, захочет — отправится на какое-нибудь интересное свидание. Захочет — пойдет с Натали в ресторан. Так или иначе, эти выходные будут совсем непохожи на прошлые, сама мысль о которых уже выматывала — ее жилище на двое суток оккупировала родня. Две ночи — строгий болевой порог.

Дольше она могла бы выдержать только Калле. Он единственный из них супер, настоящий старший брат. Она всегда смотрела на него снизу вверх. В этот раз им тоже удалось премило пообщаться пару часов на кухне, когда остальные улеглись. Мать с отцом на раскладном диване в мини-гостиной, а Эмили по-царски на кровати Сигрид.

— Это неправильно… — произнес Калле, кивнув на прислоненную к радиатору раскладушку.

Недюжинную смекалку проявил папа Рикард;

именно он купил допкровать в качестве подарка на новоселье, велев Калле доставить ее на место в их первый визит.

— Это неправильно… Почему ты должна спать в этой мышеловке? — продолжил брат.

А у нее что, есть альтернатива? Примоститься рядом с глубоко беременной невесткой на стодвадцатисантиметровой койке? Спасибо, нет. Единственным выходом была бы гостиница, но им эта мысль даже в голову не приходила. Какая гостиница? У них же дочь, которая прекрасно устроилась в центре!

Кстати, представления о прекрасном у всех разные. Эта снятая на птичьих правах квартира вполне пригодна для одного жильца, но, когда в ней пятеро, она превращается в пункт приема вторсырья. Чтобы попасть в ванную, приходится буквально продираться сквозь чемоданы и груды одежды. К тому же папа имел наглость пожаловаться на отсутствие лифта. А мама подпела: мол, у Рикарда больное сердце и он не должен подниматься по лестницам.

— Но давайте лучше о приятном, — сказала потом мама. — Я привезла тебе к Рождеству безумно красивые гардины. Потому что предполагала, что у тебя никаких нет. Сейчас мы их повесим

на кухне, по-моему, золотистые оттенки снова в моде.

* * *

В общем, прийти в себя удалось только на работе. Здесь все выдержано в приятной серо-белой гамме. Люди в том числе. Серый ковролин гасит звуки. Взвешенные речи, Сигрид ни разу не слышала, чтобы кто-то повысил голос или даже возразил. Редкий смех тоже звучит приглушенно и вежливо. Необходимости в разговорах как таковой нет: все, что требует решения, они пересылают друг другу по электронной почте: спецификации коммерческих предложений, договоры, счета. Описания проектов, заявки и отчеты. Имеется, правда, парочка упакованных в костюмы парней, которых Сигрид держит, так сказать, в поле зрения. Одного зовут Николас. В его мейлах с вложениями часто встречаются более личные формулировки. А вообще находиться в офисе для нее сродни медитации. Спокойно, приятно. Понятно.

* * *

— Ты молодец, — сказал на выходных Калле. —

У тебя хорошая работа. Ты уехала из Сторнэса.

Они налили в бокалы вино и закрыли кухонную дверь. Но папин храп все равно не смолк. И мамин, больше похожий на свист, тоже.

— Слышишь? Вот это хор!

Они захихикали. Хрип и свист переплетались.

Наверное, в конце концов именно так и должно быть. Если долго жить и работать вместе, даже сон становится слаженным. Сигрид покачала головой и посмотрела на брата:

— Молодец, говоришь? Я вот не уверена. Я же занимаюсь только тем, что случайно попадает на мой рабочий стол. Никакого креатива. Я даже не в штате. Почасовая работа через кадровое агентство!

Повращав вино в бокале, она продолжила:

— Чтобы стать молодцом, нужно много чего сделать. И, кстати, если кто и молодец, так это ты!

— Скажешь тоже, — рассмеялся Калле.

Казалось, ему хотелось продолжить, но он откинулся на спинку стула и замолчал.

— Ты делаешь что-то конкретное, — произнесла Сигрид. — Обеспечиваешь работу целого предприятия. Я бы с таким никогда не справилась. И у тебя скоро будет собственная семья.

А у нее семьи нет. И нет даже подходящего

кандидата для ее создания. Вернее, кандидатов достаточно, но на идею пока никто не клюет. Единственное, в чем она могла бы согласиться с братом, — уехав из Сторнэса, она действительно поступила разумно. Она бы умерла со скуки, если бы осталась. Вот Калле там на своем месте. Кафе и пекарня — центр его собственного мира. Брат умеет притягивать к себе и людей и события, живи он на Южном полюсе, даже там все закрутилось бы вокруг него. Остаться где родился и взять на себя предприятие для него не означает проиграть.

— Я тут провел одно небольшое расследование и выяснил, что каждую ночь в крупные торговые сети подруливают грузовики с замороженным хлебом. А в рекламе говорится, что это хлеб из их собственных пекарен. Домашняя выпечка из магазина.

— Правда?

— Да, но само по себе это не криминально. Они попросту рациональнее нас. И зарабатывают больше. Тогда какой смысл Андерсу каждую ночь ставить тесто, а нам менять ассортимент.

— Смысл в том, что так вкуснее, нет?

— Да, мы тоже так считаем.

В глазах у Калле промелькнул тот самый эн-

тузиазм:

— Мы считаем, что наш хлеб самый вкусный. Он живой. Это хлеб жизни. Его по-честному пекут. И мы сами решаем, что печь.

— То есть ты шпионил, да? Шпионил за грузовиками?

Он рассмеялся:

— Ну да, осенью я немного покатался за ними на «хонде».

В этом весь Калле. Она воочию представила, как он едет на мотоцикле за рефрижератором, а когда начинается разгрузка готовых булочек, медленно и красиво скрывается с другой стороны сетчатого забора.

— Ну ты даешь.

Они выпили и продолжили разговаривать. Пару раз за вечер было слышно, как кто-нибудь ковыляет через гостиную в туалет. Ближе к часу ночи возле кухонной двери остановилась Эмили и тихо произнесла:

— Тебе спать не пора?

И тогда они общими усилиями разложили наконец раскладушку. Которая заняла все узкое пространство между холодильником и плитой. Прежде чем отправиться к жене под бочок, Калле обнял Сигрид:

— Береги себя, сестренка.

— Ты тоже. Горишь ведь на работе.

Потом она ворочалась на скрипучей металлической конструкции, слушая родительский храп, замиксованный с урчанием холодильника. Калле нашел себя в этой жизни. Все схвачено, никаких неясностей. Да, он выглядит немного усталым и даже встревоженным, но он строит планы на будущее. А планы Сигрид пока весьма краткосрочны. Например, хоть раз остаться на Рождество в городе. Они с Натали устроят настоящий девичник. Никакого стресса. Никакой обязаловки. Сначала они пойдут в спа, насладятся массажем и процедурами по уходу за лицом. А на вечер забронируют столик в ресторане.

— А тебе не кажется, что у нас будут слишком красные лица? После чистки пор?

Натали улыбнулась. И сказала, что всегда можно замазать. И лучше всего пойти в клуб и в сочельник, и на Рождество. Все рестораны будут битком, это же сезон встреч старых друзей.

Да, Сигрид впервые нарушит традицию и поступит так, как хочется ей. И никто ей ничего не скажет.

В результате продолжительных упражнений Сигрид наловчилась неплохо решать кроссворды.

Больше всего ей нравились по-настоящему заковыристые. Но на работе приходилось учитывать еще и формат — маленький, чтобы можно было быстро спрятать улику между документами, поэтому Сигрид всегда вырезала мини-кроссворды из бесплатных газет. Заимствованное слово из шести букв; на языке оригинала он может быть и «близкий», и «далекий», а на шведском — только «далекий». Далекий — путь или предок? А близкий — конец или родственник?.. Как же они утомили ее за выходные своей неумолкающей болтовней. И ведь родители даже не догадываются, что по их говору можно сразу понять, откуда они приехали.

Хотя в городе мама пытается следить за своей речью. В магазинах изъясняется красиво, почти торжественно: «Вероятно, у вас найдется такая же модель в другом размере?»

Этот стиль у нее, впрочем, периодически провисает, а когда они в качестве советчиц отправились выбирать платье для Эмили, мама забыла о нем начисто. Найти праздничный наряд для беременной на девятом месяце — задача для сильных духом.

— А вот это, как по мне, так уже хорошо, да? — произнесла мама.

Обернутая цветастой попоной Эмили едва умещалась в примерочной кабинке.

— Вы так говорите, чтобы меня успокоить.

И она была права. Им просто хотелось, чтобы она хоть что-нибудь наконец выбрала. Взяла любое из восьми перемеренных платьев. Они все были одинаково хороши. Или плохи. Да какая разница, она же, черт возьми, беременна.

Во всех магазинах — причем с октября — звучал жизнерадостный рождественский репертуар: «Джингл беллс» и прочее, а Эмили все время охала и жаловалась на боли в тазу. Отсутствие отдела для будущих мам в обычных магазинах она воспринимала как личное оскорбление.

— То есть одежды для женщин у вас нет! — возмущалась она уже в третьем магазине подряд.

За нее было стыдно. Неужели это всегда так, когда гормоны бушуют? Впрочем, она и раньше была такой. Сигрид иногда задумывалась, как Калле вообще мог на ней жениться.

Когда они нашли наконец специализированный магазин, силы были на исходе. Из динамиков снова лились инструментальные версии рождественских хитов. И здесь примерочная карусель завертелась наконец всерьез.

— Нет, вы только посмотрите на это. Ну поче-

му платья для беременных должны выглядеть так невинно? — Эмили держала в руках синюю туристическую «палатку» с круглым белым воротничком. Продавщица натянуто улыбалась. Эмили не останавливалась:

— Беременные что, монашки? Нет, они точно не монашки!

Продавщица терпеливо перебирала вешалки, подыскивая следующий вариант.

— Я такое не надену. Там же будет вечеринка. И рождественский стол.

Сигрид расхохоталась:

— А что ты хочешь надеть? Что-нибудь с блестками?

— Ты не понимаешь, что это важно! Нас же в первый раз пригласили в «Карл Маркс»!

И тогда продавщица, мобилизовав последнее терпение, нашла наконец платье, которое действительно неплохо село благодаря фасону со спущенным плечом и ткани с неброским рисунком.

— Вряд ли я успею сильно растолстеть за пару недель, — сказала Эмили.

«Не факт, — подумала Сигрид. — Кажется, некоторые как раз и толстеют в самом конце». Но вслух она это, разумеется, не произнесла.

* * *

Сигрид продолжала поиски заимствованного слова, которое на шведском означает что-то далекое, а на другом языке может быть чем-то близким. В голову ничего не шло, и она посмотрела на клеточки рядом. «Жена сына по отношению к его отцу». Слишком просто, прыснула Сигрид и вписала по вертикали «СНОХА». Таким образом, «нечто далекое» должно начинаться на «с». Но тут ей пришлось прерваться, потому что на пороге возник Николас, тот самый, в костюме.

— Как там договор? Готов?

— Договор готов, как мы и договаривались, — ответила Сигрид и протянула ему распечатанные листы.

Довольно толстую пачку.

Улыбнувшись, Сигрид посмотрела ему в глаза, но Николас опустил взгляд. Похоже, чересчур скромный. И только в письмах не стесняется быть приятным? Явно дорогой костюм графитового цвета. Наверное, купил, когда получил эту работу. Нечто вроде униформы. Думает, что это придаст ему солидности. Считает, что встречают по одежке. Волосы креативной длины зачесаны назад. Ну, наконец-то оторвал взгляд от пола.

Робко улыбнулся и вышел через стеклянную двое в дальнюю часть офиса.

Через секунду явился некто, заранее записавшийся на встречу с директором. Сигрид сняла трубку внутреннего телефона и сообщила, что посетитель на месте. После чего встала из-за стола и с приглашающим жестом произнесла:

— Пройдемте со мной.

Но директор вышел им навстречу. Он пожал руку гостю, а ей сказал спасибо и сначала одарил широчайшей улыбкой, а потом подмигнул. Подмигнул! За кого он ее принимает? С этим неприятным ощущением она вернулась на рабочее место.

Что ей нужно было сделать? Она открыла бухгалтерскую программу, чтобы проверить обновления, и по экрану побежали бесконечные таблицы. Весь их офис похож на огромную таблицу. Прямо перед ней простиралось окно во всю стену. Солнце за ним светило так ярко, что меркли рождественские звезды. Декабрь, а на градуснике плюс двенадцать.

«Аллилуйя парниковому эффекту», — подумала Сигрид. В перерыве она купит себе салат и пойдет обедать в парк.

Вспыхнул экран мобильного. Мартин, с кото-

рым она вчера встречалась, прислал сообщение.

* * *

Опыт общения на сайтах знакомств внушил Сигрид одну вещь: нужно как можно раньше встречаться вживую. Слишком многие выдают себя не за тех, кем являются. Часто вывешивают старые фото, сделанные при «плохом», то есть ретуширующем изъяны освещении. Некоторые даже убирают фотошопом морщины и лишние кило. В общем, если ты несколько раз поговорил с человеком в чате и не потерял интерес, лучше сразу встретиться живьем, чтобы не строить идеальный и несуществующий образ. Именно таким чуть не стал Мартин.

Он утверждал, что тоже интересуется искусством, и Сигрид предложила встретиться в Художественном музее. Они начали осмотр с верхнего этажа, но мимо инсталляций и видеоарта он буквально бежал трусцой. А абстракционисты с третьего этажа сделали его настолько нервным, что он сразу засобирался к выходу. Так что музей они быстро сменили на бар в центре. Где сидели и обменивались мнениями, которые почти ни разу не совпали.

— Но это же все равно интересно? — попыта-

лась было Сигрид.

— Как можно заплатить десять тысяч за какую-то картину? И причем даже непонятно, что на ней нарисовано. Да я сам нарисовал бы лучше.

— Так, может, стоит попробовать…

Мартин покачал головой и как бы закрыл тему, сделав большой глоток пива. Сигрид за ним наблюдала. Перед встречей она чувствовала непривычное предвкушение. Складывалось ощущение, что между ними уже возник хороший контакт, они посылали друг другу короткие сообщения, и ей казалось, что из этого может что-нибудь получиться. Ей очень хотелось, чтобы этот парень вызвал у нее какие-то чувства. Но сейчас она смотрела на него, а он выглядел совсем чужим.

Когда они встретились у Художественного музея, он действительно был явно заинтересован.

«Ты красивее, чем на фотографии, — сказал он ей в лифте. А чуть позже, когда они смотрели на город из окна последнего этажа, он добавил: — Я готов пригласить тебя как-нибудь на ужин». По дороге к центру он держал ее за руку. Уже тогда Сигрид хотелось бы что-то почувствовать. Но его взгляд как будто все время ускользал от нее. Мы же совсем не знаем друг друга, пыталась

объяснять себе она, мы просто оба немного не уверены. Но предвкушение постепенно таяло. И она не пригласила его к себе, когда они проходили мимо ее дома, что-то ей помешало. А потом они попали в бар на первом этаже нового культурного центра, и об обещанном ужине он, судя по всему, забыл.

— Может, съедим что-нибудь? — произнесла она, потому что попросту проголодалась.

Он посмотрел в меню и покачал головой. Это, видимо, был один из его типичных жестов. Если они станут парой, ей придется научиться любить в том числе и это качание головой. Или терпеть. Ей это надо?

— Для обычного бара тут слишком дорого! Просто заоблачные цены!

— Но я могу заплатить за себя…

Он бросил на нее быстрый взгляд. По выражению лица было понятно, что ни о чем другом и речи бы не шло.

Но Сигрид растерялась. Разве он не говорил, что хочет пригласить ее на ужин?

Нет, она не ждет, что за нее заплатят. И не требует этого. Но он же сам предложил.

Официант стоял рядом, и не заказать ничего было бы слишком драматическим шагом. Сигрид

выбрала салат с цыпленком, а Мартин — двойной говяжий бургер со всеми дополнительными ингредиентами по списку. За ужином он все время говорил о каком-то отбитом идиоте из спортклуба, где он работает тренером. Хотя команду он уже несколько лет не тренирует. Неважно. В следующем году он возьмет команду, и тогда это будут уже совсем другие пироги. Сигрид действительно готова была заинтересоваться тем, о чем он рассказывал.

— На тренере, наверное, лежит огромная ответственность, — сказала она.

— Да нет, не особо, есть прописанный порядок. Спортсмены должны сами нести ответственность.

Примерно здесь должна была позвонить Натали. Они условились всегда звонить в определенное время, чтобы с неудачного свидания можно было элегантно уйти. Можно было сказать, что возникло непредвиденное срочное дело или что кто-нибудь внезапно умер. Но Натали не звонила. Или телефон здесь не ловил.

Пока Сигрид обдумывала разные варианты прощания, Мартин продолжал рассуждать, и Сигрид спросила:

— Но разве на тренере совсем нет никакой

ответственности?

— Достаточно просто убрать из клуба всех идиотов, и этого уже хватит.

Когда свидание наконец закончилось, Сигрид была опустошена. На остановке он наклонился было вперед, как бы собираясь ее поцеловать, но на полпути остановился. Возможно, его спугнуло выражение ее лица.

И теперь он шлет ей эсэмэс! Чего он, собственно, хочет?

«Спасибо за вечер, детка. Еще увидимся?»

Что-что? Детка? Почему он хочет увидеться? Для него это должно быть такой же неудачей, как и для нее. Что на такое ответить?

Может, у него это просто желание быть с кем-то рядом, ему не хватает этого так же, как и ей. Просто быть вместе с кем-то. Может, он влюблен в саму идею влюбленности. В эту идею и она была влюблена много раз. Много раз она искренне жаждала любви, стремилась к ней страстно, даже вопреки собственной воле. Иногда у нее случался секс с кем-либо. С Мартином это не произошло случайно, или потому что она хорошо разбирается в людях?

На эсэмэс она ответит немного позже. Потом, когда придумает, как все закончить. Сейчас ей

нужно подумать о другом.

* * *

Проверив бухгалтерские обновления, она направилась на кухню за кофе, чтобы потом вернуться к кроссворду. Это «далекое-близкое» ее не отпускало. Равно как и мысль о свидании с кем-нибудь еще. Может, черкнуть пару слов этому красавчику Яну? Он написал, что он журналист. Интересно. Они вполне могут встретиться в ближайшие выходные. На фото у него красивые скулы. За короткой щетиной угадываются ямочки. Натали обычно повторяет, что Сигрид относится к парням как к объектам. Возможно, это так. Потому что парень редко успевает стать чем-то другим. Но вот то, что она впала в зависимость от сайтов знакомств, это точно неправда. Она занимается этим не больше, чем другие. Но, конечно, приятно, когда на мобильный приходит очередное сообщение. У нее же не так много друзей в городе. С большинством она познакомилась через Натали. А сайт знакомств — это просто средство для того, чтобы заводить новых друзей. Она вот даже на футбольный матч сходила, куда при других обстоятельствах не пошла бы никогда. А еще все почему-то имеют собственное мнение

на предмет того, чем она занимается. В прошлые выходные, когда приезжали родственники, Эмили испугалась еще сильней, чем мама, когда выяснилось, что Сигрид знакомится с парнями через интернет.

— Но это же опасно? Это в каком-то смысле противоестественно? Обезличенно? Я бы никогда не стала таким заниматься.

Ей легко говорить. У нее же есть лучший на свете Калле. Которого она получила на блюдечке с золотой каемочкой, и все благодаря Сигрид. Жизнь несправедлива.

— Это самые обычные люди, которые просто хотят с кем-нибудь познакомиться.

— Но это не…

По Эмили было видно, что она подумала о сексе. Понятное дело, она слегка завидует. Этот рынок для нее временно неактуален.

— Люди постепенно становятся циниками, — подключился Калле, — и смотрят на других как на заменяемых. Если один не подходит, надо просто кликнуть на следующего. По-моему, это самый главный риск знакомств по интернету. Развивается новый взгляд на человека…

Эмили быстро повернулась и посмотрела на Калле.

— А откуда ты все это так хорошо знаешь?

— Ой, Сигрид, — перебила ее мама, ставя на стол мясной соус, — вот хорошо бы и ты кого-нибудь встретила. Такого, которого ты оставила бы рядом с собой.

Что она подразумевала? Что с Сигрид что-то не так? В довесок подключился папа:

— Ты скоро станешь слишком старой. И надо поторопиться, чтобы успеть.

Ему казалось, что он удачно пошутил!

— Вы не понимаете. Дело же не только в сексе. И не в замужестве. И не в детях. Это просто способ для общения и встреч. Или образ жизни. Или хобби. Калле, у тебя же, кстати, тоже есть хобби.

Сигрид знала, что из всего сказанного правда составляет процентов пять. Но когда на нее, как сейчас, нападают, она теряет нити всех концепций и защищается всем чем может. И хобби Калле стоит, к слову, гораздо дороже, чем ее.

В то время, когда они слонялись по магазинам одежды, Калле и отец поехали в мотоцентр. Он хотел купить чехол для зимнего хранения, но, помимо него, купил ручки с подогревом плюс кабель, плюс, по мелочи, масло и очищающий спрей. Плюс новый нагрудник для бака.

Намерение поворачивать стрелки в сторону

Калле у нее не было. Пусть сколько угодно занимается своим хобби. Ничего неправильного в этом нет. Но пусть и Сигрид позволят жить так, как ей хочется!

— Возьми еще спагетти, сказала мама.

Наверное, это был неподходящий момент, чтобы известить всех, что она собирается встретить Рождество в городе. Она попыталась подать это так, как будто это никакая не новость. А нечто естественное и само собой разумеющееся. Ее подруга Натали, можно сказать, настаивает на том, чтобы Сигрид осталась в городе и составила ей компанию. Это все ради Натали. Они же ее знают. И к тому же в Швеции у нее вообще нет родственников.

— Но как же можно! Именно сейчас. Когда должен родиться ребенок и все такое… — произнесла Эмили.

— Но бедная Натали может приехать к нам. В Сторнэс, — сказала мама с крайне озабоченным видом.

— Она точно не захочет….

— Что ты хочешь этим доказать? Самостоятельность? Глупости все это, — сказал папа.

— Представь, как нам будет тебя не хватать. Без тебя это будет не Рождество, — сказал Калле.

Да, момент для этого разговора был со всей определенностью не самый удачный. Но решение она приняла давно. Она должна обозначить свое освобождение. Папа прав наполовину. Речь о самостоятельности, а не о глупостях.

* * *

Какое счастье, что в конце концов наступило воскресенье и они уехали восвояси. Папа, конечно, с утра был страшно бодр, это следствие профессии. К кофе мама откопала старый подсвечник адвента, который Сигрид никогда не использовала. Откуда мама узнала, где он лежит?

— Конечно, я знаю, где он лежит. Его сделал твой дядя Крилле на уроке труда. Представляешь, какие у него уже тогда были умелые руки. И этот подсвечник достался тебе. У тебя что, нет свечей?

У нее были только чайные.

Но мама никогда не сдается. Она поставила по чайной свечке на каждый рожок. Исключительно пожароопасная конструкция! Но она зажгла первую и провозгласила:

— Сегодня первое воскресенье адвента.

Сразу после завтрака они начали собираться в

дорогу. Папа из тех, кому всегда нужно выехать заранее, хотя ехать им предстояло меньше двух часов. С остановками для того, чтобы Эмили сходила в туалет, поездка точно растянется еще на час. Как минимум.

— Слава богу, они закончили наконец ремонт дороги… — сказала мама, обнимая Сигрид на прощанье.

— …который длился почти два года, — продолжил предложение папа, усаживаясь на водительское место и пристегивая ремень безопасности.

Эмили возилась со своим ремнем на заднем сиденье. Он пристегнулся, обхватив Эмили примерно в центре груди и под животом.

— Неудивительно, что мне все время хочется писать. Я же не виновата.

— Хорошей дороги, будьте внимательны.

Калле обнял Сигрид и со смехом изобразил замедленный нокаутирующий удар в челюсть.

— Насчет Рождества можно запросто передумать, — сказал он, усаживаясь за водителем.

Сигрид стояла на тротуаре и, пока они отъезжали, махала им вслед рукой. Нет, она не передумает. И ей понадобится не меньше недели, чтобы привести в порядок квартиру. Но все равно она с грустью смотрела вслед машине, которая

ехала по улице вдоль голых берез и скрывалась вдали.

* * *

В офисе не было персональных чашек. Это нарушило бы впечатление целостности. Так что все пользовались одинаковыми матово-белыми чашками, которые хранились в шкафу на кухне. Сигрид нажала на кнопки «черный» и «молотый» и стала ждать. Машина заурчала. Звуки слегка напоминали папин храп. Сигрид улыбнулась. И тут рядом возник Николас, который вложил ей в руку какую-то бумажку. Она сразу же поняла, что это. Ее кроссворд. Оказавшийся в пачке с договором.

Нет.

Какой ужас.

Николас выглядел так же неуверенно, как и в прошлый раз, и он быстро вернулся на свое место. Откуда ей знать, что он за человек? Человек, внешне не проявляющий никаких чувств. Он расскажет всем о случившемся как о забавном анекдоте как-нибудь за обедом? Он такой? Насколько близко он знаком с директором? Он сплетничать будет?

В одну руку она взяла чашку, а в другую — сал-

фетку, замаскировать кроссворд. Мобильный на ее столе светился и вздрагивал. Кто-то звонил. Надо надеяться, что не Мартин. Может, Ян. Она бросила взгляд на кроссворд, оставленный на столе.

СПУТНИК.

Прежде чем вернуть кроссворд, Николас добавил несколько слов. Он вписал несколько слов в ее кроссворд! То есть стал соучастником. Крутанувшись на стуле, Сигрид с улыбкой притянула к себе телефон. Николас написал несколько слов. И что это значит? Значит ли это, что теперь она тоже должна решить несколько пунктов и вернуть кроссворд ему? Чтобы они продолжили разгадывать его вместе? На дисплее светился мамин номер. Что ей может понадобиться? Наверняка это опять насчет Рождества. Но Сигрид не сдастся. Все уже решено и расписано. Хотя, возможно, время для какого-нибудь свидания она найдет, возможно, это будет свидание с Николасом? Отвечая, она улыбалась.

— Алло, мама, что там у вас? — У мамы был странный голос.

— Дело в том, что… Карл…

— Что с Калле?

— Несчастный случай.

Больше она не смогла произнести ни слова.

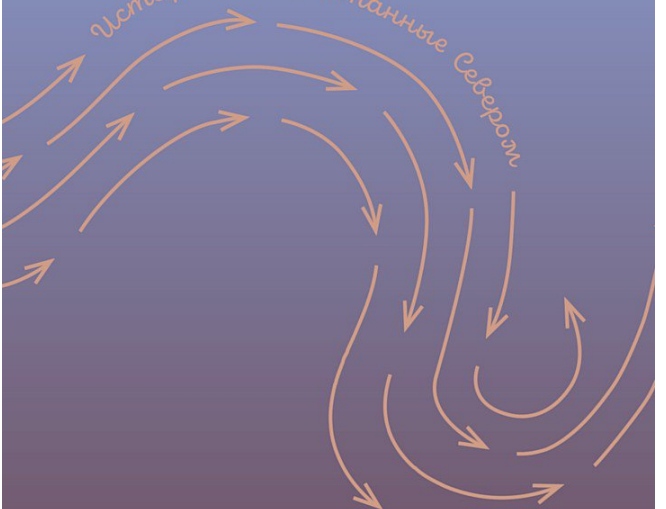


Элин Анна Лабба
«Здесь велели нам жить господа»
(Отрывок из книги)
В переводе Натальи Асеевой

В ПЕРЕВОДЕ НАТАЛЬИ АСЕЕВОЙ

Отрывок из книги

Истории, нашёптанные Севером



Элин Анна Лабба

ЗДЕСЬ ВЕЛЕЛИ НАМ ЖИТЬ ГОСПОДА

Bures eatnehat
Здравствуй, мать-земля

Тропинка идет вверх по сухим торфяникам, исчезает, потом появляется вновь. Через какое-то время она приводит меня в редкий лес. Кривые стволы берез. Тело будто чувствует, что тропинка здесь очень давно. Иду наискосок, к просвету. Наступаю на мох и упавшие гнилые стволы. Я знаю, что со временем земля забирает все — то, что я ищу, уже едва ли можно увидеть.

Иду от одной стоянки к другой. Первая вежа располагалась на возвышении, откуда открывался вид на море. Эта стоянка настолько старая, что сохранился лишь очаг. Кое-где поросшие мхом камни и высокая трава. На второй стоянке мягкими кольцами лежит опавший торф. Я уже была здесь и знаю дорогу. Перехожу через старый загон и иду мимо источника с чистой прохладной водой.

Более тихого места я не встречала. Дует ветер, но его совсем не слышно. Здесь уже давно нет веж, вокруг не бегают дети. Никто не ткет, сидя у жилища, не разжигает огонь в *árran* (очаге), не

срезает осоку на стельки.

Бабушки и дедушки рассказывали нам, как они приветствовали землю, горы, стоянки и тропы, когда приходили сюда, но имею ли я на это право? Где же мое место, мой дом? Я говорила об этом с другими внуками принудительно переселенных саамов. Какую часть новых саамских округов и стоянок мы можем считать своими? Кто-то однажды сказал мне, что чувствует себя как дома на окраинах земель. По которым никто не тоскует. «Я словно вне границ того места, в котором живу, — поведал мне другой саам, — не могу сказать, что мне там неуютно, но эти границы мне не преодолеть».

Финно-саамский поэт *Áillohaš* (Нильс-Аслак Валкеапяя) как-то сказал, что мы носим свой дом в сердце. Возможно ли это, если тебя заставили покинуть его?

Могу ли я горевать по месту, которое никогда не было моим?

Со времен первых принудительных переселений прошло более ста лет. Тогда наша семья в последний раз перегнала оленей через море на материк. С тех пор поселение опустело. Изредка приезжая сюда, мы слышим его шепот. Тех, кто ничего о нем не знает, встречает лишь тишина.

Нет никаких сведений о людях, которые когда-то здесь жили.

Таков след саамской истории: немного отличающаяся растительность, едва заметные возвышения, сожженные вежи. Наша история — это табличка, которую никто не повесил, глава, которой не нашлось места в школьных учебниках. В то же время уже не первый год идут судебные разбирательства между северными саамскими округами и Королевством Норвегия. Саамы борются за право пользования исконными оленьими пастбищами, которые их вынудило покинуть государство. В саамском округе Вапстен в провинции Вестерботтен коренное население подало иск против потомков принудительно переселенных семей. Обе стороны стали участниками судебного процесса из-за исторических обстоятельств, навязанных им Швецией.

Я ложусь на ворох сухих веток. Земля, разумеется, забирает старые поселения, но я скорблю по рассказам, которые исчезают вместе с ними. Они утекают сквозь пальцы, и потому я здесь. *Varé*, мой дедушка, жил здесь со своими братьями и сестрами. Как и их родители, Ристен и Гарена Йоуна. Это место было их домом.

Сначала я хотела написать их историю, но у

меня ничего не получилось. Нашлась только черно-белая фотография в хельсинкском архиве: на ней мать и трое детей. Один из них — мой *varé* в десятилетнем возрасте. Его юпа выглядит изношенной, и я знаю почему. Они остались на месте зимовки, в Каресуандо, посреди лета, а должны были жить у моря. Им выделили комнату в здании районного суда, где они ютились вместе с тяжелобольным *isá* (отцом), прикованным к постели. Если дата верна, фотография из архива сделана сразу после его смерти. «Паралич в результате инсульта», значится в церковной книге. Ристен овдовела и осталась с ничтожным количеством оленей. Затем вся семья попала под принудительное переселение, и мать увела детей вместе с цугом (вереницей оленей). В 1923 году они добрались до гор в муниципалитете Йоккмокк.

О том, как они жили дальше, неизвестно ничего. Они не хотели об этом рассказывать. Сегодня я знаю, что моя семья — не единственная: в земле Сапми, на которой я выросла, многие люди перевязали свои раны молчанием.

Так появилась эта книга, в которой я могу рассказать о тех, чьи истории сохранились в записях, архивах или людской памяти. О тех, у кого

есть фотографии, письма, стихи и документы. Я благодарна им за каждое слово и за все, чем они поделились. В их историях мы можем угадать свои. Каждая из них помогает мне увидеть собственную семью.

За эти годы я взяла множество интервью — как у тех, кто был принудительно переселен, так и их детей и внуков. Мне также посчастливилось использовать интервью, взятые у пожилых саамов, которых уже давно нет в живых. Этот текст состоит из хора голосов. Коротких рассказов, йойков, воспоминаний. Я переплела и соединила их, используя яркие нитки, но иногда в полотне встречаются дыры и тишина. Устных рассказов со временем все меньше. Мне пришлось смириться с тем, что форма этого текста, как и всей саамской истории, похожа на разрубленные топором плетеные оборы. Их нити не истрепались, но они резко обрываются, и восстановить рисунок практически невозможно.

За время работы над книгой люди, у которых я брала интервью, начали уходить, один за другим. И каждый раз я чувствую, что теряю с ними частичку себя. Кому теперь задавать вопросы? Я слышала много историй о принудительном переселении от людей, чьи рассказы кто-то дол-

жен записать. Рассказы тех, кого принудительно переселили после того, как с севера на их земли пришли другие саамские семьи. Надеюсь, они еще успеют рассказать свои истории. Потому что для многих рассказ о пережитом — это способ исцеления. На моем любимом языке слова «рассказывать» и «помнить» выглядят практически одинаково: *muitit* переводится как «помнить», а *muitalit* — как «рассказывать». То, о чем мы повествуем, хранится в нашей памяти.

Giitos eatnat (большое спасибо). Спасибо *muore, varé, áhkku, áddjá* (дедушкам и бабушкам) — моим и другим. Это полотно я соткала для вас. Этот йойк — о вас.

Rájit
Границы

Границы существовали всегда, но раньше они следовали за природным ландшафтом, проходили там, где кончались торфяники, долины, леса или горы. Новые границы Скандинавских стран перечеркивают все естественные системы: пастбища, родственные связи и пути перегона оленей, которые существовали тысячи лет. Перекраивание границ разделяет и людей. Именно поэтому рассказ о принудительном переселении должен начаться здесь — у границы 1751 года.

Мне очень хотелось, чтобы моя книга состояла только из личных историй, но, чтобы рассказать о принудительном переселении, прежде всего необходимо описать государственные границы. Их часто упоминают пожилые рассказчики, потому что именно изменение границ перевернуло их жизнь с ног на голову.

Граница между Датско-норвежской унией и Швецией, в состав которой тогда входила Финляндия, появилась в 1751 году. Скандинавские страны и Российская империя поделили между

собой территории и подписали договор о границах. В качестве дополнения к договору был создан так называемый Лапландский кодицил, в котором закреплялось положение саамов, издревле населявших данные территории. Кодицил признавал саамов в качестве самостоятельного народа, обладающего правом землевладения. Им разрешили рыбачить, охотиться и заниматься оленеводством, как и прежде. Каждую осень стада оленей перегоняют на зимние пастбища вглубь материка, а весной возвращают к морю, где они пасутся все лето. Люди неизбежно пересекали границы.

Однако со временем право на привычную жизнь исчезает. В течение XIX века границы постепенно закрываются, а стада оленей оказываются на ограниченных территориях. Проблема достигает своего апогея в начале XX века, после обретения Норвегией независимости. Государство хочет, чтобы его землей пользовались только истинные норвежцы. Люди, постоянно пересекающие границу вместе с оленями, действуют на Норвегию как красная тряпка на быка — какое отношение к стране имеет этот народ, пусть он и жил там целыми поколениями? Оленьи пастбища должны уступить место хуторам и пашням.

«Кочевой образ жизни — это бремя для страны и ее постоянного населения, он имеет очень мало общего с интересами и порядками цивилизованного общества», — отмечает председатель Рабочей партии Норвегии Кристиан Хольтерман Кнудсен на заседании парламента.

В 1919 году Швеция и Норвегия решают эту проблему путем ратификации Конвенции об оленьих пастбищах, ограничивающей число оленей, которых разрешено перегонять через границу. Таким образом, негласно закрепляется и количество людей, подлежащих переселению из своих домов на побережье Атлантики.

Начиная с 1919 года, в течение 1920-х и начала 1930-х годов местные власти регулярно осуществляют принудительное переселение оленеводов во исполнение договора с Норвегией. В конвенции значится, что условия переселения должны соответствовать желаниям «лопарского населения». На деле же саамы полностью лишены права голоса.

Власти называют это «дислокацией». В саамском языке рождается свое слово — *bággojohtin*, «принудительное переселение». Или *sirdolaččat*, как называют себя пожилые, — «переселенные». Первые переселенцы покидают свои дома с уве-

ренностью, что им позволят вернуться.

Теперь я передаю слово им, ведь только они могут рассказать нам о том, как все было.

«— Она стремилась обратно в Норвегию.

— Она рассказывала вам что-то о принудительном переселении?

— Нет, мы об этом не говорили. Она никогда не заводила о нем речь.

Как будто подавила в себе все воспоминания.

— Они упоминали остров Сэнья?

— Только то, что они жили в Норвегии. Она позвонила нам с Сюсанной и попросила отвезти ее туда. Спросила, могу ли я помочь ей вернуться в Норвегию. После нашего отказа она попыталась обратиться к сотрудникам дома престарелых. Ее воспоминания остались в Норвегии, и она ждала разрешения уехать домой. Однажды она сбежала. Ее нашли где-то между Кобдалисом и Китаяуром, с тюком и посохом в руках. Она дождалась, пока мальчики уйдут в лес, и отправилась в путь. Она никогда об этом не рассказыва-

ла, только стремилась туда.

— В Норвегию?

— Да, всегда.

— Что она говорила?

— Что просто хочет домой».

Сире Омма
Внучка Анне Марьи Омма, принудительно переселенной в 1920 году

* * *

В моем роду переселенцами стали семьи дедушек с обеих сторон — *áddjá* и *váre*. В роду моего мужа этой участи не избежал никто, кроме семьи бабушки с маминой стороны. Она влюбилась в мужчину, подвергшемуся переселению, и переехала к нему на юг. Наши дети родились в среде принудительно переселенных семей, чьи истории переплетены между собой. Они растут с другими детьми, большинство из которых имеет такое же происхождение. Оторванные от своих корней, люди стараются держаться вместе на протяжении поколений.

Как и Йоуна, мои дети принадлежат к роду Махкут, названному так в честь его прародительницы, Маргу. В начале XIX века, летом, эта

женщина переехала в долину Лахку на берегу Атлантики. Первые оленята Йоуны родились на новой земле в 1920 году, а уже через два года практически все члены его большой семьи попали под принудительное переселение. Сегодня на севере осталась всего лишь одна маленькая ветвь этого рода.

Судьбу принудительно переселенных на юг людей можно проследить при помощи оцифрованных церковных книг, в которых саамские имена переписаны на шведский манер. Йоуна записан там как Йон Андерссон Блинд. Изначально семьи прибыли в Мавас в горах у Арьеплуга, их имена занимают половину церковной книги. Имена повторяются, потому что люди переезжали вместе с родней. Со временем детей и внуков Маргу словно ветром разносит по всей земле Сапми. Ветви ломаются, семейное древо вырывают с корнем. Когда распадается семья, человек теряет свою единственную защиту. Поддержка двоюродных братьев и сестер, крестных, бабушек и дедушек ежедневно помогает нам преодолевать трудности жизни. Помимо оленей, семья — наша самая большая ценность.

Йоуна — один из немногих, кто сам принял решение уехать. Прибыв в новое место, люди

почувствовали себя обманутыми — все оказалось лишь *«guoros lohpádusat»* — «пустыми обещаниями». Пастбища на юге уже принадлежали другим саамам. Ме́ста для тысяч оленей, обещанного фогтом по делам лопарей, нет. На причитающейся Йоуне земле стоят другие стада, а местные оленеводы недовольны появлением чужаков. По вырезкам из газет, письмам и официальным документам можно проследить, как число конфликтов растет параллельно с количеством переселенцев. Разногласия возникают между теми, кого переселили, и теми, кто даже не знал о том, что пастбища теперь придется делить с другими оленеводами. Уже в 1922 году Ведомство по делам лопарей заявляет, что «дислокация привела к неурядицам и неразберихе, поскольку методы оленеводства каресуандских лопарей значительно отличаются от исконных северных».

Имя Йоуна также встречается в письме, где он благодарит власти за компенсацию переезда. Однако, по словам самого Йоуны, ничего подобного он не писал, потому что денег так и не увидел. «Это дело рук фогта, он выразил благодарность самому себе. Кто-то просто подписал письмо моим именем».

Найдутся ли со временем другие документы, подписанные именами переселенцев, о которых они даже не знают?

Новая конвенция об оленеводстве вступила в силу в 1923 году. Начались большие переселения, острова и полуострова у побережья Атлантики опустели. Власти торопились поскорее переселить всех саамов. Ведомство по делам лопарей не только активно переселяло людей, но заявляло, что народ идет на это добровольно. Чиновники «обрабатывали лопарей». Все заявления о переселении практически идентичны: совпадают формулировки и почерк, отличаются только имена и подписи. В своих лекциях о принудительном переселении саамов историк Юханнес Мараинен подчеркивает, что писать умели единицы, а члены их семей «даже не подозревали, какую бумагу они только что подписали».

Ведомство по делам лопарей также приняло решение выплачивать переселенцам компенсацию в размере от 300 до 500 крон. Те, кто уже успел переехать, получат ее задним числом.

В саамских вежах на севере растет беспокойство, оно пропитывает покрывала, хворост и *asttáhat* (кочергу) для углей. Кого заставят уехать? Кому разрешат остаться? Теперь люди знают,

что решение окончательное и вернуться им не позволят. Уходя, они благодарят родные места. Произносят *hivás de ealli ja jámet*: «прощайте, живые и мертвые». Отдают все, что не могут взять с собой.

Власти отправляют списки имен пасторам, которые вычеркивают их из церковных книг на севере, и передают сведения о них церквям на юге. В 1923 году переселенцев регистрируют в обозначенных ведомством местах в Норрботтене. В ту весну принудительному переселению подверглись приблизительно 120 человек вместе со своими стадами. Некоторым из них пришлось преодолеть около 600 километров.

Goahtoeanan, báze dearván
Прощай, моя земля

Апрель 1923, Dillá-muore (бабушка Дилла). Маргарета Утси

Время от времени Дилла ослабляет пояс. Снять его полностью не получится — тогда будет задувать холодный весенний ветер. Можно подвязать чуть выше или ниже живота. Шуба широкая, ее пока хватает. Дилла никогда не отличалась миниатюрностью, но после рождения первых детей тело возвращалось в форму. Теперь все по-другому. Юпа, которую она носила во времена знакомства с Михкелем Биера, уже давно перешита. Это не так важно— Дилла уже смирилась со своим внешним видом. Но ей по-прежнему не хватает чувства легкости и сил идти по снегу — когда в него проваливаются ноги, Дилла думает о ребенке, которого носит под сердцем. Может, на этот раз будет девочка? Малышка после семи сыновей. А может, еще один мальчик, который будет заниматься оленями.

Между их с Михкелем старшим сыном и будущим ребенком — 17 лет разницы. Все дети

рождались у Диллы словно по часам, раз в два года. Младшие уже ездят на запряженных оленями кережах, а двое старших помогают отцу в лесу. С момента отъезда семьи с севера дети идут за стадом на лыжах.

Вслед за оленями по заснеженным горам катятся 16 кереж. Их путь на юг начался еще в феврале, после праздника *gintalbeaivi* (Сретения Господня), а сейчас на дворе уже апрель. Ранним утром семья продвигается вперед, а когда солнце стоит высоко — отдыхает. Кажется, они уже почти пришли.

Спустившись со склона, они видят широкую полосу замерзшего озера, окруженного горами. На востоке виднеются вершины. Кережи лавируют между образовавшимися проталинами. Биеттэ, старший сын Диллы, начал заниматься гоном оленей с тех пор, как они уехали из Неарвы. Он обводит взглядом плоский ландшафт. «Похоже на весенний рай. Проруби и проталины… Ничего прекраснее я не видал». Дилла тоже впервые оказалась на таких хороших пастбищах. Как только семья останавливается, олени начинают копать. За время пути стадо постигла лишь одна беда — как-то ночью волк утащил шесть животных. Одна из самок принадлежала Михелю.

Не заметь батрак Ола дикого зверя вовремя, тот загрыз бы больше оленей. По словам охотника на куропаток, которого семья встретила на одной из горных стоянок, это был старый волк из Дуиби. Хорошо, что он не успел распугать все стадо.

Старшие обсуждают, не остаться ли им здесь на Пасху, чтобы олени могли как следует насытиться? Впереди и позади них на приличном расстоянии друг от друга движутся другие семьи: Валхку, Хейкас Лассе, Балухат. Пока они не знают, придет ли кто-то из оленеводов на те же земли.

Зимой Биеттэ вместе с отцом участвовал во встрече в Каресуандо — фогт по делам лопарей собрал жителей в здании районного суда, который размещался в срубе неподалеку от церкви. Туда пришли почти все предводители местного сийда (сообщества) в оленьих шубах. На стенах помещения проступала влага, воздух был холодным. На встрече присутствовал Хольм, получивший прозвище *sundi* (судья), — фогт со светлыми глазами и усами, в суконном двубортном пальто. Он вел себя как король, хотя об оленеводстве Хольм знал только из книг. «Были приняты жесткие решения — нам зачитали список тех, кто подлежал переселению. Среди других я услышал имя *isá*». Люди вокруг Биеттэ начали говорить, что никуда

не поедут. Но если у них заберут землю, куда им деваться? Некоторые, сжав губы, смотрели в одну точку. Фогт снова заговорил по-шведски. Позже Биеттэ осознал сказанное Хольмом: «Нам велено переехать. Это единственный вариант».

Когда они вышли на улицу, уже стемнело. Виднелся только свет из немногочисленных окон деревянных домишек по обе стороны реки, часть деревни оказалась на территории Финляндии, всего в сотне метров отсюда. Слухи о встрече разлетелись мгновенно — во всех вежах и хлебнях только об этом и говорили. Знает ли кто-то страну, в которую их отправляют? Что это за земли? Какие там олени?

Никто не мог ни есть, ни спать. Люди начали получать прошения о переселении, напечатанные на машинке. Казалось, что бумага вот-вот разорвется, когда ставишь подпись «Страшная история», — вспоминает Биеттэ.

Дилла изо всех сил пытается работать быстрее. Накрывает жерди для куваксы плотными суконными покрывалами. Заносит внутрь дрова. Младшие дети ждут, сидя в кережах. Дилла знает, что скоро они начнут плакать. Рядом куваксу строит ее младшая сестра Элле. В третьей живет семья Анддират. Затемно муж Элле Адья Биеттэ

отправляется к стаду, за которым следит батрак. Здесь все помогают друг другу. Один сунет детям кусок вяленого мяса, другой отведет их пописать, пока кувакса еще не построена. Вскоре из рехпеней начинает подниматься дым, закипает первый кофейник. Наевшись, малыши сразу же засыпают.

Жизнь не всегда дает тебе выбирать. Надо радоваться тому, что имеешь. Выходить замуж сразу же, как появится достойный жених, тем более со стадом. Дилла прислушивалась к тому, что советуют старшие. Когда они с Михкелем Биера поженились, она уже носила под сердцем ребенка. Михкель был статным и высоким мужчиной, а она — из простых. Их спешно обвенчали посреди лета, когда живот еще удавалось скрывать под юпой. Между Диллой и Михкелем — 24 года разницы, он годится ей в отцы. Он уже был дважды женат и потерял обеих жен и шестерых детей. Когда они стали жить в одной веже, Михкель привел в дом свою младшую дочь — так Дилла стала матерью его дочерям и их общим сыновьям. Все ее дети летом бегали по теплой земле у фьорда. Засыпали на хворосте для веж, под *rákkas* (навесом), бегали по тропинкам, пропитанным запахом моря. Ребенок у нее под сердцем родится

совсем в другом мире, если вообще выживет.

С этим Дилле пока что везло — смертей было не так много. Она потеряла своих первенцев, двойняшек: сначала дочку, Сюсанну, а через год — мальчика по имени Юханнес, едва дожившего до двух лет. Дилла знает много матерей, на долю которых выпали гораздо бóльшие испытания. Они научились почти не говорить о грядущем. Складывать поленья в веже в правильном месте. Прятать растущий живот, чтобы не сглазить, не создавать лишних поводов для страха. Тихое, иногда вынужденное сестринство поддерживало их, когда рожденные в холодных зимних вежах младенцы не доживали до рассвета. Имена умерших детей переходят к следующим. Душа продолжает свой путь, и когда-нибудь она вернется. Эта мысль утешает их.

Примерно в километре к югу семья видит перед собой старый лес. Адья Биеттэ и *áddjá* (дедушка) Андир натирают лыжи дегтем. Если верить словам проводников, они уже почти на месте. Мужчины идут вперед, чтобы понять, куда двигаться дальше. Они никогда не видели таких высоких деревьев — стволы, изогнувшись, тянутся к небу, серебристые сухостойные сосны склонились от ветра. На севере едва хватает

сосен, чтобы привязать оленей. По всему лесу виднеются метровые проталины. Чуть дальше лес выходит к широкому озеру. Это Лулахъяури?

С запада доносится неестественный глухой металлический стук. По замерзшему озеру идут тяжелогруженые повозки, запряженные лошадьми. Андир *áddjá* пытается изъясняться по-норвежски, но его никто не понимает. В конце концов, при помощи жестов ему удается отыскать человека, с которым можно поговорить.

— Мы везем провизию и материалы на строящуюся дамбу в Суорова, — отвечает мужчина на певучем диалекте, — а это озерная система реки Лулеэльвен.

— Здесь можно купить еду?

— Ну, магазина нет, но еды купить всегда можно.

Дети ждут возвращения Адья Биеттэ и Андира *áddjá* и кричат, едва завидев их. Все собираются, чтобы услышать новости. Биеттэ слушает их рассказ о тягловых лошадях и о людях, которые перекрикиваются во время работы и говорят только по-шведски.

— Мы нашли место, в котором можем перейти через Лулахъяури, и знаем, куда идти дальше, — рассказывает Адья Биеттэ детям, — здесь растут

высоченные деревья и кусты, на которых есть ягоды!

Все понимают, что все по-другому, это иная земля.

Несколько дней спустя семья вновь отправляется в путь вдоль склонов Йуобму. При перегоне стада через места, не покрытые снегом, с мужчин катится пот. Цуги иногда спотыкаются, но изо всех сил тащат заготовленное на весну и лето мясо, рогожные мешки с мукой, небольшие кули с солью, десятикилограммовые мешки сахара и кофейных зерен. Помимо этого у них с собой котлы для мяса, летняя одежда, сундуки с серебром и ценными вещами. Дилла впервые перегоняет такой тяжелогруженый цуг. Они меняют тягловых оленей и дают им передохнуть. Раньше они всегда оставляли еду в тех местах, в которые собирались вернуться, но этот цуг нагружен неизвестностью.

Перед их отъездом торговец продал семье все, что смог, упирая на то, что на новом месте этих товаров может не оказаться. Некоторые купили 800 килограмм муки и 100 килограмм кофе. И намного больше дегтя, чем обычно везли олени. Дилла и Михкель Биера получили компенсацию в размере 500 крон в коричневом бумажном

свертке. Казалось бы, большие деньги, но на закупку товаров в Кируне уже ушло немало.

Преодолев скользкую поверхность озера, семья вместе со стадом поднимается к горам. У Сальтолюкта их ждет инспектор по делам лопарей Энбум. Он ищет их имена в списках, в которых значатся все переселенцы. У Михкеля Биера и Диллы бумаги в Улльдевис, однако Энбум отправляет их в Вайсалюкта. Другие семьи он посылает в Мавас, Вирияурэ, Гутьяурэ и Лоддейохко. «Как родитель, командующий детьми», — отмечает Биеттэ. Он помнит, как мать и отца впервые попросили написать прошение о переселении — тогда фогт в красках расписывал то, как хорошо им будет на новом месте.

— У вас ведь такая большая семья, так много сыновей, — приговаривал он.

Господа сказали, что Михкелю Биера следует подумать о будущем своих детей.

Дилла останавливается у озера и начинает собирать вещи Лассе, пока дети играют. Она укладывает оборы, сплетенные специально для него, ниточка за ниточкой. Элле попросила кого-то из сыновей сестры, у которой так много детей, отправиться с ними в Арьеплуг, чтобы помочь — Дилла согласилась. Лассе может пойти с ними

в качестве *unna reaŋga* — младшего батрака. Ему уже девять — он может помогать с цугом и следить за малышами.

Дилла с сестрой собирают вещи. Когда кережи Элле берут путь на юг, мать подводит Лассе к тетушкиному *geres* — цугу, который увезет его от семьи. Худой и серьезный девятилетний мальчик, вымахавший как на дрожжах. Дилла не знает, когда он сможет вернуться домой. Только тихо, как воскресную молитву, повторяет, что у сына все будет хорошо. Обязательно будет хорошо. Они быстро прощаются. Словами боль не облегчишь.

Дилла и Михкель Биера поворачивают на запад. Батраки и старшие сыновья расходятся — они отделяют от стада олених, чтобы те могли отдохнуть перед отелом. Самцов отводят к другой горе. Каждый батрак денно и нощно стережет свою часть стада.

Новое место для летней стоянки Дилла впервые видит накануне Дня летнего солнцестояния. Оно на низком берегу озера, изрезанного мысами и заливами. Обрывистый склон над водой, тень от которого застилает землю с раннего утра, покрыт деревьями. Редкие березовые листья поблескивают на солнце подобно отполированному серебру.

К востоку от бурной реки проглядывают вершины взмывающих в небо ледников.

Неподалеку от озера лежит перевернутая лодка. Мальчики оттаскивают ее к воде, снимают обувь и перешагивают через затопленные мостки. В начале лета из-за дамбы здесь наступает половодье. Неуклюжими гребками мальчики продвигаются по озеру. Несмотря на то, что они выросли у моря, у семьи никогда не было лодки — они рыбачили только в горных озерах при помощи веревки и крючка.

Дилла ходит вокруг и осматривается. Она ищет родники и хорошие камни. Воздух здесь другой: нет запаха соленой воды и водорослей, только прошлогодние сгнившие листья и остатки снежной плесени.

Дети с шумом бегают среди деревьев и пригорков. Дилла чинит износившиеся кожаные стельки и плетет тесьму. В зубах она держит трубку, надвинутая на лоб шапка скрывает ее темные волосы. С каждым днем Дилла чувствует себя все более неуклюжей и тяжело переваливается с ноги на ногу. Другие женщины не спускают с нее глаз и не оставляют надолго одну. Михкеля Биера она видит редко — вместе с другими мужчинами они помечают оленят и неустанно стерегут стадо

в горах. Они безумно боятся его потерять. Олени настолько привыкли плавать в море, что могут уплыть на север, если никто не будет следить за берегом озера.

Дилла скучает по Элле и думает о Лассе: как ему живется на той земле, подвязывается ли он оборами, которые она сплела? Ей нужно подготовиться к появлению ребенка и найти того, кто поможет. Говорят, на Бартту Элле можно положиться — она не раз принимала роды и умеет заботиться о больных детях. Дилла ненадолго одалживает лодку, ей помогают грести. Нужно пройти 30 километров по воде, и потом еще немного пешком.

В конце августа в одной из веж в Лейбба у Диллы рождается мальчик. Она заворачивает сына в телячью кожу и укладывает на мох. Оборачивает его головку, загибает кожаное покрывало и крепко зашнуровывает люльку. Тесьма на ней остается прежней, поскольку малышка Сюсанна к ним не вернулась. Вместо нее родился Ула Юханнес, названный так в честь своего умершего брата. Это их с Михкелем Биера младший сын, *váhkar*, ему предстоит заботиться о родителях. Серебряные пуговицы защитят его от всего плохого и грядущего пути в лесистую местность. Зимой и осенью их ждут новые земли. Дилле нужно

отдохнуть. Хорошо бы, чтобы этот ребенок был последним — ее тело больше не выдержит.

Дилла почти все время проводит дома, но к ней приходят гости. Ей нравится угощать их чем-нибудь и предлагать кофе. Иногда женщины из других веж приносят с собой оленьи сухожилия, достают игольницы, висящие на поясе, и за разговорами начинают плести. Руки работают, а женщины говорят о людях, живущих на новой земле, их простых детских юпах блеклого цвета и прямых оборах. Шведских картузах. О том, как местные подобно воробьям снуют по льду на лыжах с длинными палками. Об их оленях, угольно-черных, как вороны, и послушных, как козы.

Женщины вспоминают и о *min riika*, «нашей земле», которую они покинули. Она не такая, как *dát riika*, «эта земля». Они говорят о церковных праздниках в Каресуандо, родне и о море. О границах, оленьей полиции и штрафах. Власти фогтов. Кто-то уверен, что они попали на медвежью землю. В дом хищников. Повсюду лежат камни — их так много, что иногда даже не знаешь, где сесть.

Самым важным для Диллы становится благополучие ее мальчиков — только об этом она волнуется. «Им бы жену богатую», — шутит мать, но она действительно так думает. Нужно обеспе-

чить им хорошую жизнь. Олени Михкеля Биера пасутся так, будто вросли в землю. На местные пастбища — грех жаловаться. Если они будут давать достаточно еды и обеспечивать всех сыновей работой, Дилла с радостью назовет эту землю своим домом. Если у детей все сложится, она не будет горевать по былому.

Стуоранъярга
Предпоследнее лето

Август 1924

Андом Овла и Михкель Биера Ристиинна

Улоф Андерссон Омма и Кристина Омма

Многим известен йойк о полуострове Стуоранъярга. О крупных, подобно лошадям, оленях. Андом Овла слушал его с детства. В нем поется о том, как олени все пасутся и пасутся, а корм все не кончается. Иногда этот йойк приходит к людям, когда они сгоняют и стерегут животных. Особенно в ясную погоду, когда стадо находится высоко в горах, дует ветер, на небе светит солнце, а телята постепенно взрослеют. В такие дни люди поют йойк о Стуоранъярга, полуострове, выходящем в море.

Когда небо затягивает облаками, на земле воцаряется тишина. Йойк о Стуоранъярга не услышишь в те дни, когда небеса давят прямо на горные вершины. Он исчезает вместе со *skoaddun*, как его называют местные, — туманом, окутыва-

ющим полуостров плотным *rana* (покрывалом). Этот туман отпугивает оленей от гор и ведет их вниз к фьордам. При первых признаках циклона Андом Овла быстро обувается. Ему известно, что облака влекут за собой много работы. Впереди оленеводов ждут штрафы — как бы пристально они ни следили за животными, всех отловить невозможно. «Нам приходится постоянно стеречь их, чтобы норвежцы не взимали с нас плату». Андом Овла — предводитель местного сообщества. Он отвечает за весь округ и представляет интересы оленеводов Ромсовагги при возникновении конфликтов. Прошло не больше года, как Андом Овла получил эту должность, он замечает, как на него косится местный чиновник.

— Он не понимает, что разговаривать надо со мной. Для него я просто-напросто ребенок.

Раньше за переговоры о штрафах отвечал его отец, глава семьи, Юхана Анте. Когда отец внезапно умер, эта ответственность легла на плечи Андома Овла. С норвежским языком ему приходится нелегко. Андом Овла слушает. Не так важно, что именно говорит чиновник— ему известно, кто из крестьян дружелюбно настроен, а кто не желает их здесь видеть. На каких-то территориях оленеводам всегда приходиться платить.

Андом Овла быстро идет вверх по теснине из Гоахцевупми. Поначалу идти тяжело — крутизна резко возрастает. Добравшись до плато, Андом Овла перебегает через сухие торфяники и горные луга. На западе виднеются вершины больших островов, Саллир и Ранис, позади которых — открытое море. На дорогу домой у Андома Овла уходит примерно полдня. Путь недалекий, но подъем крутой.

Вежа Андома Овла стоит в Ромсовагги, в западной части полуострова Стуоранъярга. Километрах в пяти оттуда располагается город Ромса, построенный на острове недалеко от материка. Иногда они добираются туда на лодке или проплывающем мимо судне, на котором крестьяне ездят доить коров.

Андом Овла чувствует запах поднимающегося из веж дыма. Издалека они выглядят абсолютно одинаково: без окон, покрытые дерном, с дверью, выходящей на восток, вежи напоминают разбросанные по долине муравейники. К их стенам жители прислонили торчащие в разные стороны колья, чтобы наверх не могли залезть козы. В глубине долины видна пологая гора Салашоаиви. Где-то вдалеке лают собаки.

Всю свою жизнь Андом Овла останавливался в

этих местах на лето. Он часто пригонял сюда стадо уже в мае. «Это добротная земля. Здесь много пространства и хорошие вершины. Повсюду трава. Оленята вырастают крупными и сытыми. Тут никогда не теряются олени». Андом Овла тоскует по животным в те дни, когда их нет рядом.

Постепенно Стуоранъярга становится Ристиинне домом. Постельное белье развешено на воздухе. На ве́шала у вежи накинуты свалявшиеся полосатые ковры, овечьи и оленьи шкуры и подушки. Это второе лето, как Ристиинна и Андом Овла поженились. Иногда они каждую минуту проводят вместе, а иногда мужа подолгу не бывает дома. До свадьбы они едва ли успели узнать друг друга, так как выросли по разные стороны моря, как говорит Андом Овла. Ристиинна родом из Люнгена, летняя стоянка их семьи всегда располагалась у подножия горной цепи Лингсальперна. Зимой они с Андомом Овла катались на лыжах по разные стороны Росту. Впервые он увидел Ристиинну на конфирмации в Каресуандо — она была гораздо выше, чем другие девушки, с длинной, как у журавля, шеей. Об этом даже пелось в ее йойке. «Когда я впервые увидел ее, то почувствовал, что хочу жениться, хотя она была совсем молодой. Я сразу же понял, что это

моя будущая жена».

Андом Овла собирался сначала увеличить поголовье своих оленей, но с помолвкой пришлось поторопиться. Семью Ристиинны собирались переселить, и Андом Овла знал, что быть с ним без заключения брака она не сможет. Он аккуратно обвязал свои лучшие кеньги оборами и надел шубу с белой оторочкой. В веже будущих свекров речь за Андома Овла держал его друг — сам он молча сидел у двери. Руки тряслись. Всем известны истории, когда мужчина ехал просить у девушки руки, а возвращался с пустым взглядом. Этого Андом Овла и боялся. Мачеха Ристиинны не сразу предложила гостям кофе — ей казалось, что жених заявился к ним слишком рано. Этим жестом она будто хотела сказать ему: «больше ты от меня ничего не получишь». Мачеха привела все возможные аргументы и явно не хотела расставаться с падчерицей. Андом Овла уже приготовился ехать домой, но Ристиинна была непреклонна. Вместе с ним она отправилась к священнику удостовериться, что тот внесет оглашение помолвки в церковную книгу.

Всего через пару дней после свадьбы семья Ристиинны отправилась в путь. Поначалу Андом Овла помогал им с переездом. «Уехала поло-

вина жителей. Мои сестра и один из братьев. Только другой остался». Ристиинне пришлось попрощаться практически со всей своей родней: младшими братьями, родителями и сестрой, которые попали под принудительное переселение в Арьеплуг.

В один миг Ристиинна стала молодой женой и одновременно *stuoranjárgajohtti* (жительницей Стуоранъярга).

На первой совместной фотографии супругов лицо Ристиинны выглядит напряженным. На ней шапка с широким, белым, как снег, кружевом и шаль с цветочным рисунком, заправленная в *ohcan* (вырез на юпе). Блестит отполированное серебро. Помпон на шапке Андома Овла настолько большой, что свисает с головы и визуально делает его выше ростом. Его лицо украшает довольная улыбка.

Андом Овла уверен, что отец был бы рад за него. «*Isá* всегда говорил, что моя жена должна быть верующей и не слишком самовлюбленной. Это я хорошо запомнил». Ристиинна никогда бы не пропустила молитву в церкви. Ей нравится слушать проповедь, петь псалмы Сиона и испытывать чувство общности с другими сидящими на узких церковных скамьях женщинами.

В середине августа супруги гонят оленят на убой. Они пометили животных еще несколько недель назад, на жесткой корке снега высоко в горах. Сейчас оленята уже окрепли, отъелись и облачились в свой зимний наряд: сияющий, плотный и тонкий мех, настолько мягкий, что рука тонет в нем, как в теплом масле.

Ристиинна ищет оленят потемнее — ей нужно пять шкур на взрослую шубу, и несколько шкур для ребенка. Еще весной она почувствовала, как меняется ее тело. Грудь увеличилась, а ежемесячная хворь не пришла. Ристиинна готова стать матерью: она шила, пекла, стирала и помогала растить семерых младших братьев. В семье Диллы и Михкеля Биера каждый месяц уходило несколько мешков ржаной муки. Иногда Ристиинна только тем и занималась, что часами топила печь и раскатывала лепешки *gáhkku*. А ее младшие братья лежали в дальней части вежи, *soggi*, и просили дать им хлеба. Она никогда не ходила в лес, как другие девушки, так как постоянно помогала по дому.

Ристиинна раскладывает влажные шкуры на земле, пока Андом Овла занимается мясом. Поздно вечером до них доносятся крики горюющих олених. Стадо, потерявшее оленят, обычно ищет

их на том месте, где они пропали. Внутри все сжимается — к материнской скорби невозможно привыкнуть.

Андом Овла почти всегда забивает только оленят, как и его отец. Сын постоянно был рядом с ним, и Юхана Анте обучил его всему. Когда они переходили через мыс Стуоранъярга, отец рассказывал ему о свойствах гор и территориях отела. Он показал Андому Овла особые места, которые следует знать, камни и уголки, в которых можно оставить дар и произнести нужные слова. Юхана Анте поведал сыну о том, как Стуоранъярга дает их оленям самые прекрасные рога на побережье.

Теперь Андом Овла сам вырезает свои инициалы на рогах. Приходит на те же земли и чтит их. «Я следую за отцом и отдаю дань уважения родителям», — немного торжественно произносит он.

В конце лета из Ромса пришел туристический гид и сообщил, что приближается последний пароход. Высокие напичканные долларами туристы топают по дорожке в долину. Андом Овла старается лишний раз не высовываться, когда приезжают туристы. Чтобы их не выселили отсюда, оленеводам приходится выставлять животных напоказ. Самое ужасное, когда туристы хотят потрогать их одежду или сфотографиро-

ваться в ней, либо купить у них сундуки или другие вещи. Оленеводов просят залезать на вежи и выставлять детей в ряд. Случалось, что их настолько плотно окружали туристы, что нельзя было и пошевелиться, однако на просьбу заплатить за фото те начинали возмущаться. Дети радостно продают острые ножи для писем, а женщины — разнообразные кожаные мешочки. Такие сувениры приносят неплохой доход.

Несколькими днями позже оленеводы отправляются на гон оленей. Животные уже инстинктивно потянулись на восток — Андом Овла говорит, что старые олени сами знают, между каких камней нужно идти. Людям почти не приходится их направлять.

Оленеводы гонят стадо к основанию фьорда у Гаранасвуотна, ждут отлива, а затем идут 5 километров по берегу моря. Оленей, останавливающихся поесть водоросли, подгоняют собаки. В воздухе пахнет соленой водой и мокрым песком.

Ристиинна и другие жители едут к морю на повозках. Пароход завозит их вглубь фьорда, где они встречают стадо и ловят тягловых оленей. Стадо идет тем же путем, которым несколько месяцев назад шло на запад. Самое страшное — переход между фьордом и границей. О склоне Варрэоуда,

находящемся над Чиекнальвоуди, ходит много историй: забредшие в горный ручей щенки; женщина, которая споткнулась и потянула за собой оленей; сходящие весной лавины.

Надолго никто не останавливается. Когда оленям нужно дать отдохнуть, с них снимают груз, но оставляют упряжь. Живот Ристиинны уже порядком округлился — при любой возможности она садится передохнуть на кережу.

В Бикчу Андом Овла достает из пережившего сезон амбара запасы на зиму. Затем переворачивает сложенные друг на друга вверх ногами кережи. В нос ударяет резкий запах весеннего дегтя. Прошлой весной Андом Овла и Ристиинна оставили здесь толстые зимние покрывала для вежи, шубы, мягкую теплую обувь и крупы, которые теперь нужно распаковать. От влажной ткани немного пахнет плесенью, но в целом все в порядке. Мыши сюда не добрались. Сухая мука, соль и кофе на месте. Цуг отправляется на восток, а Ристиинна остается в Гобмевохпи. Через почти растаявшую толщу снега уже проглядывает земля. Горы Росту похожи на море — такие же плоские и гладкие. Ристиинна думает только о том, как добраться на восток до родов. Вместе с батрачкой они находят повозку, которая довозит

их до Неарва.

В конце ноября в доме семьи Элиаксен у Ристиинны рождаются близнецы. Физическая усталость смешивается с чувством растерянности — оказалось, она вынашивала не одного ребенка, а двоих. Двух девочек. Ристиинна это предчувствовала. Они родились раньше срока, совсем маленькие, будто две варакушки. При крещении им дали имена Марге и Элле.

И Ристиинна, и Андом Овла знают, о чем думает другой. Две *gietkkamánát* (люльки) иметь невозможно — два младенца не выживут в куваксе. Они как хрупкие новорожденные оленята, кормить которых предстоит из усталого тела Ристиинны. Сейчас самое начало зимы. *«Ii johttiolmmoš sáhte»* («Кочевник не сможет»), — говорит Андом Овла. Так было и с самой Ристиинной — ее мать умерла при родах, и отцу пришлось отдать новорожденную девочку. Сначала она жила в приемной семье, а потом у родственников матери. Когда отец забрал Ристиинну обратно, она боялась заходить в его дом.

Воздуха не хватает, Ристиинна едва может дышать. Как же им решить, кого из девочек оставить? Не ей об этом просить — это должен сделать Андом Овла. Семья Элиаксен всегда их прини-

мала, они были их *verdde* (друзьями). Их семьи помогали друг другу, сколько он себя помнит.

— Может ли одна из девочек остаться? — спрашивает Андом Овла по-фински, и Элиаксен соглашаются приютить маленькую Элле. Отец обещает обеспечить им еду, шкуры, оленье молоко и все, что сможет. Для Андома Овла и Ристиинны сезон прошел благополучно — погода была на их стороне. Прошлогодние оленихи отелились, а зимы стояли мягкие. Стадо Росту получило огромный прирост, благодаря чему крупные *isidat* (предводители сийда) стали немного богаче, а мелкие крестьяне встали на ноги. Андом Овла благодарен друзьям за щедрость — у них много своих детей, но они все равно взяли еще одного приемного.

Несмотря на огромное, тяжелое горе от того, что ей пришлось оставить новорожденную дочь, Ристиинне нужно научиться заботиться о другой малышке. Она укладывает Марге в *gietkkan* (люльку), так как Элле в приемной семье она не понадобится. Когда дочка подрастет и ее перестанут кормить грудью, родители заберут обеих девочек с собой в Стуоранъярга. Андом Овла обещает жене забрать Элле, как только сможет. Он хочет показать своим детям тропы, которые изучил сам. Пометить для них оленят. Для Андо-

ма Овла важно передать детям в наследство все, что получил он сам. Родившиеся летом оленята перейдут к следующему поколению. Все, что дал ему отец, Андом Овла передаст своим дочерям.

Ни у Андома Овла, ни у Ристиинны нет даже мысли о том, что их заставят уехать без собственной дочери. О том, что маленькая Элле останется здесь, выучит финский язык и успеет забыть мать и отца.

Eidde (мама) оставила меня в деревне у шведской женщины… Они ушли вместе с цугом, понимаете, передвигаться с двумя маленькими грудными детьми она не могла. И я осталась. У шведской женщины в деревне. Сначала они переехали в муниципалитет Йокмокк, а летом жили в Вайса.

Когда *isá* забрал меня, мне было три года. Они были для меня как чужие, и отец…, и мать… Я ведь не видела их несколько лет. Я плакала, когда отец забирал меня на машине. Я это помню, хотя была совсем маленькой. Я говорила только по-фински и никогда не слышала саамского. Конечно, я плакала, в таком-то возрасте. Я скучала по приемной матери…

В 1931 году нам пришлось переехать из Вайса в Вестерботтен. Здесь велели нам жить господа. В том же году мы пошли в школу, уже с первого июля. Нам совсем не дали побыть дома… Здесь велели нам жить господа.

Андом Овла Элле Элла Блинд, дочь Андома Овла и Ристиинны, принудительно переселенных в 1926 году



Торгни Линдгрен
«Дом»
(Рассказ)
В переводе Екатерины Крестовской

В ПЕРЕВОДЕ ЕКАТЕРИНЫ КРЕСТОВСКОЙ

Рассказ



Торгни Линдгрен

ДОМ

Если пойдешь по дороге через увал Лаупарлиден или вверх по течению Аурбэкен к разливу, стало быть, по дальнему берегу речушки и озера Вурмшён — переберешься через Скалистый холм и Рябиновую лощину, пройдешь, будто держишь путь в Люкселе, наискосок от Большой Сиговой горы — там, собственно, и дороги-то нет, только направление, — увидишь пару старых фундаментов, три заросших делянки и дом, который все еще стоит.

Если, конечно, можно назвать его домом.

По крайней мере, задуман он был как дом — долгожданный, желанный дом, к строительству которого готовились серьезно и основательно. Так вот, если идешь мимо, невольно задержишься на минуту-другую, начнешь размышлять и почувствуешь укол тревоги, будто этот дом представляет собой еще нечто иное. Место кажется знакомым, будто прежде бывал здесь, но никак не можешь вспомнить, когда и зачем.

Построил этот дом Гидеон Линдмарк — для себя и своей жены. Звали ее Карин, но он чаще величал супругу Широкой Кайсой, потому что была она широка и дородна, как арденнская кобылица. Рослый и сильный Гидеон тоже напоминал тяжеловоза. На их свадьбе гости говорили,

что красивее пары со времен Песни Песней не видывали, мол, они словно яблони между лесными деревьями, источники в райском саду и столбы белейшего мрамора. И вот переехали молодожены на поляну, что раскинулась сейчас перед глазами. Место это называется Пристанище. Всегда так звалось и сегодня носит прежнее название, хотя успело стать необитаемым и заброшенным. Это наводит на размышления. Почему Пристанище?

Гидеон выиграл десять тысяч в государственную лотерею и все эти деньги потратил на покупку хутора с семью гектарами леса, восемнадцатью гектарами неудобий и Старой избой, которой уж нет. Жили они в Старой избе, но, само собой разумеется, собирались построить новую. Ей уготовили название «Новый дом». Потом оно превратилось просто в «Дом». Место, где жили, называли Избой, а Домом — постройку, которой не было. Это тоже наводит на размышления.

Дом собирались строить из бревен, как раньше строили. С тех пор прошло не так много лет — нет, случилось это совсем недавно, если не сказать сейчас, потому что уже существовала лотерея. Ведь время государственной лотереи — наше время.

Летом Гидеон расчищал вырубки для лесозаготовительной компании, зимой охотился и рыбачил. Супруги довольствовались малым, детей не нажили. Все свободное время посвящали Дому. А свободное время Гидеон назначал себе сам. Он был рукастым, наш Гидеон: какой инструмент ни возьмет, дело спорится. Неисправимый правша, он всегда работал правой рукой. Левая всего лишь неуклюже и нерасторопно прислуживала правой. Она, без сомнения, обладала силой, но совсем не годилась там, где требовались искусное мастерство или осязание. Если случалось ему ласкать Кайсу, то тоже правой рукой. По большому счету правой он мог выполнить все что угодно, особенно с помощью топора да ножа, да пилы, да рубанка и сверла.

А еще у него была Кайса. Правая рука и Кайса — вот две силы, на которые мог уповать Гидеон. Когда он вырубал камень для фундамента, Кайса была ему и трактором, и лошадью, и лебедкой. Она помогала подтаскивать и ворочать каменные блоки, пока те не встанут в кладку. Фундамент заложили в последнюю неделю мая. Когда все камни стояли на своих местах, супруги спустились к озеру Вурмшён искупаться. Кайса поплыла через озеро, держа во рту леску с блес-

ной, которую Гидеон вырезал из кости. Жена часто так делала: плыла и тащила за собой приманку. В тот раз напротив Далинской скалы она взяла сига на три кило.

Дерево для строительства Гидеон заготавливал в собственном лесу. Выбирал сосны без сучков высотой в двадцать футов. Рубил на склоне, спускающемся к озеру. Поэтому и сегодня, если обернуться на юг и устремить взгляд далеко вниз от Пристанища, над молодой порослью заметишь проблески водной глади. Таким образом Гидеон открыл вид на воду, чтобы, стоя у кухонного окна, Кайса могла наблюдать, как весной вскрывается лед. Ледоход — самое величественное из всех зрелищ. Так вот, Гидеон ошкурил бревна и оставил в лесу сушиться, чтобы не пошли потом синью.

Затем Кайса отнесла бревна домой, а Гидеон обтесал и обровнял их. Жена собрала кору в отдельную кучу к востоку от дома — для компоста. Там посадила капусту. Выращенная на перегнившей коре капуста очищает желудок, укрепляет плечи и спину.

Отделочную древесину — ту, что должна быть пиленой и строганой — Гидеон думал купить на лесопилке Тургрена на Мельничной гряде. Не только половую доску, но и шпунтованную для

обшивки и потолка. И еще вагонку для отделки прихожей и кухни.

Но за пиленую и строганую древесину заплатишь втридорога, как за колбасу в нарезке.

Каждый месяц наш Гидеон приходил к Якобссону в деревню Вурмселе и покупал лотерейный билет. Государственная лотерея подарила ему Пристанище. Так, наверное, материал для обшивки и отделки дома она тоже могла бы оплатить.

За результатами розыгрыша ходил он каждый месяц в Вурмселе.

Сруб Гидеон поставил за два лета. Он не спешил и работал с толком. Обтесывал так гладко, словно по бревнам прошлись рубанком. Врубку выпиливал и вытесывал аккуратно, чтобы углы не продувало. Первый, окладной венец сделал из пятнадцатидюймовых бревен. Во всем срубе, даже на фронтоне, для верхних, подходивших под самую крышу бревен-самцов, не использовал Гидеон деревьев тоньше десяти дюймов. Шелом, венчающий конек крыши, — ошкуренный, но топором не тесанный, а зачищенный добротным плотницким ножом и оттого будто точеный, — тот был семнадцати дюймов в вершине. Без Кайсы никогда Гидеон не сдюжил бы поднять его.

Но что-то оставалось незавершенным. Концы повальных слег — венцов, удерживающих скат крыши — он не обрубил и выпуски в углах сруба не отпилил и не выровнял. То же и со стропилами-быками. Бревна над дверными проемами не обтесал, как полагается, чтобы были ровными и гладкими. Стало быть, многое оставалось бесформенным, отовсюду торчали недоделки.

Как только появятся пиленые, строганые и шпунтованные доски, Гидеон собирался серьезно взяться за дело. Думал, выиграет еще раз в лотерею и тогда уже будет пилить, тесать, зачищать и доводить все до ума.

Для крыши Гидеон нарубил молодых сосенок и надрал бересты в казенном лесу. Поэтому молодой лес, что стал разрастаться от Дома до озера, в основном еловый. В казенных лесах сажают ели. А еще он выкорчевал еловые пни на торфянике в стороне Черного увала. Так он получил корневища для кокор-крюков, на которые будут крепиться водостоки, ведь кокоры обязательно должны быть изготовлены из цельного корня, согнутого природой.

В сентябре, на второй год после закладки фундамента, положили кровлю. Оставалось только подровнять края кровельного теса. Этим Гидеон

тоже собирался заняться, когда серьезно возьмется за дело. После того как он водрузил на крышу последнюю доску — это было субботним вечером, накануне Михайлова дня, — Кайса поднялась к нему наверх с кофе и ломтями сдобной булки. Супруги уселись на лестничных перекладинах и устроили небольшое торжество в честь новой крыши.

Мимо шел мужик. Остановившись на пригорке у дома, он заговорил с ними. Мужик тот жил у Сигова болота и работал на руднике в Кристинеберге.

Речь, конечно же, пошла о доме. О недостроенном доме говорить можно жуть как долго, особенно осенним вечером, когда в сумерках не различить всех мелочей, тонкостей и оригинальных решений, которыми гордится строитель — в нашем случае Гидеон, — о многом надо расспросить и многое объяснить. В конце концов мужик с Сигова болота, тот, что возвращался домой с Кристинебергского рудника, спросил:

— Но откуда тебе взять деньги на обшивку и прочее, пиленое, строганое и шпунтованное? И на вагонку для кухни?

— На лесопилке куплю у Тургрена на Мельничной гряде, — отвечал Гидеон.

— Эти-то доски? — воскликнул горняк. — Да ты за них втридорога заплатишь, как за колбасу в нарезке!

— Но ведь наверняка что-то можно в кредит взять, — заметил Гидеон.

— У лесопилок? Им и так все должны деньжищ уйму! Не по карману им товар в кредит отпускать!

— На самом деле, — разоткровенничался Гидеон, — на самом деле я собираюсь разжиться деньжатами.

— Вот оно как? — удивился мужик с Сигова болота. — И как же ты собираешься разжиться деньжатами в наше-то время?

Тогда повернул Гидеон к горняку свое красное лицо с обветренными губами, взглянул на него большими круглыми навыкате глазами и сказал:

— Думаю выиграть в лотерею.

— Вот, значит, как, — ответил горняк. — Тогда понятно.

Потом они надолго умолкли.

— Что до меня, так я в лотерею никогда и не верила, — вступила в разговор Кайса.

— Но должна же, — возразил ей муж, — у человека быть надежда. И потом, деньжата на

покупку Пристанища достались нам благодаря лотерее.

— Значит, все, что тебе было суждено выиграть в этой жизни, ты уже выиграл, — заметил горняк.

— А что, есть такой закон? — спросил Гидеон.

— Да. А большинство умирает, так ни разу и не выиграв.

На другом берегу озера Вурмшён прокричала гагара. Стало так сумрачно, что стоявшего внизу на пригорке мужика было уже практически не видно. В конце концов Кайса нарушила молчание:

— Хорошо, что ты пришел и рассказал об этом Гидеону.

— Если мне не удастся достроить Дом, — произнес ее супруг, — можно сразу точильный камень на шею — и топиться.

Гидеон и впрямь приобрел точильный камень — слегка кривой, конечно, но все же куплен он был для заточки инструментов. Сейчас этого камня не увидишь, его скрыли заросли ивняка.

— А на руднике в Кристинеберге, — заговорил опять горняк, — нужны люди, и там можно подзаработать деньжат.

— Вот как? — заинтересовался Гидеон.

— Рудник, — продолжил мужик, — он почти как государственная лотерея.

— Еще мне понадобится торцовочная пила, — заметил Гидеон, — и хороший ватерпас.

— Пора мне, а то стемнело совсем, — сказал горняк. — Мне еще аж до Сигова болота топать.

— Ну, будь здоров! — попрощалась с ним Кайса.

— И вам не хворать! — ответил горняк.

— Бывай! — отозвался Гидеон.

И обитатель Сигова болота исчез во мраке елового леса, а Кайса и Гидеон, спустившись с крыши, решили, что да, они, пожалуй, отправятся в Кристинеберг на рудник.

В понедельник после Михайлова дня супруги пришли в Кристинеберг. Шли весь день, Кайса несла постельное белье в заплечном мешке. В одном из бараков им отвели комнату с плитой.

И Гидеону нашлась работа. Он волен был выбирать из множества подземных ремесел; судя по всему, рудник мог вместить сколько угодно рабочих.

А что же Кайса?

— Нет, шахта — не место для женщин. Чтобы женщина спустилась в шахту? Да не в жисть!

Вот что сказал управляющий, причесывая ног-

тями свои кустистые брови:

— Шахта — это жуткая черная дыра, затягивающая мужчин, жестокое и ужасное чрево, которое открывается только мужчинам.

Но тут же добавил:

— А вот повариха нам может понадобиться. Они то и дело бывают брюхатыми от горняков, и приходится искать замену. Но и это еще не точно.

— Я сильна, как арденнская кобылица, — сказала Кайса.

Но даже чистокровной арденнской кобылице не разрешили бы спуститься в шахту. Нет, это невозможно. Кобылицам любых пород вход туда был заказан. Вот с каким глубоким уважением относились ко всему женскому горняки Кристинеберга!

Итак, наш Гидеон устроился на рудник строителем. Он ведь был рукастым и строить привык. Теперь Гидеон вкалывал в шахтах и штреках, возводя лестницы и затворы совсем так же, как раньше корпел над стройкой в Пристанище. Если смотреть глубже, он продолжал строить Дом. Каждое движение натруженной руки Гидеона превращалось в звонкую монету, а монеты в свое время должны были обеспечить им строганые

и нестроганые доски да вагонку с лесопилки Тургрена на Мельничной гряде. Просто строительство Дома пошло немного окольным путем через Кристинеберг. Одна стройка заменила Гидеону другую, а веру в лотерею он утратил.

Но после Нового года оба — и Кайса, и Гидеон — осознали, что деньжата откладываются с трудом. Их совсем не оставалось. Все уходило на комнату в бараке, еду да рабочую одежду. За вечерней трапезой Дом даже старались не упоминать. Потому что, кабы не он, ячневую кашу сдобрили бы вареньем или патокой.

— Эх, если бы не мой неуемный аппетит, — говорила Кайса.

И вот однажды перевязала она груди двумя платками, чтобы не выпирали, набросила робу с кожаным капюшоном, скрывающим волосы, и нарисовала себе карандашом щетину на подбородке. В таком виде отправилась наша Кайса в заводскую контору и объявила, что к ним пришел горняк, каких раньше в Кристинеберге не видывали. Что там у вас самое тяжелое? Где лучшая сдельщина?

Так стала Кайса грузчиком. Она была самым проворным, выносливым и могучим грузчиком из всех, кто нанимался работать в этих штреках.

Горному мастеру часто случалось останавливаться за спиной у Кайсы и наблюдать, как она работает. Он просто стоял и смотрел на это удивительное тело, которое работало без устали и никогда не давало сбоев. Вот бы изобрести такую машину — машину, похожую на этого человека! Получился бы совершенный погрузчик! Он стал бы величайшим успехом за всю историю горнодобычи!

Откуда было мастеру знать, что на самом деле Кайса не руду ковшом переваливала, а перекладывала строганые и нестроганые доски с лесопилки Тургрена, что на Мельничной гряде, да еще вагонку. Именно Дом придавал ей сил и выносливости. Если бы Дом не подстегивал Кайсу, она бы работала просто как обычный дюже сильный мужик.

Ну, вот теперь, наконец, у супругов стали оставаться деньги. У них с Гидеоном была жестянка, на которой красовалась надпись «Кофейный напиток высшего качества». В нее складывали купюры и монеты. И Гидеон начал подсчитывать сбережения в объемах пиломатериалов. Сколько бы он смог купить шпунтованных досок, сколько досок в три четверти дюйма и сколько полуторадюймовых?

Того горного мастера, что работал на руднике в Кристинеберге, звали Лундвалль. Родом он был с юга, из Людвики. Один раз Лундвалль битый час наблюдал, как Кайса грузит руду. Он стоял по стойке смирно и лишь изредка покачивал головой, охваченный возвышенным восторгом. Надо же, какой горняк! Грузчик, а прекрасен, словно элеватор! В конце концов мастер не удержался, сделал пять шагов вперед, откашлялся и воскликнул:

— Ты не такой, как другие мужики, в этом нет сомнения!

Тогда Кайса выпрямилась и сказала:

— Да нет, я такой же, как все мужики. Мое имя — Манфред, но народ называет меня Манне.

— Нет, — продолжил мастер Лундвалль. — Ты — будто три или даже четыре могучих мужика, вместе взятых!

Тогда Кайса задрожала крупной дрожью, и лопата выпала у нее из рук. На столбе у вагонетки висел переносной фонарь. Свет упал на лицо, исказившееся от непонятной смеси горечи, ошеломления и залихватского возбуждения. А Лундваллю пришлось продолжить:

— Ты не можешь быть обыкновенным мужиком! Ты — двужильный или даже многожильный,

я уверен! Все, что заложено в нас, обычных мужиках, увеличено в тебе многократно. Каждая часть твоего тела достигает таких колоссальных размеров, что даже страшно подумать, как ты с ним управляешься!

После этих слов ужасная дрожь вновь охватила Кайсу. Окрашенный рудной пылью серый пот стекал по ее лицу. Она не могла вымолвить ни слова, только хватала ртом воздух. Ноги тряслись, руки судорожно сжимали грудь, которая никуда не делась, как бы туго ни сдавливали ее платки.

В конце концов Кайса сдернула со столба фонарь, а другой рукой подхватила мастера Лундвалля. Он был маленького роста, худощав и узок в плечах.

Кайса увлекла его за собой в сторону, в одну из ниш. Там рассказала все как есть; дрожащим от негодования и возбуждения голосом объяснила, что она, по правде говоря, женщина. Молвила, что ее оскорбленный пол не может больше молчать и что в сердце бушует пламя. Вручив мастеру Лундваллю фонарь, Кайса расстегнула одежду и вновь выпустила свою грудь на свободу.

— Я больше не могу, — сказала она. — Ты должен видеть, что я — женщина!

И мастер Лундвалль подошел ближе. Фонарь

трясся в его руке, и свет дрожал, когда он наклонился вперед, чтобы как следует рассмотреть. Сомнений не оставалось: женщина! Пока мастер лицезрел то, что ему позволили увидеть, зубы у него застучали от страстного желания.

Срывающимся на фальцет голосом он признался Кайсе в любви.

Ей никогда не приходилось слышать подобного от Гидеона.

И Кайса ответила, что сражена наповал. И побеждена.

— С этим, видно, ничего не поделаешь, — сказала она.

Когда вечером того дня Гидеон вернулся домой в их комнату в бараке, он сразу увидел, что Кайса ушла от него. Все о таком слыхали, и он понял, что к чему. Исчезла ее одежда, корзинка со швейными принадлежностями, мешочек с папильотками и коленкоровый саквояж с особыми прокладками.

Говорят, Кайса и мастер Лундвалль подались в Южную Швецию. Долго ходили слухи, что они разъезжали по ярмаркам, где она разгибала подковы, поднимала мужиков и разрывала пополам телефонные справочники. Их многие видали.

Поговаривали также, что в годы войны он сменил имя и стал пастором в церкви Святой Троицы, а потом избрался депутатом в риксдаг. Никогда не знаешь, кому что суждено.

Казалось, для Гидеона в результате этой истории строительство Дома закончилось. Однако в жестянке с надписью «Кофейный напиток высшего качества» на дне, под деньгами, нашлась записка от Кайсы: «Дострой Дом за меня и мой грех».

Она так и написала: «Мой грех».

Но не мог же Гидеон оставаться в Кристинеберге, где всем все было известно. А на медном руднике Адак никто и слышать не слыхивал ни о нем, ни о Кайсе с мастером Лундваллем.

Тот рудник только что открылся, и Гидеон устроился туда бурильщиком. На бурильщиков деньжат не жалеют.

Гидеону выделили койку в холостяцком бараке. В свои смены он выбуривал из горной породы строганые и нестроганые доски и, конечно же, вагонку с лесопилки Тургрена. Ставка была хороша, и жестянка с деньгами быстро пополнялась. По ночам, когда другие мужики метались во сне на своих койках от развратных снов о женщинах, Гидеон лежал неподвижно и думал о Доме.

Однажды, когда день клонился к вечеру, Гидеон бурил шурф для взрывотехников в дальнем штреке, куда еще не поспели строители. Он часто опережал рабочих своей бригады. Сверху, наискосок от того места, где он работал, откололся кусок горной породы. Это даже не глыба была, а скорее небольшой осколок.

Удар пришелся ровно на его правое плечо.

Этот камень потом сохранили. Говорят, на него до сих пор можно посмотреть в одном из флигелей то ли краеведческого, то ли заводского музея.

Весом он был невелик: один из начальников в одиночку вынес его на поверхность. По форме камень напоминал клин или нож из станка для рубки щепы, которую в войну сжигали и использовали вместо автомобильного топлива.

Камень был таким острым, что у несшего его инженера на ладони осталась глубокая рана, а он даже не почувствовал, как порезался. Осколок сверкал медным колчеданом.

Так вот, осколок упал острым концом вниз прямо на плечо Гидеону. И целиком отрубил правую руку. Причем столь аккуратно, что доктор Энгберг сказал: «Можно подумать, будто ее ампутировал главный врач Лундбум из Умео».

Гидеон уже больше не был горняком. Очнувшись от наркоза, он произнес единственное слово: «Дом».

Горнодобывающая компания назначила ему пенсию, которая называлась пожизненной рентой. Гидеон вернулся в Пристанище, где стал тренировать левую руку, чтобы ловить рыбу в озере Вурмшён, собирать ягоды, сажать и копать картошку. А еще рубить дрова и готовить еду, то есть выполнять самое необходимое.

Два года спустя его накоплений хватило на покупку пиломатериалов. С лесопилки Тургрена на Мельничной гряде приехал грузовик и сгрузил доски у дороги.

Гидеон соорудил себе кожаный ремень, закреплявшийся на левом плече. С его помощью он перетаскал все доски в Пристанище. Строганые, нестроганые и вагонку.

Своей единственной рукой он удивительно ловко обращался с молотком, пилой, теслом и клещами. А вот с долотом дело не пошло. Он пытался держать полотно зубами, ударяя по рукоятке молотком. Но ничего не вышло.

Ему удалось поставить внутренние стены и обшить потолок так, что выглядели они почти как полагается. Дверные наличники и напольные

плинтусы тоже вышли довольно правильными. Карнизы и деревянная лавка казались почти завершенными.

Но только почти.

Гидеону пришлось отказаться от всего, где требовалось одной рукой держать или держаться самому, а другой выполнять работу. Ему не хватало руки для опоры, руки, чтобы приподнять или придавить, руки, чтобы крепко прижать. Работу, которую можно было выполнить, только подобравшись с одной стороны — с правой, — ему пришлось оставить незаконченной. Края досок остались невыровненными. Гвозди —

незабитыми, концы плинтусов — неотпиленными. Дом наполнился торчащими отовсюду обрубками, зияющими незаделанными стыками. Не закрепленными на трех четвертях своей длины карнизами. Забитыми вкривь и невыпрямленными гвоздями.

Однорукий мужик не в состоянии по-настоящему достроить свой дом до конца. Ему остается только вытереть со лба пот единственной рукой и примириться со своей судьбой.

Что Гидеон и сделал. Он повесил инструмент в прихожей Старой избы, натянул на себя плащ, когда-то подаренный Кайсой, и ушел.

Так вот, если пойдешь от увала Лаупарлиден по ручью к разливу и будешь проходить мимо этого места, неизбежно остановишься на минуту-другую, чтобы внимательно рассмотреть Дом. Нам, кто еще помнит, как было дело, следовало бы, наверное, повесить табличку с кратким изложением этой истории.

А Гидеон живет себе в доме престарелых за обувным магазином Нурберга в Нуршё. Обычно он набивает рукав пальто газетной бумагой и засовывает его в карман. Тогда и незаметно совсем. Продав Пристанище казне, он обзавелся мопедом. Ручка газа смонтирована с левой стороны. Периодически Гидеон ездит в соседний поселок, чтобы поиграть в лото.

Прошлым летом я встретил его у магазина скобяных товаров Стейнвалля. Не смог удержаться и упомянул, что бывал в тех краях и видел дом.

— Какой такой дом? — спросил Гидеон.

— Да тот, что ты построил в Пристанище, — отвечал я.

Мой собеседник ненадолго задумался. Потом наконец молвил:

— Вот как? Неужто он все еще стоит?

— Конечно, — заверил я Гидеона. — Ведь он был построен на славу. Из прочной, добротной

древесины.

— Ну, не знаю, — отозвался он. — Я строил так, понемногу, отдыхая от работы и чтобы скоротать время.

— И все равно это большое дело, — возразил ему я. — Не каждый способен срубить такой дом.

— Да я уж успел о нем позабыть, — заметил Гидеон. — Комната получилась тесноватая. И зала какая-то угловатая. Нет, — продолжал он. — Этот дом был неправильной затеей с самого начала.

— Большинство из нас, — сказал я, — не способны на такие свершения. Все-таки твой дом — в каком-то смысле памятник.

— Нет, — отвечал Гидеон. — Если и были в моей жизни свершения, так это то, что я сделал со своей рукой. Горнодобывающая компания даже передала тот камень в краеведческий музей.

— Понятное дело. Видать, он был ужасно острым. Тот камень.

— Наверное, — согласился Гидеон. — Но все равно, надо ж было еще вытянуть руку вперед под правильным углом. Не испугаться и не отпрянуть назад. Расправить плечо так, чтобы осколок прошел сустав насквозь.

— Ясно, — отозвался я. — Вон оно что.

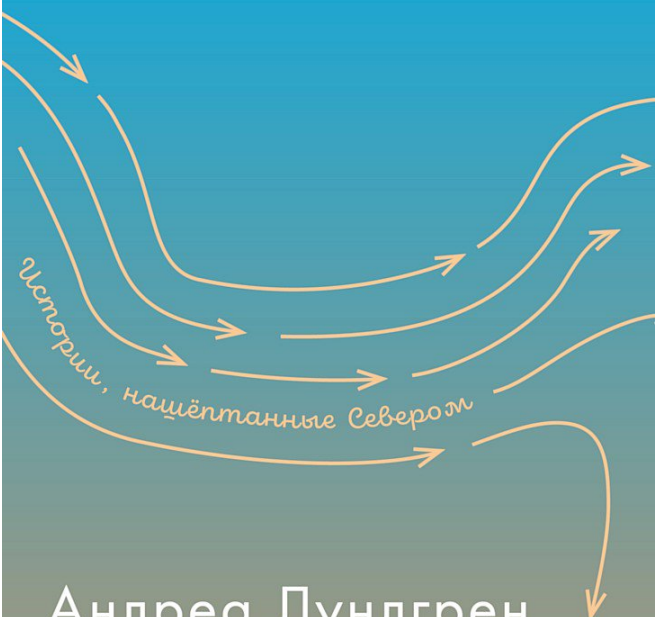
Вот как.



Андреа Лундгрен
«Папа-дыра»
(Рассказ)
В переводе Анастасии Шаболтас

В ПЕРЕВОДЕ АНАСТАСИИ ШАБОЛТАС

Рассказ



Андреа Лундгрен

ПАПА-ДЫРА

Когда папины веки опускаются словно нож гильотины, Коре захлопывает дверь автомобиля. Отец переводит взгляд на дорогу, и с неосвещенного заднего сиденья Коре видны только его правые рука и нога, кусочек щеки. На приборной панели лежат папины солнечные очки и подмигивают ей как черные звезды. Тихо шумит кондиционер. В салоне пахнет новой обивкой.

Когда папа сдает назад по дорожке, Коре поворачивается к окну, чтобы успеть помахать маме, которая стоит у дома, на мощенном каменной плиткой пятачке, и смотрит им вслед. Машина останавливается, переключается передача. И они уезжают.

Сказали — на пять недель.

Каждое лето все повторяется: время делится на два больших отрезка, первый уже позади, сейчас середина июля и краски сгущаются, это заметно в закутках, по кронам деревьев, и цвет газона стал более глубоким, сменил свой светлый июньский наряд на неяркую темно-зеленую щетину.

Пять недель. Коре откидывается на сиденье и пытается ослабить ремень, но он застрял. На обочинах уже отцвела лесная герань, остались только торчащие голые стебли. Цветки у нее — розовые, белые и сиреневые. Когда Коре с ма-

мой украшали шест на Мидсоммар, их было в избытке, они собрали целые охапки и в тот вечер засиделись допоздна, до половины второго.

Когда они въезжают на пригорок, машина слегка замедляется. Резкие щелчки поворотника. И тут они сворачивают на шоссе. Когда скорость на спидометре переваливает за семьдесят, папа нажимает на кнопку, блокирующую все двери.

Условленный день приближался как острый перевал, за которым царила неизвестность, но в то же время все было знакомо. Затем условленный час. Тик-так. И вот наверху, у дороги, Коре заметила машину. Звать отцу не приходилось. Коре все равно выходила сама, как будто ее притягивал черный магнит, хотя ноги едва слушались. Все утро она бродила с открытой сумкой, переходя из комнаты в комнату. Но неважно, что она возьмет с собой. Там уже все есть. Новая зубная щетка вместо лохматой, которой она пользуется дома, розовый дождевик вместо зеленого, висящего на крючке в прихожей, куча комиксов в комоде. И игрушки. Блокноты. Даже тюбики с масляной краской, подарок ей на Рождество. У папы есть все необходимое — все, что только может понадобиться.

А вместе с тем нет ничего.

Он всегда опаздывал, а она всегда сидела и ждала, в прихожей, сжимая ручку рюкзака в руках. Катя готовила ужин на кухне. Позже придет Сюсанна, они сядут на веранде за домом, зажгут спираль от комаров, будут пить вино и болтать о всякой ерунде. От этих мыслей внутри становилось пусто, от того, что все здесь будет как обычно. Без нее. Если бы она не ждала папу, она бы прямо сейчас достала коробку с рукоделием и поставила ее на кухонный стол, слушала бы кассеты и что-нибудь мастерила из ватных шариков, с клеем и пайетками. А потом они с мамой смотрели бы передачу «Час Диснея» и пили лимонад, и потом наступило бы время «Форта Боярд». Ну, если только мама успела бы закончить уборку, а так сначала она бы все доделала.

— Интересно, найдешь ли в этом году ракушки, — сказала Катя, доставая из морозилки пачку креветок. — И ты ведь не успела еще покататься на своем новом красивом велосипеде? Наверняка цепь у него не слетает.

Коре кивнула и снова сжала ручку рюкзака. Наверху у дороги ветер слегка касался деревьев рябины. Машина все не появлялась. В прихожей стоял полумрак.

На стене у входной двери виднелись поблек-

шие линии, которые Коре в три года нарисовала мелками. После того как мама наконец нашла на чердаке кусок обоев и заклеила рисунок, Коре уже через несколько дней на том же самом месте нарисовала каракули красными и черными мелками. «Идеальное место для рисунка», — повторяла, смеясь, Катя.

На кухне все стихло. Когда Коре бросила туда взгляд, Катя отвела глаза и снова начала возиться с узлом на пакете. Коре опять выглянула на улицу и тут увидела подъезжающую машину. Появилась как из ниоткуда. Коре сразу встала и надела рюкзак.

— Если что, звони, — сказала мама и обняла Коре. — Моя зайка.

«Хорошо проведи там время, — сказала она. — Хорошо-проведи-хорошо-проведитамвремя».

— Коре, — говорит папа.

Он смотрит на нее в зеркало заднего вида. Вдали у них за спиной дома уже скрылись из виду.

— Поедем в магазин игрушек, — говорит он. — Выбирай все, что захочешь.

Из-за прохладного сквозняка в машине кожа у нее на ногах, от кроссовок до велосипедок с узором, покрылась мурашками. Бедра липнут к кремовой кожаной обивке. Коре подмерзает, но

молчит. Голос забрался глубоко к ней внутрь и затаился там, будто твердая горошина.

Папа гонит по изменчивому ландшафту, машина почти бесшумно движется на скорости сто двадцать. Через плечо папа смотрит на каждую машину, которая остается позади. Коре случайно кончиком носа дотрагивается до оконного стекла, осторожно вытирает его рукавом свитера, чтобы не осталось пятна. Она видит, как снаружи незримые для других звери, те семеро, которые были с ней с детства, следуют за ними по обочине. Титус, Бабель, Болло Се, Митко, Маша, Иврахим и Тот-с-длинными-пальцами. Впереди бежит Титус, такой красивый. Поблескивают темные глаза-жемчужины. Остальным приходится прилагать усилия, чтобы не отставать, перебираться через пеньки, лесные заросли и канавы. Временами Митко летит, так легче. Иврахим держится поодаль от остальных. Распаханные поля по обеим сторонам сменяются многокилометровой сеткой ограждений. А за ней густой лес. Коре знает, что в глубине, среди деревьев, есть другие, более крупные звери. Пока их не видно. Но они там есть.

Дорога идет под уклон, между стволами мелькает солнце. То тут, то там Коре замечает ка-

кой-нибудь дом, на крутом спуске их становится меньше. И вот мир пустынен и безлюден. Они проезжают мимо безлюдной заправки, развалившегося сарая. Мимо голых стволов на фоне сожженной травы. Все падает, зияет ведущей в никуда пустотой. Затем машина оказывается внизу, в глубокой низине, и за поворотом перед ними расстилается город. Круговой перекресток с большой железной фигурой, а за ней пыхтящие вверх, в густое одеяло из облаков, трубы. Из люков идет пар. На остановке на перилах сгорбившись сидит подросток.

Через некоторое время машина останавливается, всего один шаг — и ее папа уже снаружи. Коре выходит на тротуар и идет вслед за ним к магазину. Уголком глаза она видит, как звери прокрались к машине и спрятались за колесом.

Снова оказавшись на улице, Коре несет тонкий пакет, а внутри него — кукла. Светло-голубое платье с шуршащими воланами. Кукол там было много, в итоге Коре выбрала всего одну. Руки в тусклом свете как будто в грязи.

В этот раз звери следуют за Коре в машину, они толпятся на коврике у ее ног. Теперь они в царстве отца и живут по отцовским законам. Взгляд у зверей испуганный.

В застроенном коттеджами спальном районе Лулео все тихо и спокойно, солнце нежным языком скользит по крышам. Никто не выходит и не стрижет траву, газоны заброшены. На мосту у одного из домов сидит и умывается кирпичного цвета кошка. Она замирает, когда они проезжают мимо. Коре видит, как машина отражается во всех проносящихся мимо окнах. Блестящий овальный камень. А в центре камня — ее лицо.

После того как папа паркуется и отводит ее в дом, он оставляет ее сидеть в кресле в гостиной. Потом приносит подарки. Она берет их один за одним, пока на коленях не скапливаются фигурки, коробки внутри коробок, украшения для волос и разноцветные браслеты. Подарки приехали со всего света — папа много ездит по работе, посещает конференции и университеты. Он путешествует туда, где люди разговаривают как птицы, где у людей золотые зубы и открытые рты. Он бывал в Нью-Йорке, Сингапуре и Мадриде. В Стамбуле. Лиме. Один раз в Сиднее. Она подносит к носу лакированную коробочку и чувствует запах другой жизни, которую ведет папа, без нее.

Коре благодарит и благодарит, получает еще один подарок, и потом, когда она едва может все это держать, папа замирает и вытаскивает

из красной, лежащей у него в кармане пиджака коробочки тонкое ожерелье, и вот оно свисает у него с руки, а в самом низу блестит серебряное сердечко.

— На самом деле это взрослый подарок, — говорит он. — Но я хочу, чтобы он был у тебя. Моя маленькая королева.

Коре смотрит на украшение, которое как будто течет и переливается, хотя в руках у отца оно совершенно неподвижно. Когда он надевает ожерелье ей на шею, за спиной она слышит его голос.

— Когда покупал его, ювелир сказал, что сердце той, кому подаришь это украшение, будет твоим навсегда.

Он посмеивается. От лампы в гостиной у Коре кружится голова, свет тонкими электрическими нитями кружит по комнате и спускается к ней. Прямо в ее черные жадные зрачки.

— Обещаешь, Коре?

Голос все сильнее отдаляется, как будто парит где-то у нее над головой. «Что будешь моей навсегда». Она шевелит губами, но из них не раздается ни звука, она хочет сказать нет, но не может, сейчас голос звучит так, как будто отец плачет, а частицы света одна за одной проскальзывают

к ней в глаза, падают на пол и стремятся к лицу. В животе ноет черная горошина, глубже зарывается в плоть. Со второй попытки ответ Коре становится различим, но он не громче шепота. Последняя фраза, прежде чем голос иссякнет.

«Да».

* * *

В доме у папы ее комната находится в подвале, под лестницей. По ночам она скрипит, как будто там кто-то ходит. Иногда она скрипит, когда папа идет к себе в кабинет, он расположен в самом дальнем конце, но Коре туда не ходит, а предпочитает оставаться с другой стороны. Здесь места у Коре больше, чем дома, комната светло-голубая и сиреневая, обои ей разрешили выбрать самой. Пол покрыт мягким ковролином, чтобы она не мерзла, окна — заколочены. «Чтобы не треснули зимой от снега», — говорит папа. Но Коре знает, это чтобы она не могла сбежать.

«Если бы только у нее была сестра, — думает она, — все было бы по-другому». В соседней комнате у нее — сестра, как у Беляночки — Розочка, которая не побоится остановить любого нарушителя спокойствия и крикнуть «стой»! Когда не спится, они бы читали друг другу сказки, пересту-

кивались на секретном языке. И сестра помогла бы ей с папой, чтобы он не расстраивался.

В первый вечер, когда они пожелали друг другу спокойной ночи, Коре лежит, натянув одеяло до подбородка, и смотрит на развешенные им плакаты. На одном — фиолетовая галактика, на другом — два крольчонка. Посередине ее портрет. Папа говорит, что очень на нее похоже, но, пытаясь взглянуть на картину, на месте своего лица она видит только ноющую горошину. Блестящий черный камень.

«Коре. Папина маленькая королева».

На следующее утро папа веселый, он сидит рядом с Коре за кухонным столом и читает газету. Пахнет кофе. По радио крутят шведские суперхиты, а Коре рисует, показывает рисунок за рисунком, все в подарок папе, на них солнце, звери и их дом. Потом они играют в карты, во взрослую игру.

— Ты продолжаешь длинную династию покеристов, — говорит он и выкладывает тройку. — Папа научил меня играть, когда мне было шесть.

Ему нравится учить Коре разным вещам, и она очень внимательно слушает и все время кивает, лицо светится, и она не может удержать-

ся и вскоре начинает дурачиться, пытается его рассмешить, пряча карты в рукаве, и у нее получается, потому что он улыбается и говорит, что она шулер, прямо как ее кузен Роберт, купивший себе дом на деньги, выигранные в карты.

— Он такой, он очень одаренный, — говорит ее папа.

Папе нравится, когда люди хорошо считают в уме, поэтому он гоняет ее по таблице умножения, а она так много зубрила ее в школе, что знает наизусть, даже самую сложную, по мнению папы, комбинацию восемь умножить на семь. Но потом она случайно роняет стакан, как в замедленной съемке видит, как он скатывается с края стола и падает на пол. Три больших осколка и много маленьких, они разлетаются повсюду. Коре замирает. Отец встает и достает из шкафа метлу. Говорит, что не злится, но, ей ясно, что играть они больше не будут.

Они обедают, а вокруг растет тишина. Чем больше она становится, тем сложнее ее нарушить. Коре забывает про еду, сидит с вилкой в руке. Язык будто неподвижный слизняк в налитом свинцом рту. И вот на стене за спиной у папы, рядом с барометром, она видит фотографию с собаками. Папа, как там звали твоих собак. Она

спрашивает, хотя и так знает. Зевс и Аргос, и потом у него была Медея, которая умерла еще до того, как Коре исполнилось пять. Он показывает на снимок и говорит, это же Зевс, который слушался только меня, редкой черной породы, умный и верный, но он давно умер. Аргос тоже был хорош, но с Зевсом никто не мог сравниться.

— Он ни разу меня не предал, — говорит папа, — даже тогда, когда мы пересекали свежий медвежий след на полуострове Поршён и у Аргоса начался озноб, даже тогда он не сбежал, хотя дрожал всем телом.

Тогда Коре тут же спрашивает о медведях. Потом о лихорадке и пене изо рта.

После еды папа показывает, как топить большой камин в подвале. Сначала рвет на полоски вчерашнюю газету, потом квадратом кладет самые тонкие из поленьев, неплотно помещает их одно на другое. И поджигает.

Все, что случилось раньше, теперь забыто. Ведь папа любит огонь. Он любит раздувать его и смотреть, как пламя въедается в древесину, как скулит дерево, любит черный дым, когда загорается что-то живое. Он держит руки так близко, что на них едва не перекидывается огонь. Но папа никогда не обжигается — поправляет горящее

полено, может провести пальцем по пламени свечи, как будто он бессмертен.

Бывает, что в такие моменты он берет Коре с собой на прогулку. «Это моя дочь, приехала, наконец, — говорит он всем соседям, которых они встречают. — Смотрите, какая красивая. Посмотрите на ее глаза, так похожи на мои».

А бывает, что, еще не войдя утром на кухню, она чувствует, что это — нечто — случилось вновь. Зверьки тоже все понимают. Титус навострил уши и беспокойно смотрит, остальные звери жмутся к ее ногам, прячутся от того неизвестного, что в любой момент готово обернуться, показав хищное лицо и зубастый рот. Хватает одного взгляда ему на спину, она ощущает это в воздухе — вибрации его развернувшейся вспять крови.

Но бывает, это случается как по мановению палочки. Хотя она совсем рядом. Иногда причина ей известна. Если что-то разобьется или если она, забывшись, упомянет маму. Коре научилась улавливать знаки, даже самые незаметные. Подергивания лица. Изменения в голосе. Иногда ситуацию получается исправить. Если действовать быстро. Но каждая вспышка всегда оказывается плохим прикрытием еще более сильной ярости.

Коре представляет насекомообразного мужчи-

ну в черной мантии, который медленно спускается с потолка и тянет усики к сидящему за столом и читающему газету папе. Когда он чувствует на шее их прикосновение и оборачивается, его глаза наполняются темной пылью от звезды зла и именно эта пыль превращает ее папу в подземного монстра. В гнет, методически высасывающий из дома весь воздух. Она старается ходить на цыпочках. На шее как удавка висит серебряное украшение. Кожа немеет от холодного металла.

Она думает о своем обещании.

* * *

В пятницу вечером, после просмотра фильма, она не успевает скрыться. Держа полупустой стакан, он с влажными губами поворачивается к ней. Его тяжелое дыхание похоже на механическое, воздух вокруг него пульсирует, когда он фиксирует на ней взгляд. На дрожащей мыши перед змеей.

— Зачем ты вообще сюда приезжаешь, — начинает он.

С таящимся под пеленой взглядом он смотрит на нее из глубины зрачков. Обычно перед тем, как он заплачет. Случится это позже. Самое неприятное. Сначала он разозлился, но не пока-

зал виду, оставил свою злость расти в тишине, тесто, бесшумно переливающееся через край. Коре увлеченно смотрела фильм, ощущая, конечно, что внутри него что-то зреет, но не думая, что так быстро. Пить он наверняка начал еще днем. Она потеряла бдительность.

Голос как рука сжимает ей горло — резкий, злой, душащий. «Зачем ты приезжаешь сюда, раз тебе все равно плевать! Тебе нужны только подарки, ты меня не любишь. Я только отдаю и отдаю, а ты забираешь. Ты больше не моя принцесса. Ты такая же холодная, как она». Коре не может говорить. Сидит на дальнем краю кресла, все мышцы напряжены до предела.

У зверей тревожно блестят белки глаз, они дергают ее и тянут, но она не может пошевелиться. Она заложница его взгляда. У отца стеклянные глаза и масляные щеки, влажный от слюны рот.

Внутри у Коре сжимаются легкие, сейчас она только выдыхает, вдохнуть не получается.

— Это что, ниже твоего достоинства, — говорит он заплетающимся языком и неловко ставит стакан на стол, — поговорить с отцом?

На мгновение его взгляд теряет хватку, переключается на темное окно, мимо которого по улице проезжает машина. Коре свободна. Зве-

ри поднимают ее на ноги и тащат к лестнице в подвал.

— А, ну иди иди, — говорит он и начинает всхлипывать. — Давай, только оставь меня одного… сучка гребаная…

Она не бежит, просто быстро спускается по лестнице. Вспоминает, что наверху осталась зубная щетка. Один раз — ничего страшного, обычно говорит мама. Но сейчас Коре не хочет о ней думать, она поворачивает ключ и садится на кровать, чтобы утешить своих зверей. Медленно гладит их по шерсти, пока они не перестают дрожать. Тот-с-длинными-пальцами лезет вверх по руке и засыпает у нее на плече. Остальные зевают и горкой укладываются на одеяле рядом, включая Иврахима. Но Коре не спится.

Если бы у нее была сестра, они бы сидели, обнявшись, и плакали. Но в одиночку от слез мало толку. Маленькая горошина скакнула наверх к горлу, как удушающий ком, от которого Коре никак не избавиться, хотя она сглатывает и сглатывает, пока во рту все не пересыхает. Взгляд прикован к замочной скважине, в кулаке зажат ключ. Но у папы есть свой. «На случай пожара». Она прислушивается к шагам на лестнице, но папа не приходит. Где-то через двадцать минут

она слышит, как захлопывается входная дверь. Когда он сдает назад, падает мусорный бак. Потом наступает тишина.

* * *

В полдень следующего дня она самый ужасный ребенок в Норрботтене. Так и есть. Она сидит за столом с грязными руками. Напротив — папа в халате, он только встал, грузное тело тяжелее, чем обычно. От него как свечение исходит терпкий кислый запах. Коре смотрит на стол. Перед ней лежат две половинки граната. Они разложены по всему дому, в вазах, как приманка. Тяжелые мясные блюда, наполняющие холодильник, запихать в себя сложно, поэтому сегодня утром она взяла гранат. Разрезала его на две части большим ножом, лежавшим во втором ящике. Сначала вкус ей не очень понравился, но потом она привыкла. Сок у нее на руках и на чайной ложке, которой она выковыривает содержимое, похож на кровь. Зерна — рубиновые, как драгоценные камни. Когда Коре жует, они хрустят. В центре языка скопилась спрессованная масса, которая теперь заполняет рот целиком. Ей хочется встать и выплюнуть все в раковину. Но она медлит. Именно в этот момент на кухню входит он. Рядом

с ней на столе лежат принесенные из подвала старые комиксы с медвежонком Бамси. Самое сложное всегда — это возвращаться наверх. Никогда не знаешь, чего ожидать. Липкими руками она боится листать комиксы. Лучше всего сидеть тихо. Она самый ужасный ребенок в Норрботтене, предательница собственного папы. Почему она молчит, когда он к ней обращается? Наконец она проглатывает колючую массу из зерен.

В тот день Коре и звери не вылезают из подвала. Им страшно, они боятся идти за ней наверх. Говорят, что в доме есть другие звери, которых он выпустил ночью. Звери, которые крупнее их, и старше, и опаснее. Папа стрижет газон, через узкое подвальное окошко на самом верху она слышит отдаленный звук косилки. Между досок проглядывает летнее солнце. Всего неделю назад она была у мамы.

Коре сидит на большом угловом диване из зерненой блестящей кожи и держит зверей на коленях, одного — на плече. Рядом на полке стоят папины фильмы, Коре видела почти все. Мультфильмы он не любит, поэтому обычно переводит для нее диалоги, чтобы они могли смотреть его фильмы, но там сложно разобрать что-то кроме резких гулких звуков выстрелов, темной, мед-

ленно заливающей пол, крови, длинного ногтя, ковыряющего и ковыряющего рану, пока он не достанет серебристую пулю, и мужчины, кричащего, когда его дымящееся сердце вырывают прямо из груди.

* * *

По вторникам и пятницам звонит мама. От протяжного дребезжащего сигнала Коре вскакивает и бежит. Но когда она поднимает трубку и слушает, голос звучит приглушенно, с помехами. Маленькая горошина в животе теперь болит сильнее и Коре трудно концентрироваться, на мамины вопросы она отвечает невпопад. Сама ничего не спрашивает. Тут наверху ногам холодно и не хватает одежды. За ней наверх пошли только Титус с Машей, остановились у последней ступеньки на лестнице, теперь стоят, притаившись, и ждут, когда Коре вернется. Папы не видно, дом замер и затаил дыхание. Возможно, отец стоит, прижавшись спиной к соседней стене, и слушает.

— Я так по тебе скучаю, моя малышка, — говорит Катя.

Коре наблюдает за неторопливым танцем пыли в луче света из кухонного окна и молчит в ответ.

Вскоре они заканчивают разговор.

В тот вечер у папы застолье, в саду на заднем дворе, темные растения и металлические фонари, воткнутые во все, что стремится к жизни, в стволы деревьев и дальше вниз в землю. Такси все подъезжают и подъезжают, люди выходят, никто не садится за руль, все собираются выпивать и чокаться с ее папой, вместе они поднимают бокалы к небу. У длинного накрытого стола большой костер, куда папа пихает маленькие тела с содранной кожей, а вокруг него искры, словно горящий взгляд ночи. Гости смеются и едят блестящими от жира пальцами и губами, прожевав, криком просят добавки. И ее папа говорит, и клокочет, и пьет. Стоит у огня, как будто охвачен им. В одном глазу — душегуб, в другом — подстрекатель. Он обводит взглядом гостей, пока те не начинают двигаться как волны. Накатывая на Коре, они тянут к ней пальцы, запах мяса дымом проникает в горло, но она уворачивается, пятится сквозь просвет в изгороди из боярышника. По другую сторону — прохладно. Там есть уголок, беседка. Она забирается в старый соседский гамак и ложится, осторожно качается, чтобы он не заскрипел. Отмахивается от первого севшего на нее комара, но второго не трогает.

* * *

Снаружи — голубое небо и на нем яркое белое солнце. Папа просит ее лечь на диван в гостиной. Рядом с папой стоит неизвестный мужчина, папин знакомый, коллега по имени Кеннет. Папа задирает ей свитер и потом расстегивает ее джинсы, так чтобы мужчина смог провести осмотр. Его руки надавливают ей на живот в двух местах одновременно. Ей снова стало плохо и в конце концов пришлось обо всем рассказать. Но зло прячется от чужих глаз. Когда папа поблизости, оно ведет себя как и вся Коре — растворяется. Она качает головой, когда мужчина спрашивает, больно ли здесь, или здесь, или вот здесь. После каждого отрицательного ответа Кеннет перемещает руки. Губы у папы напряжены.

— Я много лет водил ее по всем врачам. Делал УЗИ, гастроскопию.

Горошину коллега не замечает, ничего не нащупывает. Она слишком мала, чтобы ее обнаружить. Непроницаемая, блестящая и черная. Они еще немного спускают ей брюки, чтобы пощупать самый низ живота. На лобке выглядывает редкий пушок. Он сразу оказывается в центре их внимания. Влажная змея ползет по

внутренностям Коре, руки становятся мокрыми от пота. Напряженная как струна, она сжимает зубы, чтобы выдержать накатывающие одна за одной, заливающие ее, волны стыда. Однако папа и мужчина вроде довольны. Давление на живот прекращается. «Похоже что-то предменструальное. Пубертат. Можно подумать, что она еще слишком мала, но нет». Они небрежно одергивают ей свитер и жмут друг другу руки. Коре натягивает штаны и юркает прочь.

Покинув комнату, она сгибается пополам.

* * *

Все подарки она расставила на полке у себя в комнате. Кукле места не хватило — в нерешительности Коре прижимает ее к груди и озирается. Светлые волосы длинные, как у взрослых. Когда Коре на нее смотрит, ее глаза закатываются назад. Коре держит ее на руке, как младенца, и пытается поймать веки, пытается их закрыть. В дверном проеме вырастает силуэт. Там стоит он, виден наполовину. Солнце висит низко и ослепительно светит между деревянными планками окна. Скоро закат. Его пальцы небрежно сжимают стакан, отражающий свет словно янтарь.

— Ну как, молоко появляется? — спрашивает

он с улыбкой.

Лицо медленно стекает с нее и падает вниз в пропасть. Там оно летит дальше.

Как только он уходит, Коре прячет куклу в одеялах в гардеробе. Вернувшись в комнату, она ищет своих зверей. Встает на колени и смотрит под кроватью, приподнимает одеяло. Взгляд блуждает по комнате, она выбегает в коридор, в комнату с фильмами, в туалет и обратно к себе. Их нигде нет. Только пластиковые звери смотрят с полки, угрюмые, с нарисованными улыбками и синтетической шерстью. Она ощупывает собственное лицо. Под слоем блестящей резины одни комки, будто высохшие куски угля прямо на скелете.

Коре трет и трет.

В тот вечер все ускоряется и в то же время тянется бесконечно медленно. На самом деле уже слишком поздно. Она знает. Кровавый фрукт, устный договор и плачущее, распухшее лицо отца.

— Ну я же тебя не насиловал, — говорит он после паузы.

Она не понимает, зачем он говорит это, что это значит. Значит, есть такие мысли там, у него? Этот взгляд? Она мгновенно его узнает, не может теперь чувствовать ничего другого. И сказал он это в свою защиту. Что, *если* бы он действитель-

но это сделал, Коре была бы права. Ее бы могли осмотреть, нашли бы следы. Черную горошину никто не находит, она для всех невидима.

Она как заяц бежит, как всегда убегает. Вниз в нору, вниз под землю.

Ночью она просыпается от того, что стоит посреди комнаты во мраке. Пытается за что-то ухватиться. За звук, который услышала. Отдаленный, холодный звук, как от трения металла по фарфору. По зубам. Она уже слышала его, но не знает, откуда он. Комната полна дрожащих теней, которые сжимаются и вырастают. Она медленно идет к двери, двигается вдоль стен коридора. Открытая дверь туалета — вытянутая бездонная дыра во мраке, она идет дальше, вперед, как лунатик, машинально, с затуманенным взглядом, как будто находится под водой. Или под землей. Коре чувствует ее тяжесть, как земля давит на стены и потолок. Когда она отрывает влажные после сна ступни от пола, слышны только тихие липкие звуки. Она точно знает, куда нужно ступать, чтобы пол не скрипел. Как будто она сотни раз вставала ночью, слышала звук и шла проверять, что это. Прямо перед ней — дверь в кабинет, то приближается, то отдаляется. Пульсирует туда и обратно. Наружу падает полоска света, дверь при-

открыта, обычно она заперта. Коре видит внутри его силуэт, большой и грузный, склонившийся над чем-то. И вот она уже совсем рядом. Когда она видит его спину, становится труднее вдыхать воздух, тяжелая, мокрая простыня обхватывает грудь, воздух на вдохе вдруг становится холодным, как будто она съела таблетку от кашля, она старается не вдыхать слишком глубоко, малейший звук заставит его обернуться и уставиться на нее светящимися глазами, ядовито зелеными в густом мраке. Широкая спина теперь всего лишь в метре от нее, спина в белом халате, папа покачивается вперед и назад, как будто смеется, локти по бокам то и дело подскакивают вверх. Он к чему-то наклоняется — ей не видно, к чему. На нем белые резиновые перчатки, рядом стоит белый поднос с металлическими инструментами. Там есть зажимы, пинцеты, скальпели — его движения ускоряются, он бросает один инструмент, берет другой — те, что он использовал, запачканы кровью, и вот ноги Коре сами идут к нему, медленно, как против течения.

И тут она видит, что лежит перед ним на столе.

Видит это. Видит.

Она зажимает рот руками, чтобы не закричать,

но колени подкашиваются, трясутся, когда со стола ее пронзает умоляющий взгляд, тот самый, который никогда не возражает, никогда не противится, никогда не говорит «нет», а только «да, да, да, делай со мной, что хочешь»! Она видит взгляд ребенка, взгляд жалостливый, робкий, никчемный. И она пятится из кабинета, шаг за шагом, ш-ш-ш, тихо, тихо, не теряет из виду рот, и взгляд, тот самый взгляд, самый ужасный на свете. В коридоре она разворачивается и бежит, больше не беспокоится о шуме, она просто должна отсюда выбраться, назад в комнату, успеть, но время уже давно истекло.

Никому не ведомо, откуда берется храбрость.
Но рано или поздно наступает ее час.

Рано утром она делает последнюю попытку и молча зовет к себе зверей. На этот раз они приходят, те, кто остался. Выжили только двое. Когда Коре гладит Титуса по спине указательным пальцем, у него в глазах пустота. На вид он невредим. Иврахим ослеп на оба глаза, как будто кто-то жег его головешкой. Коре осторожно поднимает зверей, кладет в рюкзак и крадется наружу. Она идет мимо домов, только один сосед не спит. Он идет от почтового ящика, неуверенно поднимает

руку для приветствия. На автобусной остановке она машинально достает деньги. Билет стоит семь крон. Выйдя в мамином городе, она идет прямо к телефону-автомату, бросает в него еще три блестящих кроны и звонит домой.

— Ты уверена? — спрашивает мама, когда они сидят в машине.

Но Коре молчит. Уверенность, да где ее возьмешь.

* * *

Потом наступает затишье, ни звука из папиного царства. Он не требует ее возвращения, никого за ней не посылает. Но каждую ночь она ждет. Что за окном увидит кого-то, длинный тянущийся палец, он ковыряет и ковыряет ее плоть, ковыряет, пока не достанет из нее дымящееся сердце и не разломает его как фрукт.

Воспоминания об отце высосали у нее все силы. Закрывая глаза, она видит, как по вечерам он сидит у себя дома. Свет потушен, единственное, что освещает отца, — уличные фонари за окном.

Глаза сухие. «В одиночку от слез мало толку». Цилиндрический стакан. Всегда аккуратен с подставками, так чтобы на туалетном столике из

Швейцарии не появилось круглых следов. Она помнит, как папа его купил и как гордился покупкой. Все, что он покупал потом, должно было сочетаться со столиком. Округлые двухместные диваны в тон, цвета темно-зеленого авокадо, картины бежевых, темно-коричневых, похожих зеленых, с вкраплениями бордового, оттенков. На стенах — полученные в наследство серебряные канделябры. Он их никогда не зажигал, боялся, что на блестящем деревянном полу останутся пятна от парафина.

Коре видит, как он сидит там совершенно один. Сидит, и взгляд его отрешен. Свет с улицы попадает ему в глаз, в его мутный пестрый глаз.

Позже она долго пытается делать вид, что папы не существует. Старается забыть подвал, его спину, крадущуюся машину. Что всего этого никогда не случалось, а происходит лишь в книгах, к которым она прикасается, в каком-нибудь сбивающем ее с ног древнем мрачном сказании. Ведь какую бы книгу она ни читала, какой бы фильм ни смотрела, все повествуют о нем. Эту власть он не потерял. А иногда ей кажется, что он проезжает мимо на своей серебристой машине. Она всегда холодеет, как будто опускается в темную воду. Тот момент, когда вода проходит сквозь

одежду. Иногда ей кажется, что он следит за ней. Что эта смешанная со слезами злость переросла в одержимость. Он впал в психоз, в бред, сошел с ума и ездит по округе на своем автомобиле, ищет, днями и ночами, пересекая границу и заезжая в более светлые земли. Что и с другими он начал странно себя вести, начал всем демонстрировать, кто он на самом деле. Перестал ходить на заседания правления и в конце концов потерял свое место в клинике. И теперь по вечерам соседи наблюдают странное зеленое свечение в окне его подвала. Ядовитые пары, вырывающиеся из всех щелей. Подвал перестроен под лабораторию.

И там сидит он.

Ночи напролет. Монотонно читает заклинания, чтобы приманить ее к себе. Заковать ее. Глаза превратились в черные впадины. Из черноты идет нездоровый свет. Тогда маленькая черная горошина внутри нее начинает ныть, пробуждается из дремы и отвечает. «Да, папа! Иду!» Пар от горошины поднимается и проходит через все тело, не встречая преград, сквозь плоть как дырявую ткань. Застилает Коре глаза, и перед ней все мутнеет. В этой дымке вырастает царство теней, с мертвыми глазами, и дикими зверями, и кронами деревьев, как черная крыша над головой.

Она ведь обещала. Горошина — на месте, а в ней — отец, сжатая версия, концентрат, где самая суть увеличена, высечена и запечатлена навечно.

В те моменты, когда все остальное отдаляется от Коре, ей мерещится его лицо. Больше она ничего не видит. Как будто он все время сидел у нее за спиной, во мраке. Ждал, пока она перестанет бежать и обернется, наконец поймет, что он не уйдет. Что она есть и всегда будет его маленькой королевой.

Он не тот, кого бросают, а тот, к кому приходят. И он встанет и заберет ее, наполнит ее прошлым.

Снова наполнит детством.

И вот она создала себе царство. Более пустынное, чем папино. Там она одна. А царство ее — молодое и вместе с тем древнее. Потому что когда-то давно кто-то здесь жил. Следы скрыты подо мхом. Они проваливаются все глубже, превращаются в одно из сокровищ земли.

Это царство — первый и единственный ландшафт, который она изучила. Лицо отца. Там она обитает. В ожидании малейшего подергивания или напряжения, чтобы успеть вовремя скрыться.

В морщинах-расщелинах у него на щеках, где

круглые капли слез не раз затапливали все живое, она видит свои следы. Сейчас земля высохла, следы в сухой глине потрескались. Коре ищет укрытие у него в бровях, но они не защищают от солнца. Ноги вязнут в щеках, как в зыбучем песке.

Самое священное место — на краю скулы, на опушке у виска. Так было прежде и так есть сейчас. Бывают дни, когда эхо тишины внутри становится таким большим, что она подумывает спрыгнуть. Но высота пугает. Поэтому она решается на противоположное — путешествие вглубь. В темную ушную раковину.

«Может, закричать?» — на секунду мелькает у нее в голове, но она решает, что надежнее будет сначала попасть внутрь, вниз в полость, ведущую далеко за маску, где она прежде обитала. И вот прыжок. Внутри в слуховом проходе ее шаги, как капли в пещере, отзываются эхом. Она идет дальше вглубь, но поскальзывается — скользит вниз и вниз, пока не становится совсем темно.

До нее начинает доходить ужасный звук, глухой и ритмичный. Он усиливается, когда она подходит к краю глотки. Навстречу дует ветер, слабее вниз по спине и мощнее в обратном направлении вверх. Она садится на корточки и

пытается спуститься по хрящам, но успевает переместить только половину тела, как раздавшийся кашель сотрясает все вокруг, создавая хаос, и она беспомощно летит вниз.

Падает и падает.

Жизнь теперь — это лишь падение.

С глухим звуком Коре приземляется на эластичную пленку. По центру находится туго затянутое отверстие. В желудке под ней клокочет кислота. Здесь внизу звук громче и Коре знает, куда идти. Она пятится к стенке и начинает давить руками на мягкую поверхность. Сначала сопротивление, потом стенка поддается. Возможно, он знает. Возможно, чувствует ее сейчас. Она долго пробирается сквозь ткани, звук теперь глухой, плоть подрагивает. Вот она чувствует, как пальцы проходят насквозь, оказываются где-то снаружи. В пустоте. Она хватается за края и проталкивает тело.

Сверху обрушиваются оглушительные удары.

Вот она. Машина. Темно-красная, пульсирующая. Папино сердце. В ее фантазиях оно всегда было меньше, едва заметно невооруженным глазом. Но она ошибалась. Оно огромно.

Коре пытается засунуть туда ногу, но мышца яростно бьется, отталкивает ее. Тогда она разго-

няется и прыгает прямо на сердце с раскинутыми руками и ногами. Приклеивается с всасывающим звуком, просовывает лицо прямо через мышечную стенку — и как по волшебству внутрь проскальзывает все тело целиком.

Здесь тишина.

Ветер сюда не доносится, потому что ветра не существует. И все? Ничего, кроме темноты?

Но вот появляется что-то парящее. Тельце, маленькое. Оно спит. Обернутое в пеленки, оно подплывает все ближе.

Ребенок.

«Это я? — думает она. — Это я парю у тебя в сердце?»

В лице ребенка она желает увидеть себя. Но черты у него такие неяркие, что, моргнув, она тут же их забывает. Как фотографию в рамке, которую потом заменяешь на собственную.

* * *

После она пытается написать письмо, но слова и фразы получаются такими, как будто она маленькая девочка, не знающая, что хочет сказать. Или что он ей ответит. Ведь это она ушла. Она приклеивает к письму засохший цветок, светло-голубую незабудку. Но письмо не отправляет.

Оно слишком жалостливое, умоляющее. Здесь нужно что-то другое.

Идут годы, и у нее появляется мечта стать высокой и ужасной. Холодной, неприступной, могущественной. И она мечтает о дне, когда он в конце концов приползет к ней на коленях. Она даже ухом не поведет, когда он войдет, а только допишет очень длинное предложение, спокойно отложит ручку и взглянет на него с каменным лицом.

— Да?

И все, больше ничего, хотя отец столь долго ехал, чтобы взглянуть на своего потерянного ребенка. «Да?» И он задрожит перед ней, растревожится и одновременно восхитится ее преображением. Из десятилетней малявки с тяжелыми от слез ресницами в это «существо» — такое деловое, опасное. Пока он выступает со словами примирения, она будет спокойным взглядом смотреть на него и даст договорить, не перебивая, а потом скажет сладким как мед голосом:

— Такие, как ты, не заслуживают пощады.

Она все тщательно продумала, вот это «такие, как ты», потому что так она демонстрировала, что знает о его принадлежности к определенному

«типу» — к людям, которые всегда больше заботятся о себе, чем о своем ребенке. Одного этого предложения будет достаточно, чтобы он все понял и раскаялся. И тогда пыль рассеется, колючие заросли вокруг его дома иссохнут и развеются по ветру. Все изменится.

Вот так все должно закончиться.

Однако идет время. А он не едет.

Все идет не по плану.

В конце концов она сама едет к нему, тайком, переодетая. В этот раз она едет одна, взяв в аренду автомобиль, который может быстро разгоняться. Отец устроился на новую работу в клинике в одной из серых высоток в центре. Но город изменился. Он выглядит как любой другой, с торговым центром, и крытой парковкой, и прудом с фонтаном посередине. Она никого не интересует, никто ее даже не узнаёт. Она снимает капюшон и осматривается в тусклом вечернем свете.

Она узнает две вещи: он приобрел новую машину и новую семью. Новую жену и маленькую дочь. На самом деле на него она едва смотрит, ведь как только она видит его нового ребенка, которого он вытаскивает из детского кресла на заднем сиденье и за руку ведет в магазин игру-

шек, она больше никого не замечает. Девочка — маленькая и светловолосая с завитушками и кукольными глазами — совсем не похожа на Коре. Словно какой-то дядька-извращенец она стоит в укрытии и пялится на милую девочку. Которую она при первой возможности засунет в черный мешок и утащит в лес. Отрежет ей волосы. Утопит в луже. А потом, когда они будут прочесывать лес и найдут маленькую девочку мертвой, она будет совершенно побелевшей и измазанной грязью, вместо кудрей — уродливые проплешины.

Но это тоже не то, что нужно. Ведь папа бы заплакал и вознес руки к небу. И он бы держал мертвого ребенка на руках и укачивал, как будто девочка просто спит, но ее синие невидящие глаза смотрели бы прямо вперед.

Коре будет все видеть, спрятавшись на корточках за пнем или буревалом, и понимать, что лучше от этого не стало, потому что теперь он вечно будет оплакивать любимого ребенка, дочь, которая всегда была ему верна. А когда Коре потом взглянет на свои руки, то увидит, что они покрылись сероватыми хлопьями, слизью и землистыми пятнами, вместо ногтей выросли грубые когти.

Она открывает рот, пытаясь закричать, но не

издает ни звука. В горле щелкает, как у рептилии, и все. Когда новая жена ушла по делам, а папа уехал с дочкой, Коре отправилась вслед за автомобилем, через весь город к отцовским владениям. Река блестит серым металлом, безжизненная и пустынная. Вот она снова около его дома, как просто это оказалось. Он стоит у входа и ждет, как будто ждал ее все это время.

— Заходи, поздоровайся, — первым делом говорит он, когда она осторожно вылезает из машины.

Он едва заметно машет рукой и Коре следует за ним, как делала это всегда. Потом он проводит ее в дом. Там сидит младшая сестра Коре и играет с ее старыми игрушками. С черной пластмассовой лошадкой, куклой, колесом, браслетом, коробочками. Со стеклянными шариками, пазлами и другими зверьками.

— Приехала, наконец! — кричит папа, так громко, что девочка вздрагивает.

Коре просит его прекратить, говорит, что он ее пугает, но он лишь смеется. Потом они стоят и смотрят, как ребенок расставляет своих пластмассовых зверей вокруг себя под идеальным углом. Звери смотрят на девочку испуганными пластмассовыми глазами, пока она не выходит

из себя и не пинает их всех, так что они падают на пол. Папа тянет Коре за собой в гостиную и наливает ей сок, хотя она предпочла бы кофе, но ему все равно.

Он не изменился.

И вот когда она уже сидит там, на самом краю кресла, косясь на детскую, судорожно сжимая стакан пальцами, так что отцу видно, что она по-прежнему грызет ногти, прямо как раньше, он говорит: «Когда я родился, мой папа посадил дерево, которое будет расти вместе со мной, а потом, когда я умру, это дерево срубят, чтобы посчитать кольца, и тогда станет известно, сколько в моей жизни было счастливых лет. Потому что только в такие года дерево растет, говорил отец».

— Дерево на месте? — спрашивает Коре.

Но тут его лицо проваливается в черную дыру, засасывающую все вокруг, рот-присоска рвет на ней одежду, раздирает кожу. С дырой вместо лица отец начинает расти, становится серо-голубым и раздувается до потолка, пока его шея не загибается в угол комнаты. Он выталкивает Коре наружу, ей нужно бежать, чтобы увернуться, чтобы ее не засосало обратно в дыру. Что-то поднимается у Коре в горле, что-то обжигающее, дыра высасы-

вает маленькую черную горошину у нее из тела и та исчезает, когда Коре в последний момент хватается за дверной косяк и вытаскивает себя из комнаты. Захлопывает входную дверь и оказывается на улице.

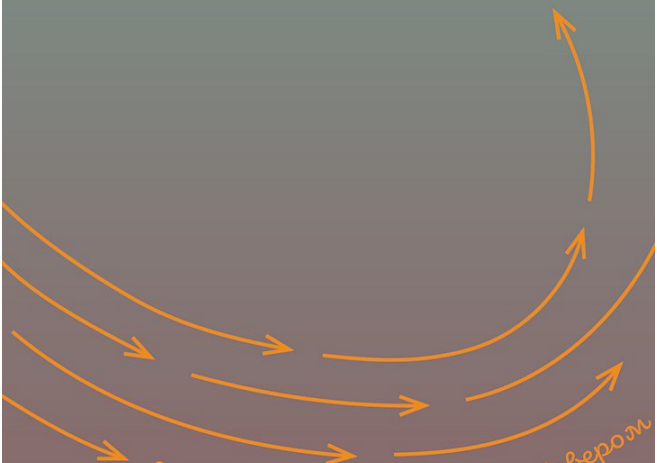
Направляясь к машине, она и правда видит в тени дома дерево. Хилое создание, которое раньше она никогда не замечала, с болезненно тусклым стволом и необычными бордовыми цветками. И дерево издает тихий свист, который следует за Коре в машину и ложится на резиновый коврик у ее ног, словно долго блуждавший зверек, который наконец нашел дом.



Кент Лундхольм
«Похититель дров»
(Краткий авторский пересказ романа)
В переводе Яны Бочаровой

В ПЕРЕВОДЕ ЯНЫ БОЧАРОВОЙ

Краткий авторский пересказ романа



Кент Лундхольм

ПОХИТИТЕЛЬ ДРОВ

Введение

Зимой 1974 года страны Запада пострадали от энергетического кризиса. Он не обошел стороной и дальнюю деревню в северной глуши, скрытую за горами. У местного жителя Руберта дров хоть завались, а у его соседа Адриана — ни единого сучка. И вот в тех далеких краях начинается схватка за дрова — и однажды раздается взрыв. Правосудию не дотянуться до конфликтующих соседей. Так что в борьбе за дрова ставки очень высоки.

1

Руберт Перссон пребывал в паршивом настроении, и это было слышно издалека. Звук тяжелых ударов топора разносился между горных хребтов и обрушивался на впадину между горами, в которой расположилась деревня. Там, позади сарая, Руберт колол дрова. Ставил чурбак на колоду и, замахнувшись по широкой дуге, бил колуном с такой силой, что лезвие застревало в колоде. Потом подбирал поленья и бросал их в кучу.

Стоял холодный ясный зимний день.

Руберт шумно выдыхал, выпуская пар изо рта и из ноздрей, так что на мгновение его лицо полностью исчезало в белом облачке. Гнев причинял Руберту боль, жег грудь и вспыхивал искрами перед глазами. Постоянная ярость вряд ли идет на пользу немолодому человеку. Просто невероятное везение, что у Руберта есть куча дров, чтобы отвести душу.

Рядом с Рубертом, прижав уши, сидела норвежская лайка и раздумывала, продолжит ли хозяин бушевать. Собака уже давно усвоила, что здесь за сараем может быть весьма горячо.

В течение многих лет эта площадка для колки дров хранила мечты Руберта, здесь он мог колоть и складывать дрова в штабеля часами, одновременно обретая покой, чтобы прояснить вопросы бытия. Работа до седьмого пота всегда шла ему на пользу, она наполняла его жизнью. Мало кто понимает, какого колоссального труда стоит каждый кубометр дров.

Разговоров Руберт не любил. Да и ни к чему они. По крайней мере, во время его дневных бдений, когда он колет дрова. Он недолюбливал болтунов, которые чешут языком почем зря, ничего не говоря по сути, и все время напускают на себя важность.

Из-за Войны Судного дня поток нефти в западные страны иссяк, и все замерло. Теперь все, кто пытался отапливать свои дома за счет нефти и электричества, запели по-другому. Нетрудно было предсказать, что цены взлетят до небес.

Катастрофа, если у тебя не было дров.

Пришли новые времена. Трудные времена.

Но было что-то, что в понимании Руберта посягало на его устои. Что-то, о чем ему было трудно говорить. Он нервно протаптывал в снегу маленькие тропки. Несколько раз обошел кругом

большую круглую поленницу, которая возвышалась посреди его дровяной империи. Глубоко вздохнул и зажмурился, на мгновение бледный свет исчез, затем он пошел дальше. С крепко сжатыми кулаками.

Боже правый.

А вот и оно.

Перед его взором вновь предстало ужасное зрелище, которое преследовало его всю зиму. Из торца одного из штабелей, сложенных ближе всего к болоту, было вынуто несколько поленьев. Сколько бы Руберт ни перекладывал штабеля заново, на следующий день поленья вновь исчезали.

Приподняв кепку, он почесал лоб.

На снегу отчетливо виднелись следы сапог большого размера и полозьев.

Следы вели к болоту и исчезали в лесу. Руберт прекрасно понимал, куда эти следы ведут, потому что там, на холме, в доме бледно-желтого цвета жил Адриан Юханссон. На всей земле не сыскать другого такого лентяя, убогого пьяницы и мерзкого вора.

Руберт заскрипел зубами и затопал ногами. Его вновь охватила ярость. Рядом не было ничего подходящего, чтобы ударить кулаком или пнуть,

поэтому собака попятилась назад в страхе, что как раз ей-то и достанется сапогом. Все, что оставалось Руберту, это потрясать кулаками в воздухе и пытаться выпустить из себя хоть немного пара от кипевшей внутри злости.

Завидев дым из трубы на крыше дома Адриана Юханссона, Руберт оцепенел. Невероятное унижение! Он схватил с земли одну из чурок и запустил ею в сторону опушки.

Они живут по соседству уже целую вечность, и, вероятно, не смогут никуда друг от друга деться до конца своих дней. Соседей не выбирают, с этим ему пришлось смириться, несмотря на всю свою ненависть.

Опустив взгляд, он заметил в снегу перчатку, которую похититель дров потерял во время своего последнего набега.

Вся беда была в том, что Руберт никак не мог написать на соседа заявление. Ну и как бы это выглядело со стороны? Вся деревня бы вскоре стала судачить об этом, а потом слух докатился бы до самого Люкселе. Только этого ему не хватало.

Так что лучше прикусить язык.

Он опустил голову и закрыл глаза. Иногда нужно остановиться за мгновение до того, как опустится топор, и попросить помощи у Бога.

Адриан явился ночью, как обычно, чтобы наворовать дров. Этот алкаш притащился с санками, натаскал поленьев из поленницы, принял на грудь для храбрости, и как ни в чем не бывало вернулся домой с увесистым грузом.

Ночные набеги случались все чаще, с меньшими интервалами, и количество пропавших дров тоже увеличивалось. Очевидно, что они оба хорошо понимали, кто здесь владелец дров, а кто — вор.

Столь же очевидно было, что никто в целом мире не знал о драме, что разворачивалась вокруг горы дров Руберта Перссона.

Сложив выпавшие дрова обратно в поленницу, он нагнулся и потрепал собаку по холке.

Увидев, как большие клубы дыма поднимаются из трубы дома на холме, заскрипел зубами. Ну все, нужно положить конец кражам. Нельзя воровать дрова безнаказанно. Тем более у ближайшего соседа.

Когда-нибудь ты получишь по морде, Адриан Юханссон!

2

«Вот же дурной скупердяй», — подумал Адриан Юханссон, выглядывая в окно из-за занавески. Внизу рядом с огромной кучей дров стоял Руберт Перссон и складывал поленья в штабеля.

Когда бы Адриан ни выглянул в окно, этот осел почти всегда торчал возле поленницы и работал. Было в этом что-то нездоровое. Ни один здравомыслящий человек не станет копить тонны дров и складывать их в идеальные штабеля. Поленницы воздвигались с военной точностью.

Больше всего Адриана задевало жлобство Руберта, его жадность, а ведь дров у него хоть завались. Несколько лет назад Адриан спросил соседа, не согласится ли тот продать ему несколько поленьев, но получил резкий отказ.

— Настоящий мужик сам добывает себе дрова, — сказал этот чертов крысеныш Руберт и задрал нос.

Адриан Юханссон выпятил свой большой живот и фыркнул. Мужчиной он был крупным, что вверх, что вширь. На красноватом лице сидел нос картошкой, а над ним поблескивали глаза. На

голове почти не осталось волос, только несколько пучков торчало над оттопыренными ушами.

Адриан переместился на другой конец комнаты, потому что настроение пора было поправить. На полупустом книжном стеллаже стояла ваза, из которой он извлек бутылку с прозрачной жидкостью. Встряхнул бутылку, улыбнулся, прислушался к звону посуды, доносящемуся из кухни, а затем быстро открутил пробку и поднес горлышко бутылки ко рту. Сделал несколько больших жадных глотков, сморщился от того, что жидкость обожгла ему внутренности, и постучал себя в грудь. Вот это настоящий мужской напиток!

Адриан присел на корточки к печке, приложил ладони к теплому кафелю и закрыл глаза. Улыбнулся приятному теплу, затем подкинул дров в топку и прислушался к их умиротворяющему потрескиванию. Снова выдался такой холодный день, что оставалось только сидеть дома и топить печь. Кто сегодня решится высунуть нос наружу, тот сам себе враг. Адриан осторожно опустился в кресло, закинул ноги на табуретку и, прищурившись, стал наблюдать за потрескивающими языками пламени. Когда ногам тепло, тепло всему телу. На мгновение он забыл о посто-

янной боли в спине и перестал сопротивляться накатившей усталости. Наверное, поэтому он и не услышал, как в комнату вошла его жена Гертруда.

А между тем эта цветущая женщина уже стояла на пороге. Она уперла руки в бока и глядела на мужа с упреком. А еще она до смерти устала от жалкого мужичонки, который вечно торчал дома и ничего не делал.

Ну, ленивым он был и раньше, но с годами лень его только усилилась. Теперь он вообще ни черта не делал, и если бы она его не заставляла, то он так бы и валялся целыми днями.

— Ты что, отсиживаешь задницу и с самого утра топишь печь? — зашипела она и ткнула пальцем в полупустую корзину для дров. В такие времена надо каждую деревяшку беречь, а не разводить огонь почем зря. У нас что, дров навалом? Особенно теперь, когда электричество включают по расписанию?

Адриан распахнул заднюю дверь, втянул ноздрями воздух и медленно пошел по утоптанной дорожке к сараю. Перед сараем стояли санки, а в сугробе валялись полено и косовище.

Адриан потянул на себя дверь, осторожно заглянул в сарай и забросил полено и косовище

внутрь. Зрелище ему открылось нерадостное. В пустом сарае стояла тачка без колеса, а на полу валялось с десяток поленьев. Это означало, что в скором времени ему снова придется брать санки и отправляться в путь через лес и вниз по холму.

Он потряс головой, достал банку снюса и засунул изрядную щепотку табака под губу. Во рту сразу начало жечь. Адриан сплюнул, и на снегу затемнели коричневые пятна.

Он бросил взгляд на утоптанную тропинку, бегущую под горку вниз от сарая через лес. Даже просто протоптать тропинку в глубоком снегу нелегко. Ему приходилось останавливаться, чтобы перевести дыхание. Стоило ему только вспомнить о ночных вылазках по тропинке, как он начинал потеть и задыхаться.

Его мучила жажда. В горле отчетливо першило. Пора было направляться к сарайчику на отшибе, который стоял на опушке леса, высоко на пригорке, между сараем и жилой избой.

Внутри работал его любимый аппарат.

Адриан достал рюмку и наполнил ее до краев. Затем торжественно расправил плечи, поднес рюмку к носу, вдохнул запах спирта, хмыкнул и довольно кивнул. Совсем в горле пересохло. Он осушил рюмку, покатал самогон во рту и прогло-

тил его с закрытыми глазами.

Как же хорошо, черт возьми!

Еще раз наполнил рюмку.

Все бы утряслось, жизнь била бы ключом, если бы не эти чертовы дрова. Он пнул пустую корзинку для дров и поднял рюмку.

Ну, вздрогнем!

Громко выдохнул и постучал себя в грудь.

3

На Хильде, жене Руберта, был передник в цветочек. Она стояла на кухне и ждала, пока закипит кофейник. Эти дрова совсем свели его с ума, и он берега потерял. Началось все с нескольких штабелей, но со временем превратилось в целую гору дров, которая не прекращала расти. У мужика теперь все мысли только о дровах, дрова занимают все его время, когда он не спит, но она готова дать голову на отсечение, что и во сне он тоже бредит дровами.

В тишине Хильда поставила на стол чашки с блюдцами и подогретые булочки с корицей. В чашки с бульканьем полился кофе.

Настенные часы пробили десять.

Хильда держала блюдечко на трех пальцах и потягивала кофе через кусочек сахара, зажатый в тонких губах. Она видела, что муж погрузился в раздумья, но по-прежнему не видела смысла пытаться что-то из него вытянуть. Из-за этих дров он лишится разума окончательно, вопрос только в том, как именно безумие начнет развиваться — если уже не начало.

Угораздило же ее оказаться именно в этом месте на земле, в доме, стоящем немного на отшибе деревни, посреди леса. Она покачала головой. Она тут застряла. Не без горечи подумала, что так и не повидала мира и больше уже не повидает. Слишком поздно. К тому же Руберт ни за что не расстанется со своей горой дров. Все время эти дрова. До самой смерти.

В воздухе висела тишина.

Так они и сидели напротив друг друга с напряженными лицами, сложив руки на груди. Нужно было что-то сказать, но это казалось совершенно неуместным. Однако в молчании была и положительная сторона: никому из них говорить не хотелось, так что можно было не бояться ляпнуть что-нибудь лишнее.

Термометр показывал целых двадцать градусов мороза, и температура все падала и падала. Становилось все холоднее. За окном на ветвях деревьев лежал тяжелый снег, а над горными хребтами тянулись хрупкие нити солнечных лучей.

4

Иногда Руберту сложно было понять Бога. Чего, собственно, хотел от него Всевышний? Разве он не добывал хлеб насущный в поте лица своего, когда работал в лесу и колол дрова рядом с домом, разве он не проявлял усердия и тщательности? Он и молился, и псалмы пел, но не получал награды, которую был в праве требовать.

Не говоря уже о воздержании от спиртного.

За всю жизнь ни капли в рот не брал, уж это-то должно вознаграждаться.

Внутренние органы и мозг Руберта работали в его почтенном возрасте, как у юноши, и это уже можно считать наградой, но в понимании Руберта этого было недостаточно. Особенно когда ему приходилось терпеть унижение и смотреть на то, как ближайший сосед ворует у него дрова, сосед, проспиртованный буквально насквозь и не вознесший ни единой молитвы за всю свою жизнь. И где же здесь справедливость?

5

Руберт Перссон пробирался по дороге, а за ним бежала собака.

До продуктовой лавки было почти два километра, и именно туда он и направлялся, чтобы купить кое-какие необходимые продукты. Ему пришлось идти по сильному морозу, но даже холод не мог остудить его злости. Жизнь представлялась примитивной и убогой, не без этого. Как только исчезала одна напасть, немедленно появлялась новая.

Руберт был убежден, что кражи продолжатся, что поленница рядом с болотом уменьшится настолько, что в его горе из дров зазияет огромная дыра. Он имел дело с вором, напрочь лишенным всяких угрызений совести, не ведающим смирения и стыда и не отличающим свое от чужого.

По правде говоря, стоило бы взобраться по холму, постучаться в дверь и хорошенько ему врезать. Бог наверняка простил бы Руберта.

Бормоча про себя, Руберт сделал несколько шагов, немного согнул ногу в колене, чтобы набрать инерции, и пнул ногой снежный ком. Как оказалось, ком состоял полностью изо льда. Всю

стопу от большого пальца до щиколотки пронзила острая, жгучая боль. Руберт стиснул зубы, чтобы не заорать.

Ну что за напасть!

Он сжал кулаки и начал скакать на одной ноге, размахивая руками, чтобы не потерять равновесие. На мгновение ему показалось, что он полностью отбил себе большой палец на правой ноге, и он бы не удивился, будь это правдой. Вот только этого ему и не хватало.

Он попробовал потихоньку переступать. Боль страшная, но она не сможет остановить его. Ни за что.

Руберту хорошенько досталось. С мрачным видом он пробирался по скользкой дорожке к площадке, где колол дрова. За ночь большой палец на ноге распух и посинел, его как будто зажали щипцами, а под ноготь загнали раскаленную иглу.

Безумный мир, непонятная жизнь. Руберт никак не мог взять в толк, за что ему все эти страдания, и это при том, что он ведет праведную жизнь и всегда уважал мирские и духовные законы.

6

Руберт похлопал по поленнице, задаваясь вопросом, сколько продлится перемирие и насколько опасно поддаваться ложным иллюзиям, что вор устанет и бросит свое черное дело. Оставалось только ждать.

В выходном костюме и ботинках вместо сапог, Руберт стоял у кучи дров с колуном в руках. Ведь работать уместно всегда.

Колоть дрова — это искусство, и нужно провести у поленницы целую жизнь, чтобы все получалось как следует. Нужно стоять на правильном расстоянии и высоко замахиваться колуном над головой, чтобы достичь нужной силы удара — это сродни покорению стихии. Потому-то правильный удар, когда чурка раскалывается надвое с нужным звуком, доставлял истинное наслаждение. Это чувство можно было сравнить с удовольствием от создания красивой музыки, от летнего щебета птиц или свежего журчания ручья, от захода солнца, окрашивающего небо в красный цвет. Иногда, когда у Руберта получался идеальный удар, у него в уголке глаза выступала слеза. Настолько момент был торжественный.

Топору еще нужно хорошее топорище, поэтому у Руберта было четыре топора с топорищами из дерева гикори высшего сорта, которые не ломались от косых ударов и справлялись с гибкими ветвями. Форма топорища также крайне важна, чтобы крепко держать топор в руке.

Руберт поднял крупную березовую чурку и поставил ее на колоду по всем правилам искусства. Чтобы расколоть такую чурку, нужен отличный удар. Руберт обхватил топорище, расставил ноги, пружиня в коленях, взвесил топор в руке и покачался из стороны в сторону, чтобы найти точку равновесия. Поднял взгляд на холм и, не увидев дыма из трубы дома Адриана, улыбнулся.

Когда топор взлетел в воздух, Руберт сразу почувствовал, что размахнулся правильно. Пока лезвие летело обратно к чурке сквозь холодный воздух, в нем отразилось бледное солнце. Бах! Удар металла по замерзшему дереву. Два одинаковых полена, одно из которых по широкой дуге взлетело в воздух и устремилось вниз. Прямо на травмированный палец.

«Только не это!» — промелькнуло в голове.

Руберт запрыгал на одной ноге, издавая горловые звуки. Одновременно он махал руками, чтобы не свалиться в дрова и не пораниться еще

больше.

Из-за своих прыжков он не заметил, как к нему подошла Хильда, поэтому замер, когда она откашлялась и удивленно на него посмотрела. Он ведь колол дрова в воскресном костюме, в выходной, когда они собирались в церковь. Руберт остановился и потихоньку опустил ногу. После этого попытался отвлечь внимание от происходящего, натянуто улыбнувшись.

— Сегодня хороший день, чтобы поколоть дрова, — сказал он и окинул взглядом свою дровяную империю. Нога болела так сильно, что Руберт прикусил губу.

— А что это ты прыгаешь на одной ноге?

— Ну, ударился немного.

— Ничего себе не отрубил?

— Отрубил? Вечно ты преувеличиваешь.

Вероятно, ему пришлось бы стоять там на одной ноге, прыгать и махать руками, пока он не набрался смелости позвать на помощь. Совершенно невозможно что-либо сделать для человека, который живет в постоянном отрицании. Ей трудно было скрыть гнев. Не потому, что он ударился ногой, а потому, что и в этот день ему приспичило рубить дрова.

Помни день Господень, чтобы святить его.

Он пожал плечами и опустил взгляд. Конечно, она не преминула напомнить ему об этом. Естественно, он прекрасно помнит, что они собрались в церковь. Просто хотел немного поработать, ведь до отъезда еще масса времени.

7

Санки скользили по снегу легко, и это неудивительно, ведь в них ничего и не лежало. Путь пролегал от сарая через лес, вниз по холму и в заросли кустарника, за которыми открывался свободный пейзаж. Адриан пользовался тропинкой, которая протаптывалась зимой. Тропинка между домами в низине и на холме существовала миллион лет, но со временем заросла, потому что по ней никто не ходил. Теперь она снова понадобилась, и до лета он собирался ее расчистить, чтобы она стала пошире. Адриан тяжело дышал, окидывая взглядом поле и смотря вверх на сарай.

Гора дров действительно впечатляла. Только дураку придет в голову соорудить такое. Бог ты мой, здесь ведь дров хватит на всю деревню, а то и на все окрестные деревни.

Он устремился к тому месту, где привык загружать свои санки, и, почти добравшись до места, застрял в снегу. Он в первый раз отправился на дело при свете дня, но ведь Перссоны уехали в церковь. Обычно он набирал дрова в темноте и часто спотыкался и двигался на ощупь, толком не

разглядев, что загружает в санки. Адриан почувствовал давление в мочевом пузыре и понял, что больше не может терпеть. Он отбросил перчатки, расстегнул молнию и с чувством помочился на одну из поленниц. Как же хорошо! Он улыбнулся оставленному желтому следу, стряхнул каплю и осмотрелся. Повсюду — и позади, и впереди него — лежали дрова.

Адриан попытался осознать размер этого склада горючих материалов, но ему такое было не под силу. Ему пришлось податься корпусом в сторону, чтобы разглядеть, где кончаются штабеля дров, которые его окружали, затем он наклонился в сторону круглой поленницы в центре. Туда, где он стоял, едва пробивались солнечные лучи. То место, где он помочился, было лишь малой частью империи Руберта.

Адриан в первый раз находился здесь при свете дня. Он стряхнул с себя внезапно накатившую неловкость и почувствовал, что хочет поскорее отсюда убраться. Не мог припомнить, чтобы таскал такой большой груз, и забеспокоился, сможет ли протащить сани через лес и вверх по холму. Прежде чем тронуться в путь, обернулся и закричал:

— Вот спасибо за прекрасные дрова, Руберт

Перссон!

После этого так рассмеялся, что по лесной чаще прокатилось эхо.

8

Уже издалека Руберт заметил, что здесь побывал вор, что кто-то, как обычно, подходил к поленнице у болота. Приблизившись, Руберт заметил свежие следы от больших сапог и санных полозьев. Он снял кепку и с размаху хлопнул ей по бедру. Поскальзываясь, заметался на месте, с пыхтением и стонами, и нога его разболелась еще больше. Руберт пытался так подбирать слова, чтобы не браниться и не богохульствовать. *Ни дна тебе, ни покрышки, идтить колотить, твою дивизию, медведь тебя заешь, чтоб тебя…* Высказавшись таким образом, он почувствовал некоторое облегчение и смог остановиться и отдышаться.

Руберт застыл на месте. Медленно-медленно наклонился к ближайшей поленнице и изо всех сил зажмурился, как будто хотел, чтобы то, что он увидел, перестало существовать.

На этот раз вор зашел слишком далеко.

Этот алкаш обоссал дрова! Руберту нужно остановить его, сейчас или никогда, иначе скоро у него совсем не останется дров. Он направился к сараю и вытащил инструменты, необходимые

для первой фазы войны. Произошедшее стало последней каплей.

9

Адриан сидел рядом с аппаратом, наблюдал, как жидкость капает из трубки в стеклянную кружку, капля за каплей, и чувствовал, как рот наполняется слюной. Он раздумывал о том, не слишком ли еще рано, чтобы промочить горло, ведь стрелка часов показывала всего несколько минут восьмого утра, а за окном было темным-темно. Довольно скоро Андриан пришел к выводу, что никогда не рано и никогда не поздно сделать нескольких бодрящих глотков.

Он осторожно коснулся распухшей брови и провел пальцами по щеке, на которой еще оставалась запекшаяся кровь. Было действительно больно, особенно от того удара, который пришелся по брови. Ему крупно повезло, что он не выколол себе глаза одним из сучьев, спрятанных под снегом. Когда вчера поздним вечером он направлялся к куче дров, чтобы вернуться домой с грузом, он никак не мог заметить эту яму.

Несчастный случай произошел там, где лес переходил в болото, в том месте, где всю жизнь был маленький мостик через канаву. А теперь там была яма. Адриан провалился по горло и поранился

о сучья, которые лежали на дне; в довершение всего получил санками по макушке, из-за чего у него налились две огромных шишки. Так вот чем промышляет Руберт. Он подпилил мостик и заполнил яму острыми сучьями, затем накидал сверху веток и припорошил все снежком.

Адриан совершенно не мог понять, что произошло, и в первые секунды не мог пошевелиться. В голове проносились мысли: цел ли он, не проткнул ли он себе веткой руку или ногу, не случилось ли что-нибудь еще? Он также боялся позвать на помощь, потому что не был уверен, что не появится Руберт с дробовиком и не сделает пару выстрелов, защищая свое имущество и дрова. Нет, лучше уж посидеть в яме.

Руберт попытался отвадить Адриана, соорудив такую волчью западню, — и все ради того, чтобы тот отказался от дров. Но Адриан решил не сдаваться. Поэтому он снова подобрал санки, поспешил к горе дров Руберта и нагрузил их по максимуму. Ничто не могло остановить Адриана. Объявленная Рубертом война не испугала его. Старикашка зашел слишком далеко. «Не рой другому яму, сам в нее попадешь», — подумал Адриан и недобро ухмыльнулся.

10

Когда Руберт забрался под одеяло, Хильда приподнялась на локтях и спросила, с чего это он вздумал спать в носках. Он что-то хмуро пробормотал, не собираясь оправдываться, потому что это только его забота, а она не должна совать нос в чужие дела.

— Но у тебя же все носки в опилках, ты что, не видишь? Не понимаю, как можно быть таким неряхой. Я же только что свежее белье постелила.

Он повернулся к ней спиной.

Когда Руберт подпиливал старый деревянный мостик около болота и копал яму, он думал, что вор так получит по носу, что кражи прекратятся. Но ошибся. Вор выбрался из ямы, продолжил свой путь к штабелям дров, загрузил санки и вернулся домой. Кровавые следы на снегу указывали на то, что он был ранен и серьезно, но это не помешало ему завершить свое черное дело. Теперь похититель дров протоптал себе новую тропинку, в обход ямы, что помогло ему продолжить свои злодеяния. Это он зря.

Руберт оказался в одиночестве перед лицом

важного решения. Ведь только Бог знал его секрет, ну и, конечно, Адриан Юханссон.

11

Заслышав тарахтение снегохода со стороны болота, Хильда отложила поварешку. Муженек часами торчал в лесу, невзирая на мороз. Начало смеркаться. Он стал необычайно скрытным, а это о многом говорило, похоже, затеял что-то еще.

Но не подумайте, что ей что-то удалось узнать, он готов был скорее умереть, чем проговориться о своих планах. Нужно подождать. Наверняка речь снова шла о дровах, иначе она забеспокоилась бы еще больше.

И еще его нога. Теперь он все время хромал. Но не подумайте, что он об этом хоть словом обмолвился. Ни за что.

Она убрала со стола, вытерла столешницу, расправила клеенку, переставила горшки с геранью и полила цветы, убрала муку и масло, наклонилась и поправила бахрому на ковриках, а когда снова распрямила спину, успела поправить картину, переставить фарфорового ангелочка на полку повыше и счистить пятно со шкафчика над мойкой.

После этого налила себе чашку полуостывшего кофе и прислонилась к мойке, чтобы насладиться

коротким заслуженным отдыхом, пока варятся пальты. Все чаще она начала задумываться о том, как сложилась жизнь, как жизнь катилась по одной и той же кривоватой колее из прошлого в настоящее, и о том, почему все сложилось именно так, как сложилось, и, что самое главное, о том, как все могло быть иначе. Она так нахмурилась, что лицо ее сморщилось, словно изюмина. Досада осела в теле большим черным комом, который, казалось, рос с каждым днем. Если так пойдет и дальше, то скоро она полностью наполнится негодованием. Хильда могла перечислить бесконечное множество моментов, когда ей следовало поступить по-другому, когда она могла выбрать другую развилку и прийти совсем к другой жизни.

Жар от плиты заставил ее расстегнуть верхнюю пуговицу на платье. Она почесала свою плоскую грудь и подумала:

«Не, титьки мои не особо пригодились».

Неудивительно, что с годами они усохли и плотно прижались к ребрам, как будто тело хотело втянуть их внутрь. Наверное, это Господь так замыслил, что она суха, как Синайская пустыня, и пуста, как иссякший источник. Лицо ее снова сморщилось. В ней ничего не выросло и не пусти-

ло корни, не зародилась новая жизнь. Такой ей выпал жребий — жить в лесу, в глуши, в таком месте, куда не заезжала ни одна живая душа.

Бездетная и в глуши. В таком месте повелел ей Господь прожить свою жизнь с упрямцем Рубертом Перссоном и его дровами. Было очень больно сожалеть об упущенных возможностях и думать о том, как все могло бы быть. И зачем только она все это делала? Лучше бы она и вовсе много не делала в этой жизни.

12

Прежде чем занести дрова в дом, нужно убедиться, что они достаточно долго пролежали в поленницах и как следует просохли, иначе беды не избежать. Из-за простой небрежности долгие усилия могут пойти прахом. Если не соблюдать осторожность, можно развести сырость и занести плесень. Но такого в котельной у Руберта Перссона не случалось. Однако если хоть чуть-чуть потерять бдительность, все может сразу пойти наперекосяк.

Он поднял березовое полено и кивнул. Без сомнения, береза горит лучше и дольше других пород. Кроме того, березовая кора незаменима, когда нужно развести огонь. А сосна красиво и безмятежно потрескивает и в печи, и в камине, что само по себе создает уют. Он формировал штабеля дров, исходя именно из этого.

Присев на корточки, он размышлял о пожаре, разгоревшемся на Ближнем Востоке, и о черных столбах дыма над взорванными нефтяными вышками на Синае. Масса топлива в буквальном смысле улетучилась. Руберт был убежден, что война — это только начало чего-то более

масштабного, чего-то, что навсегда укажет человечеству на грань и заставит так называемые богатые страны истерически запасать бензин, нефть и электроэнергию.

В будущем больше не получится обращаться с энергией как с чем-то само собой разумеющимся, даже заправить собственный автомобиль станет непросто, не говоря уже об отоплении домов мазутом или электричеством. Война за электричество и тепло только начинается и никогда не закончится.

Услышав голос Хильды, он вздрогнул и понял, что пора бы и поесть. Супруги сидели друг напротив друга и ели в полной тишине, только тикали настенные часы.

Если бы ему не приходилось сохранять в тайне задуманное, он мог бы подняться из-за стола и нежно сказать:

— Не вешай нос, жена, ведь грядут лучшие времена!

— Адриан, должно быть, поранился, — сказала она.

Руберт вскользь улыбнулся и снова напустил на себя серьезный вид. Через несколько секунд, прочистив горло, спросил:

— Он что-нибудь рассказывал?

— Поранился, когда рубил дрова, — ответила жена.

Адриан рубил дрова?

Руберт отрывисто засмеялся, но Хильда зло на него зыркнула, и он опустил взгляд в стол.

13

Руберт стоял в столярной мастерской и упорно работал при свете лампочки без плафона. В этой мастерской в сарае он хранился весь инструмент и станки для работы по дереву. Он ведь не только колол и складывал дрова, ему всю жизнь нравилось выпиливать и вырезать по дереву. На полу и в многочисленных шкафчиках лежали сотни деревянных кружек-кукс, которые он вырезал круглый год. Руберт дошел до предела в этой истории с похитителем дров.

В четвертом часу утра он принял решение. Пора сделать следующий, решающий шаг в войне за дрова. Решение назрело, и, если вора не остановить даже различными западнями, остается только один выход.

Решение казалось радикальным, так что Руберту пришлось уговаривать себя, что это именно вор своим поведением вынудил его такое решение принять.

Уединившись в глубине мастерской, Руберт начал работать с тщательно отобранными поленьями. Он просверлил в них горизонтальные отверстия примерно по двадцать сантиметров

глубиной, а потом вырезал пробки, подходящие по размеру. Руки у Руберта дрожали, а на лбу выступили капельки пота.

Он постоянно оборачивался, как будто боялся, что кто-то зайдет к нему в этот поздний час. Но работа требовала большой секретности, свою тайну он должен унести в могилу.

Отверстия нужно было плотно закрыть, чтобы оттуда ничего не вывалилось, и ни один человек не должен был заметить, что с деревом кто-то поработал. Скоро все равно станет понятно, что без человека тут не обошлось, но это останется только между ними двумя, Рубертом и Адрианом. Руберт осознавал возможные последствия, поэтому точно рассчитал, сколько поленьев нужно вернуть в поленницу. В любом случае Адриан получит серьезный урок, и по этой причине кражи должны прекратиться.

14

Вдалеке раздался глухой взрыв.

Руберт как раз собирался разрубить березовую чурку. Он уронил топор и в испуге сел в снег. Его охватил ужас, хотя он уже давно приготовился к неизбежному.

Взрыв прогремел в доме Адриана.

За ним должен был последовать еще один.

Война за дрова стала неуправляемой, и ни один из соседей больше не мог контролировать происходящее.

После такого дня Адриану нужно было как следует выпить, и никто не посмел бы ему возразить. Даже Гертруда.

Он смертельно устал от происходящего. Как же все-таки устроен мир, как так получилось, что на него валятся все земные напасти? Он не верил в Бога, но, так как больше призвать к ответу было некого, он разразился черными злобными проклятиями в адрес высших сил. Ведь должен же быть предел страданиям. Допустить взрыв в доме — это уже чересчур, и неважно, есть ли на свете Бог или нет.

Адриан погрозил небесам кулаком.

Он помотал головой и подумал о том переполохе, который вызвало случившееся несчастье. Во дворе как будто открылся парк развлечений. Неудивительно, что Адриан спрятался за одной из пожарных машин. Он даже немного полежал под ней, чтобы прийти в себя.

Адриан поднес ко рту еще один стакан.

Все соседи побывали здесь, кроме одного.

Адриан пролежал под пожарной машиной несколько часов и ждал, что этот задавала объявится… но Руберта так и не увидел.

Еще пара стаканов, и Адриан был готов идти в контрнаступление.

Комментарий автора

В этом отрывке из моего романа «Похититель дров» описывается эскалация конфликта, который привел к разрушительной войне за дрова. Войне, которая дорого обойдется воюющим сторонам. Роман «Похититель дров» основан на реальных событиях, которые разворачивались в глубине Норрланда в семидесятые годы двадцатого века. Без всякого сомнения, жажда мести и высокомерие сузили восприятие и затуманили рассудок Руберта и Адриана. Впрочем, это случается на любой войне. Гематома на большом пальце ноги и женская хитрость в конечном итоге заставят соседей прекратить огонь.

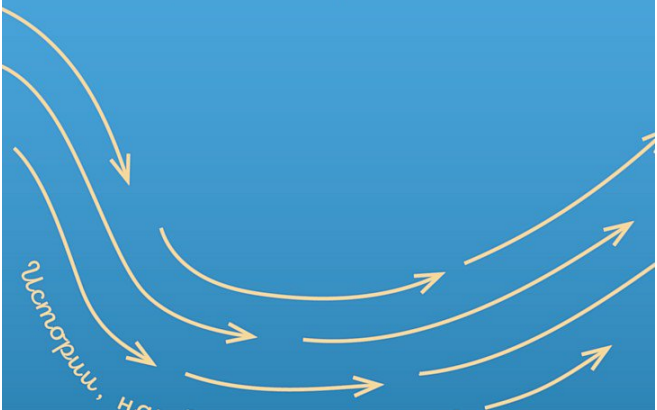
У нас на Севере стычки из-за дров случались всегда. В глухих морозных местах соседи на протяжении столетий выясняли, кому принадлежат дрова. Конфликты часто решались кулаками, а иногда старейшины деревень помогали разрешать споры. Однако мир ничего не знает об этих войнах, потому что сражения разворачиваются на далеком Севере, вдали от центральных магистралей, в непроходимых лесах и в лютый мороз.



Мона Мёртлунд
«Я еду через Юхонпиети, когда цветёт иван-чай»
(Стихотворения из сборника)
В переводе Алексея Алёшина

В ПЕРЕВОДЕ АЛЕКСЕЯ АЛЁШИНА

Стихотворения из сборника



Мона Мёртлунд

Я ЕДУ ЧЕРЕЗ ЮХОНПИЕТИ, КОГДА ЦВЕТЁТ ИВАН-ЧАЙ

I

Я еду через Юхонпиети,
Когда цветет иван-чай,

Через розовые луга,
Бурлящую реку,
Старые дворы,
Взбирающиеся в гору.

Я еду
И вижу картину.

Остановившись,
Увидеть бы не смогла.
Я хватаюсь пальцами
За мгновенья памяти,

Красиво перепленные,

Мы были на свете

Взаправду.
Перед твоим отъездом
Мы идем на болото.

Светит луна, вечер,

Немного прохладно.

Морошка крупная и спелая.

Мы немногословны.
Что сказать нам друг другу?

Завтра ты уезжаешь,
Быть не может иначе.

Мы тихо сидим у костра.

Уродилась нынче морошка! — говоришь ты.

Да, не поспоришь.
Пожалуй, расскажу сейчас,

Тебе я расскажу

О надписях, мной найденных,
О лицах

Поговорим друг с другом мы,

Когда вернешься ты.
У озера Ламмасъярви
Прилетела кукша
И села подле меня.

Сейчас поздняя осень,
Снег не выпал еще.

Я прошла старой тропкой
Через лес

Отдыхаю у озера.

Здесь бродили обычно
Ягнята вокруг,

А сейчас подле меня
Сидит кукша.

По ту сторону озера
Слышу я
Мычание последних коров.
Жерди старые

Не нужны больше,

Стоят, прислоненные
К большой ели,

Гниют медленно,

Рушатся, рушатся.
Я часто думаю, где ныне
все вы, что здесь ходили прежде

и наблюдали те же тропы, ту же воду.

Ты, дядя деда моего,
кровь заговаривал и духов изгонял,
узнать хочу, боялся ли ты силы,
Которою владел?

Ты, бабушка, что в тридцать шесть ушла,
родив ребенка мертвого, за ним отправилась.

Дед, жил один ты с девятью детьми
В большом красивом новом доме, что для нее построил,
Лишь раз отчаянье твое открылось детям,
На чердаке они твои шаги услышали, и крик, и вой —

Дом перестал дышать.

Письмо от бабушки нашла
Старшей сестре, вот первые слова:

Tulen tykösi muutamalla rivilä

Пишу тебе я пару строк,

Tulen tykösi muutamalla rivilä

Слов тоже не станет скоро,

Как и всех вас,
что здесь ходили прежде
по тем же тропам, вслед тем же потокам,
подобно им, конца не знали и начала,
лишь этот путь, деревню лишь одну —

и это был ваш мир.
Они говорят, говорят, говорят —
Двое мужчин. Один — мой отец.
Говорят не умолкая. Разные тоны. Разные голоса.
Где один закончит, другой продолжает. Будто они долго упражнялись
И теперь в совершенстве владеют искусством.
Я лежу на диване в кухне и слушаю.
Музыку в словах, как она
Переливается. Туда и обратно.
Туда. И обратно.
Гроза приближается —

И нам нужно успеть домой
С сенокоса

До дождя —

Перейти глубокую канаву
По гнилому бревну.

И вот я в чьих-то объятиях,

Она бежит и бежит,

Я знаю, что она никогда
Меня не отпустит.

Я знаю.
Я помню Ангелшику

А́нгелшика. С ударением на первый слог,
Это важно.

Она жила у нас, бывало,

Помню, как она лежала на кухонном диване,
Укрыв лицо косынкой,
И дремала после обеда.

Она гостила у нас несколько дней или недель,

Ангелиика, странница, сестра моей прабабки,

А потом снова шла в путь.

Идя по дороге через деревню,
Она вязала, держа клубок ниток
Под мышкой.

Мы до сих пор вспоминаем ее красивые варежки.
Никогда не забуду Лидию,

Как она сидит на высоком стуле
Посреди кухни, распустив
Длинные седые волосы.

«Можете начинать», — говорит она —

И мы начинаем.

По обе стороны от нее стоим мы,
Заплетаем ломкие старые волосы.

Кто устает, идет кормить
Мужа Лидии бананами.

Он лежит в комнате, благодарит за бананы —

Лидия не уставала никогда.

Она сидит на стуле, пока мы не закончим,
Будто впереди у нее вечность.

Иногда мы бегали встречать ее,
Идущую из магазина,

Чтобы помочь ей нести пакеты.

Тогда она улыбалась и отдавала нам пакеты,

Зажигала черную изогнутую трубку,
Потягивала ее, довольная.
Овин
Восемнадцатого века.

Во всех углах знаки высечены,
Для защиты от злых духов.

На одной из стен дата:
1809
Край наш делят, остается
Только западный нам берег,
Мы теперь — большой осколок,

Часть другого мы народа —

Говорит нам власть, велит нам:
Шведами должны все стать мы.

Имена забудьте, песни
И стихи, слова забудьте.
Я иду по дороге,
Крепко сжимаю ручку бидона.

Я иду по дороге,
И уже стемнело.

Я должна пройти мимо избы,
Куда кладут покойников.

Я должна спокойно пройти
мимо избы
с покойниками.

Бежать нельзя,
Бидон с молоком уронить нельзя,

Но я слышу шаги,
Слышу очень ясно!

Учитель бьет, указкой бьет —

Шведам реки помнить надо!

Учитель бьет, указкой бьет —

Вискан, Этран, Нисан, Лаган,

А за окном река Лайнионвяйля.

Вискан, Этран, Нисан, Лаган,
Моя Лайнионвяйля.

Вискан, Этран, Нисан, Лаган,
Лайнионвяйля.

Вискан, Этран, Нисан, Лаган.
Я слова
Глотаю молча.
Сняли кожу,
Рву колючку.
Где же выход? —
Руки ищут,
Извиваясь,
Неподвижно.
Дай лежать мне,
Словно ангелу,
На снегу.

Тихо, тихо.

Не трогай
Мои крылья.
Когда-то у нас был язык…

В нем были смех и злоба,
Печаль и радость,
Зависть и нежность,

И была любовь.

У нас были песни, сказки и стихи,
У нас был язык.

В нем были мудрость, злость,
Мягкость, твердость,
Мужество и скромность,

В нем была жизнь.

Когда-то у нас был язык…

В нем были амбары и риги и овины,
Сачки и лодки, передники и хлеба,
Шаманы и духи-защитники.

Когда-то у нас был язык…
В объятьях языка мы рождались,
Жили и умирали.

Когда-то у нас был язык...

Швед, швед звонит! —
Кричали мы,

Бежали быстро —
Позвать взрослых,

Сердце колотилось, пот струился —

Швед звонит!

Мама, быстрей!
Песни, что веками пелись,
И слова, что говорились —
Мы верны своим заветам
И обычаям священным.

Лодку, где лежит усопший,
Ставим носом по теченью,
Когда с берега толкаем —

Так положено, так нужно.

Положите осторожно,
Аккуратно в лодку тело,

И слова подхватят волны,
Поплывут с водою песни,

Понесет теченье лодку,
И достойным быть прощанью.
В городе мы древние слова шептали,
Так, чтобы никто не знал, не слышал,

Прятали их глубоко внутри нас,

И они становились язвами,
Болели и нарывали.
Смятение,
Должно быть, спряталось
Далеко в сарае,
Где лежит одежда мертвых.

Из замочной скважины
Веет холодом.

Я очень боюсь
Открыть рот.

II

Этот город
Станет первым городом.

Эти огни
Под моим окном —

Здесь нет темноты.

Здесь должен быть
Кто-то, кроме меня.
Он лежал в постели,
В бреду и в поту.

Я сидела рядом с ним
В желтом защитном костюме,

Сидела у постели
И пыталась понять его знаки.

Он умирал
И хотел узнать, откуда я родом.

— Я из Норботтена, — ответила я,
Никогда не сидевшая раньше у постели умирающего.

Его лицо засияло:

— Линдегрен, — сказал он, —
Прочти Эрика Линдегрена!

Он умирал,
Но при этих словах его лицо засияло.

Я давно уже забыла,

как он выглядел —
Мужчина в четвертом отделении
Больницы Серафимов в Стокгольме,
Летом 1975 года,
Но как же сияло его лицо
В тот миг!

Я уехала далеко
На неизвестный остров,

Но в доме, где я жила,
Окна выходили на север,

А на островке напротив
Жили лебеди.

Я видела их постоянно.
Я искала дом старого поэта —

Когда-то я прошла мимо его почтового ящика,

Проследовала по тропинке вдоль берега,

Но до самого моря спускался густой лес
И дома прятались в нем.

Тропинка закончилась,
Я оказалась в тупике.

На обратном пути я выбрала другую дорогу,
Которую раньше не видела,

Через пару мгновений с нее открылся вид:

Дома и луга,
Аллеи сирени и ландышевые холмы,

И море, прямо передо мной!
В густом тумане
Я вижу огни,

Нет границы
Между небом и морем…
Я хотела уехать,

Я думала, что уехала,

Пока не обнаружила себя
Сидящей на первой проталине
И смотрящей на реку,

Пока не увидела первых лебедей,

Купающихся в первой полынье.
В день, когда я вернулась,
Я взяла стул под мышку,
Пошла и села с южной стороны.

Был апрель, и светило солнце,
Где-то лаяла собака,

Под крышей висело
Вяленое мясо длинными рядами,

Тихо колыхалось от ветра.
Черные силуэты деревьев
На фоне бирюзового неба,

А рядом заснеженный амбар

Гордо расправил плечи.
Пуночки,

Трясогузка,

Лебеди,

Кроншнеп,

Ласточки, Л А-А-А-АС Т О Ч К И-И-И-И-И!
Выползаю из зимы,

Лед отпускает хватку —

Река снова бьется в моем теле.
Никогда еще смола
Не пахла так сильно,

А цветы калужницы
Не сияли такой желтизной!

И река —

Как я могла забыть
Запах реки!
Я спускаюсь к берегу
И набираю воды в ладони.

Эта вода Этой реки, вода — и есть я,

Вода никогда не остановится. Я —
Вода на каменистом дне. В пути…
12 мая 1973 года обрушился мост —
Пятьдесят два человека стояли,
Облокотившись на низкие перила.

Нет погибших, нет раненых.

Каждый год мы возвращаемся
Туда, чувствуем дрожь,

Когда вздымается лед,

Наши руки трясутся.

Нет —

не

без

дна,

но сочится, струйкой!

В то лето была низкая вода,

Я добралась до середины реки,

Дошла вброд, несмотря на скользкие камни,

Много раз я чуть не потеряла равновесие,

Но мне хотелось перейти ее, вправду хотелось!

И вот я стояла посередине реки,

Вода неслась по обе стороны, камни, на которых я стояла,

Были маленькими и неустойчивыми.

До того берега было еще далеко,

Но я уже не спешила,

На миг я встала очень твердо,

Чувствуя, как вода обнимает мои лодыжки.
Сегодня прилетел кроншнеп —

Я стояла на мосту и курила,
Когда услышала трель,
Долгую, замирающую.

Сегодня прилетел кроншнеп —

Он сел на лугу
Недалеко от меня,

Я видела длинный клюв.

Сегодня прилетел кроншнеп —

Я протерла глаза,

Увидела, как лебеди купаются в реке,

Стая диких гусей собралась
На другом берегу,

А в реке Акайоки, а в Акайоки вольно бурлила вода.

Зима-99

Минус сорок девять градусов.

Я выхожу, чтобы проверить,
Можно ли дышать,

Возможно ли жить?

У неба желтоватый оттенок,
Какого я никогда не видела,

Как на изображениях Христа
В воскресной школе —

ОН идет к нам?

Воздух так тонок,
Будто в любой момент
Разорвется.

Я вижу, что и другие тоже вышли —

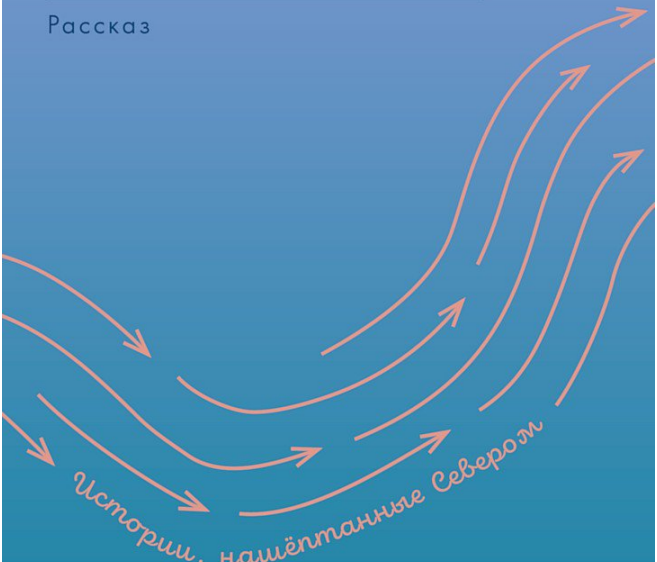
Тоже хотят узнать.



Анника Норлин
«Тебе смешно, а мне обидно»
(Рассказ)
В переводе Ольги Костанды

В ПЕРЕВОДЕ ОЛЬГИ КОСТАНДЫ

Рассказ



Анника Норлин

ТЕБЕ СМЕШНО, А МНЕ ОБИДНО

Это было летом, когда мне исполнилось двадцать восемь. Наверное, уже не тот возраст, чтобы жить как я живу. Ни работы, ни парня, ни вектора. Отдельные курсы в университете, подработка в задрипанном отеле, попытки писать в свободное время.

Мой лучший друг — Микаэль. Раньше у нас была музыкальная группа «Личный бренд». Я играла на бас-гитаре, Микаэль — на ударных. Получалось так себе, потому что мы оба ненавидели петь, и вместо того, чтобы репетировать, постоянно спорили, кому тянуть вокал.

В конце концов мы пришли к выводу, что надо все песни петь дуэтом, чтобы было непонятно, кто из нас ужаснее. А еще лучше — выкрикивать тексты, и чтобы во время репетиции всегда было темно и мы не могли встретиться взглядами, пока поем.

В тот вечер я сочиняла стихи. Микаэль зашел как раз, когда я занималась поэтическим творчеством. Как же тяжело творить, когда окружающие постоянно требуют, чтобы ты их развлекала.

Стихотворение называлось «Я не знаю, кто виноват, потому обвиняю власти».

— Пойдем прогуляемся, — предложил он.

— Сейчас, только подберу рифму, — ответила я,

будучи чуть ли не единственным современным поэтом, сочиняющим рифмованные стихи.

— Ладно, — произнес он.

Мы помолчали.

— К какому слову тебе нужна рифма? — спросил он.

— *Власти*, — ответила я.

По окну ползала оса.

— *Напасти*, — предложил Микаэль.

— Слишком длинно, — возразила я.

— *Красть их*, — продолжал Микаэль.

— Кого красть? — удивилась я.

— Наши деньги, — ответил Микаэль. — Или надежды, наши надежды на светлое будущее.

— Ну, так себе, — призналась я.

— Ты что, в этом пойдешь?

— Кем ты себя возомнил! — возмутилась я. — Тоже мне, Бьянка Ингроссо[8].

— Вдруг кто-то решит, что мы с тобой пара. Новая девушка по красоте всегда не хуже предыдущей. А если я выйду с тобой, а на тебе эти подштанники…

— Легинсы, — поправила я.

— Так вот, если меня увидят с тобой, когда ты

---

[8] Примечания: 8

Бьянка Ингроссо — шведская певица, предприниматель и блогер.

в подштанниках, все подумают, что мы вместе и что это и есть мой уровень. Уровень подштанников.

Мы отправились в O'Learys, стоял чудесный вечер. Я пошла в легинсах. Страшный дубак, но небо ясное. У реки мы то и дело останавливались, чувствуя, как от красоты природы захватывает дух.

— Да, вот это город, — с гордостью произнес Микаэль.

— Ты так говоришь, будто возвел его своими руками.

— Так оно и есть, — сказал Микаэль. — Видишь вон тот мост? Я лично клал на нем асфальт, когда подрабатывал в Дорожном управлении в 2011-м.

— А вон там что, яма? — спросила я.

— Инсталляция, — отозвался Микаэль.

Пока Микаэль смотрел на воду, я разглядывала его. Наполовину испанец, на четверть саам, с кожей оливкового цвета и узким разрезом глаз. Морщина на лбу выдает склонность к подозрительности, а с подозрением он относится ко многому. Например, к новой еде, новым людям и необходимости общаться. Это у него, конечно, не испанское, а от предков из Лулео. И мобильный у него — «Эрикссон» 2004 года.

— Обожаю тебя, — сказала я, зная, что внезапные проявления чувств всегда ставят Микаэля в тупик.

Он вздрогнул, морщина на лбу стала еще глубже. Уставился на меня. Я усмехнулась.

— Да-да, — произнес он наконец. — Как ты думаешь, на будущий год много гольца пойдет? Готовить снасти?

И вдруг как подпрыгнет.

— Рифмуется с «властями». *Власти — снасти.*

Итак, мы пошли в O'Learys, где тут же наткнулись на Пижона, который сидел за столиком и возмущался. Неонацизмом и развитием общества в целом. Хотя настоящая злость в его голосе появилась, только когда он начал рассказывать о новой системе оплаты в местном супермаркете. Он сам решил попробовать оплатить товары с помощью красного пластикового сканера, и, когда считал все ценники, машина выдала сообщение об ошибке и перенаправила его в обычную кассу. Драгоценные минуты, украденные из его безработной жизни, вызвали у Пижона такое негодование, что даже кончики ушей покраснели, пока он рассказывал.

Потом Микаэль с Пижоном сообщили мне, что у них намечается заграничное турне. Группе

«Сеньор», в которой они оба играли, предложили выступить в Австрии, и вот теперь они отправятся туда с настоящим панковским туром, только класса люкс. «Панковский тур» означает, что они едут на микроавтобусе по Центральной Европе и выбешивают друг друга. А «класс люкс» состоит в том, что каждый будет спать в отдельной чистой постели, а не вповалку на полу у кого-нибудь дома, как это обычно бывает.

— Вы что, дадите единственный концерт? — спросила я. — Тоже мне, Ариана Гранде.

Пижон начал уверять меня, что концертов будет больше, но за тот, самый главный, они получат столько денег, что поездка в любом случае окупится. Дело в том, что какому-то австрийскому неформалу, любителю компьютерных игр, страшно понравилась группа, он нашел обе демоверсии треков Stuff и Stuff2. А потом оказалось, что этот отбитый геймер создал игровое приложение, оно успешно разошлось, парень разбогател и теперь мог себе позволить позвать на день рождения любимую группу «Сеньор».

— Жаль только, что группа наша никуда не годится, — добавил Пижон и рассмеялся.

Микаэль радостно согласился.

Потом Пижон сказал, что басист не сможет

поехать в турне, потому что буквально на днях стал отцом.

— Предатель, — прокомментировал Пижон, злобно сверкнув глазами. Хотя прошлая его группа развалилась из-за того, что репетиции приходились на время, когда он смотрел повторы сериала «Как я встретил вашу маму». Потом он добавил, что я могу поехать вместо басиста.

— У тебя же есть бас-гитара, — аргументировал он.

Микаэль, благодаря пиву настроенный весьма позитивно, поддержал его:

— Давай поехали! Будет круто!

И еще:

— Там ничего сложного, просто пара аккордов: ля и ми.

У меня сразу возникло два вопроса: заплатят ли мне за выступления и обязательно ли солисту ехать с нами. На первый вопрос Пижон ответил «нет», на второй — «да». Несмотря на два нежелательных ответа, мне показалось интересным посмотреть Австрию, поэтому я сказала:

— Почему бы и нет. Как бы невероятно это ни звучало, но, думаю, курс «Основы социологии» проживет недельку и без меня.

— Ну вот, тебе осталось только выучить все

песни и стать на десять процентов симпатичнее, — подытожил Пижон и рыгнул. Его пивной живот обтягивала футболка с принтом «Выпускник Школы Хага 1993».

* * *

К сожалению, на следующий день мне пришлось ознакомиться со всем репертуаром группы «Сеньор» и провести пару драгоценных часов жизни, разучивая их тупые песни. Как и фанаты, я сочла альбом Stuff более удачным, нежели Stuff2, но хуже последнего сборника Stuff3 вряд ли можно было что-нибудь придумать. Я быстро поняла, что решение экс-басиста группы произвести на свет ребенка было просто гениальным. Так у него появился законный повод никуда не ехать. Не хочу никого обидеть, но, на мой взгляд, ударные Микаэля — это единственное, что спасает группу от полного фиаско. Он отлично держит ритм, играет энергично, но достаточно сдержанно, со вкусом, позволяя себе выделяться лишь в строго определенные моменты, ну и еще когда это требуется, чтобы заглушить полную бездарность кого-то из музыкантов. Лично мне кажется, лучше бы он солировал без остановки, поскольку тексты песен, увы, пишет сам солист

Антон. Делает он это так: наугад подбирает слова, а потом изрекает их так, будто это самые мудрые фразы на белом свете.

Вот отрывок из песни «Капитализм» из «Stuff»:

I went to the library
Yeah, I said the library
You heard me
I said are you feeling me
Capitalism, it's so negative
Yeah that shit — bad
I bought your heart today
But not at the library
I bought it with capitalism
It wasn't yesterday
It was today

Fuckers![9]

Барабаны соло
Гитара соло (+ барабаны соло)
Бас соло (+ барабаны соло)

Did you hear me
I said read a book baby
Or you can't fuck me baby
Go to the libra-reeee
Did you hear me
Yeah
Hahaha[10].

---

[9] Примечания: 9

Я шел в библиотеку,
Да-да, в библиотеку,
Слышала мои слова?
Сказал я: «Чувствуешь меня?»
От капитализма один негатив,
Капитализм — сплошное дерьмо,
Сегодня купил твое сердце
Не книгами —
Капитализмом,
Не в прошлом,
А сейчас (…) (англ.)

[10] Примечания: 10

Слышала, что я сказал?
Садись-ка ты за книжку,
Иначе нам с тобой не быть,

В библиотеку-у-у-у-у!
Слышишь?
Дааа!
Ха-ха-ха-ха (англ.)

* * *

Собраться решили в районе Сласкен. Это самая противная часть реки. Обычно там все останавливаются по дороге из бара, чтобы плюнуть, а некоторые, я видела, и того хуже! Микаэль, верный себе, пришел первым: ему нравится приходить раньше и потом ворчать на тех, кто якобы опаздывает. Его маманя с мачехой привезли барабаны; мачеха привязала к крэшу маленький пакетик с бутербродом. На оберточной бумаге аккуратными буквами было выведено «МИКАЭЛЬ», чтобы никто не подумал, что бутерброд (или крэш?) принадлежит другому участнику группы.

— Как дела? — сказала я.

— А, — махнул рукой Микаэль; он считает, что совсем необязательно каждый раз узнавать, как дела.

— Красивый свитер, — заметила я.

— Правда, — отозвался Микаэль, — тут на нем пятно.

Он как раз показывал мне пятно, когда появился Антон. Антон мой самый нелюбимый член группы, потому что он солист. На нем была куртка такая новая и свежая, что аж скрипела, а гитару он нес так, словно это был священный сосуд.

— Как дела? — улыбнулся Антон одним уголком рта.

В его семье все сплошь профессора и художники, поэтому он считает, что искусство — вполне себе профессия и что у него есть дар, достойный того, чтобы осчастливить им мир.

Дар оказался у него с собой. Это была ослепительно красивая женщина, высокая, темноволосая, с характером и статью. Ей достаточно было взглянуть на Микаэля, как он тут же закашлялся. Антон умно поступил, просто приведя ее с собой; если бы он упомянул заранее, что с нами поедет еще один пассажир, мы бы отказались. А теперь она стояла перед нами, такая высокая во всех отношениях. Мы тут же поняли, что с эволюционной точки зрения не имеем права считать, будто ей не стоит ехать с нами.

Я искренне обрадовалась, ведь у меня так мало друзей, которые нравятся сами себе. Поэтому я протянула руку.

Богиня пожала мою ладонь, как будто это была какая-нибудь ледышка, вяло и незаинтересованно.

— Дайя, — представилась она.

— И куда мы ее посадим? — проворчал Микаэль у меня за спиной. Я подумала то же самое.

— С другой стороны, — прошептал Микаэль, — хорошо, когда в автобусе есть новенькие, они-то не знают, какие места хуже всего. Там, в середине, где больше всего дует из кондиционера, или сзади справа, где выше всего риск погибнуть, если автобус перевернется, потому что на тебя попадают все вещи.

— В середине не садись, замерзнешь от кондиционера. Справа в заднем ряду тоже, иначе погибнешь первая, — тут же транслировал Антон.

Он открыл Дайе дверь, и она милостиво расположилась посередине в переднем ряду, а сам он плюхнулся рядом, на лучшее место — в первом ряду у двери.

Микаэль развернул бутерброд. Никто, кроме меня, не видел, как он вынул из бутерброда кусочек сыра с плесенью и размазал его по гитарному чехлу Антона.

— Поехали! — крикнул Пижон, открыл пиво и уютно устроился под боком у Хуго на заднем сиденье.

Пока мы ехали, разговор вначале зашел о Господе нашем Иисусе Христе.

— Я вот о чем подумала, — сказала я. — Хотя среди моих знакомых почти нет верующих хри-

стиан, мы все равно ведем себя по-христиански. Живем если не по Библии, то, по крайней мере, как учил Лютер.

— Что ты имеешь в виду? — спросил Микаэль. (Он никогда не упустит возможности завязать хороший разговор, за это я его и люблю.)

— Ну, в церковь мы не ходим, называем себя атеистами, но все наши бабушки и дедушки были религиозны. Поэтому они воспитали наших пап и мам на основе церковных истин, — пояснила я. — И пусть теперь нашим родителям нет дела до христианства, они воспитали нас в том же духе. Поэтому мы ведем себя по-христиански, хотя сами набожностью не отличаемся.

— Продолжай, — попросил Микаэль.

— Ну, вся эта тема, что надо быть верным и отважным, никогда не унывать, но при этом не высовываться.

— А, ты об этом, — сказал Микаэль. — Так это же просто здравый смысл.

— Да, но когда бабушка так поступала, на то была особая причина: она верила, что будет вознаграждена в загробной жизни. А мы не верим в царство небесное и все равно стараемся не унывать безо всяких причин, — сказала я.

— Мой папа рассказывал, что в его детстве

нельзя было свистеть по воскресеньям, — вставил Пижон.

— А по субботам? — спросил Микаэль.

— По субботам можно, — сказал Пижон.

— А в моей семье такого не было, — подключился к разговору Антон.

— Чего? — спросила я.

— В моем роду. Не думаю, чтобы кто-то из наших был религиозен, — сказал Антон. — Я себя не могу даже соотнести с христианством. Все это выдумки. Люди — идиоты.

— Конечно, — согласилась я. — Религия вовсе не о том, что существует. А о том, что нам необходимо. Причина. Направление. Свод правил. А нам — мне, Микаэлю и Пижону — религия не нужна, потому что у нас уже есть и правила, и вектор в жизни.

— И что же за вектор такой? — поинтересовался Микаэль.

— Работать, пока не помрешь, — сказала я.

Тут все замолчали, обдумывая сказанное и глядя в окно, пока микроавтобус, пыхтя, катился по E4.

Мы решили проехать вдоль Высокого берега. Такая роскошь — видеть всю эту невероятную красоту, мы даже засомневались, достойны ли

мы такого.

— На этом фоне чувствуешь себя уродцем, — произнес Пижон.

Потом мы заговорили о лесе.

Я рассказала о том, что со мной происходило в последнее время, а именно что я начала ощущать лес как необходимость, как потребность в еде, сексе или сне, и случилось это совершенно неожиданно.

— Однажды я собиралась в город, но тело само свернуло налево, не докладывая голове почему. А там был лес. Я развела небольшой костер, сидела и смотрела на огонь, никак не могла насмотреться. Так и осталась в лесу на весь день.

— Я воспринимаю лес как часть тела, — заметил Пижон. — Без него как без ноги, например. Нет, скорее без печени или без кишечника, или сердца. Это не то, с чем мне лучше, а то, без чего я не могу. Поэтому я никогда отсюда не перееду.

К этому моменту Пижон уже начал прихлебывать пиво, поэтому во всех его словах сквозила сентиментальность.

— Ну уж никак не печень, — возразил Хуго. — Это скорее как гены, с которыми ты родился и которые тебе не нравятся, папины уши и мамин высокий лоб. Ты о них не просил, но они у тебя

есть и приходится с ними жить.

Певучий финляндский шведский выговор Хуго приятно убаюкивал.

— Продолжай говорить о лесе, — попросила я.

— Неужели ты уже набрался, Пижон? — сказал Микаэль. — Меньше двух часов прошло. Наш дух еще витает над рекой.

Потом все молчали, пока не заговорила Дайя.

— Я не согласна, — сказала она.

— С чем именно? — поинтересовался Антон.

— Когда мы говорили о религии, — пояснила Дайя. — Вы ничего не понимаете. Бог — он во всем, взгляните направо.

Мы все посмотрели направо, а там — природа во всей своей красе, с зеленью, горами и водой.

Мы плохо знали Дайю, поэтому спорить не решились. Бывает, встречаешь человека и инстинктивно понимаешь, что он знает больше, чем ты сам, поэтому не высовываешься. И вот тогда, в горах, я ощутила присутствие Бога и клянусь: все почувствовали то же самое.

Недалеко от Уппсалы мы сняли дом, очень дешево. Там все было прекрасно, например, Микаэлю пришлось спать в детской кроватке после того, как мы измерили, у кого из нас самый

маленький рост. Вечером мы сидели во дворе под звездами, мерзли и пили. Антон попытался достать гитару, но Микаэль вскочил в знак протеста.

— Нельзя же так перегибать палку в создании атмосферы, беспредел какой-то, — сказал он.

* * *

В Мальмё мы ждали парома на Травемюнде. И вот что я видела: Дайю и солнце, льющееся на ее темные локоны, ее длинные ноги, тянущиеся к воде. Антона, сидящего рядом, но не слишком близко; он то и дело посматривал на нее, стоило ей только отвернуться, с таким выражением лица, будто весь мир принадлежит ему только потому, что здесь находится Дайя, и она вот такая, и все это видят.

Мое сердце наполнилось грустью, и я ее приняла.

Что-то было в этом образе, что у меня напрочь отсутствовало и с чем я никогда не соприкасалась. Эстетический куш. Когда твое естество подобно бокалу вина или чашке кофе, чего очень хочется отведать, и ты на физическом уровне возносишь жизнь другого человека одним лишь своим видом. Когда другой человек испытывает

гордость уже от того, что стоит с тобой рядом.

Когда ты знаешь, что у тебя это есть, как крепкая валюта.

У меня такого никогда не было. А если бы и было, я бы никогда не поверила, что оно у меня есть.

Слева: Пижон уминает фокаччу, потому что на гастролях он, видите ли, перестает быть веганом.

* * *

Паром шел всю ночь, а значит, можно было оттянуться. Оттянуться означало, что Антон и Дайя забронировали столик в шикарном ресторане, а мы, остальные, ели белый хлеб с майонезом и маффины, а потом бродили по магазину Tax Free. Пижон купил невероятное количество сигарет, которые они с Микаэлем без конца курили на палубе.

— Ах, море, — произнес Пижон, втягивая в легкие побольше ядовитого дыма.

Море выглядело черным и враждебным. Я купила трехлитровую коробку немецкого вина, и чувства мои обострились. Разговор зашел о любви.

— Боже мой, как же я скучаю по Маттиасу, — сказал Хуго, который обычно предпочитал

молчать. У него дома остался ребенок, маленький толстопузый флегматик со стрижкой под горшок.

— Боже мой, как бы мне хотелось, чтобы мне было по кому скучать, — ответила я и тут же заметила, как Микаэль слегка отстранился от меня; это такая обратная реакция: он понимал, что должен как-то поддержать лучшую подругу в минуту ее слабости, и так разнервничался, что вместо того, чтобы податься ближе, отступил на шаг назад. Но я знаю Микаэля как облупленного, и снаружи, и изнутри, я поняла, что он хотел как лучше, поэтому почувствовала себя чуть менее одинокой, а Хуго дружеским жестом положил руку мне на плечо.

— Знаете, в какой момент я осознал, что Лиза — моя судьба? — спросил Пижон. — Когда она отругала меня так, что стало ясно — она продолжит в том же духе. Я понял, что она никуда не собирается уходить. Как будто вложила четыре миллиона в объект, подлежащий реновации, и теперь реально возьмется за дело. Начнем, к примеру, с кухни: она, конечно, в ужасном состоянии, зато подо всем этим дерьмом хороший деревянный пол. Вот так я ощущаю себя с ней.

— Но Пижон, это звучит чудовищно, — сказала

я. — Рядом с ней ты ощущаешь себя объектом реновации.

— Ты меня просто не слушаешь. Она заставляет меня поверить, что в основе — хороший деревянный пол. Я сам его не могу нащупать, а она смогла.

Разговор перемежался долгими паузами. Кто-то что-то произносил, потом мы молчали и смотрели на море. Было зверски холодно, зато ощущался вкус свободы. Я почти не видела лиц остальных, и оттого было легко: не надо волноваться, как они отреагируют. Хорошая возможность опробовать новые мысли.

— А я никогда такого не испытывала, — призналась я. — Такого чувства, что отношения — это всерьез и надолго. Мне кажется, от меня исходят какие-то неправильные сигналы. По-моему, я произвожу впечатление человека надежного, спокойного, способного позаботиться о других. Особенно на стокгольмцев: они думают, что диалект — это признак стабильности. Так что я притягиваю одних только психов. А мне хочется, чтобы кто-нибудь позаботился обо мне.

Тут народ заволновался. Все мужчины, которых я знаю, поддерживают борьбу за права женщин, и это логично: они исходят из того, что женщины

намного сильнее мужчин — мужчины вносят свой вклад за счет физической силы, но что касается планирования, заботы и вообще жизни, тут вся власть принадлежит женщине. Мой круг общения напоминает пчелиную семью, где каждый парень видит себя трутнем. Им нравится, когда их привлекает к работе и вписывает в общество высоко организованная матка. А сами они предпочитают принимать жизнь такой, какая она есть, жить сегодняшним днем, сидеть в трусах и играть в компьютерные игры, пока какая-нибудь сильная женщина не рявкнет на них, чтобы они занялись спортом или вынесли мусор. Тогда они, внешне недовольные, но с ликованием в сердце, начинают двигаться. Вот почему выражение *«сильная женщина»* всегда вызывает у меня ощущение, будто на шее затягивается петля.

— И все-таки ты достаточно заботливая и сильная, — выдавил из себя Микаэль, для которого вся картина мира базируется на приведенных выше рассуждениях.

— Пришлось научиться, но мне это совсем не нравится, — возразила я.

— Ах, море, — повторил Пижон с напряжением в голосе.

Хуго было вообще все равно. Я видела, как он

набирает сообщение своей девушке: *«Пришли фотографию Маттиаса»*. Обнаружив, что связи на пароме нет, он сказал:

— Пойду-ка я ложиться. Мне завтра первому за руль.

Мы с Микаэлем и Пижоном остались стоять, всматриваясь в бесконечность.

— Как ты думаешь, можно купить камень из Берлинской стены? — спросил Микаэль.

Я думала об Антоне и Дайе, которые сейчас наверняка занимались любовью, их тела тесно прижимались друг к другу в каюте повышенной комфортности.

* * *

Первое выступление было запланировано в Берлине. Антон чувствовал себя в этом мегаполисе как дома и, видимо, раструбил во всех социальных сетях, где мы находимся. «Drinking beer in Kreuzberg!!!», «Gig tonight at The Garage!!!», «Band hyped 4 gig tonight at the Garage!!!»[11] Последний текст сопровождался фотографией нашей усталой банды за завтраком в обшарпан-

[11] Примечания: 11

Пьем пиво в Кройцберге!!! Сегодня вечеринка в «Гараже»!!! Сегодня в «Гараже» четыре музыканта нашей группы на хайпе!!! (*англ.*)

ной кафешке недалеко от парома. Микаэль сидел отвернувшись, я вообще в кепке. Прежде чем выложить фото, Антон подозрительно долго возился с фильтрами. Пижона он вырезал полностью с помощью функции редактирования.

Антон настоял на том, чтобы в ожидании саундчека зайти в Музей ГДР. В музее ему очень хотелось выдать нам все известные ему факты, хотя мы осматривали экспозицию с экскурсоводом.

— О, классический «Трабант», выпущенный в бывшей ГДР, — сказал он.

Одновременно с этим экскурсовод произнес:

— Здесь вы видите классический «Трабант», выпущенный в бывшей ГДР.

Антон вошел в раж: ему непременно нужно было успеть рассказать все, что он знал, до того, как экскурсовод скажет то же самое.

Микаэль считал, что ГДР — это классно, он ненавидит делать выбор. Для него идеально, когда на столе печенье только одного сорта. Он с удовольствием потягивал современную версию старого гэдээровского лимонада Natur Soda.

— Не так уж все было радужно, — возразила я. — Тебе бы понравилось, если бы тебе навязывали, какую музыку слушать?

— Группу «Сеньор» в ГДР уж точно запретили бы, — сказал Микаэль, и я с ним согласилась.

— А вот и нет, — воскликнул он через некоторое время. — «Сеньор» ведь против капитализма. Может, это была бы единственная разрешенная музыка. Нам надо переехать в Восточную Германию.

— А вот кусок Берлинской стены, — сказал Антон.

В Берлине витает предательский дух беззаботности, что-то такое, из-за чего нам сделалось не по себе. Перед концертом мы поужинали на смешные тридцать пять крон в ресторанчике под открытым небом, устроенном на чьем-то заднем дворе. Солнце шпарило вовсю, между столами для пинг-понга и цветными фонарями бегали собаки и дети, а каждый из нас пытался придерживаться индивидуальной, выработанной с годами нормы «вот столько кружек пива я могу позволить себе перед концертом, чтобы это не повлияло на мое выступление». Для меня это, к сожалению, всего лишь кружка с четвертью. Лично мне казалось, что концерт перед тремястами вдрызг пьяных сорокапятилетних мужиков в спортивных шортах не требует идеального чувства ритма, но Антон ясно дал нам понять,

что ожидает от нас полной выкладки, потому что на мероприятии могут присутствовать люди из разных звукозаписывающих компаний.

— С чего бы вдруг им приходить на наш концерт? — сказал Микаэль.

— Я разослал им альбом Stuff3 и написал, что, если им нравится услышанное, пусть приходят сегодня вечером в The Garage, — объяснил Антон.

— Значит, если им понравится, они придут, — произнес Микаэль нейтральным тоном и заказал себе еще два пива.

По ходу дела я стала замечать, что Дайя все чаще избегает сидеть рядом с Антоном. Сначала она тянулась к Хуго, что неудивительно, ведь Хуго самый душевный человек во всей Швеции и Финляндии. От него исходит столько же тепла, сколько от бабушки из мультика. Но постепенно она начала прислушиваться и к тому, что говорим мы с Микаэлем, время от времени она смеялась над нашими шутками, и мы чувствовали себя королями. Дайя была не из тех, кто хихикает из вежливости.

Разумеется, у Дайи в Берлине жил друг, и вот теперь он возник вместе со своей компанией, и все они выглядели как арт-директора с вампир-

скими интересами.

Мы с Микаэлем ненавидим говорить по-английски, поэтому мы отвернулись и болтали о своем.

— Блин, как же все-таки здорово ездить в турне, — сказал Микаэль.

— Надо бы нам возродить «Личный бренд». Мне его не хватает.

— Мне тоже! Слушай, мы же можем в этот раз использовать автонастройки.

— Хорошая идея, — согласилась я.

— Петь будешь ты, — произнесли мы хором, указывая друг на друга.

Больше мы об этом не говорили, а вместо этого слушали, как Пижон общается с немецкой фотомоделью, подстриженной под горшок. Он рассказывал ей о кассах самообслуживания.

Я обратила внимание на то, что один из вампиров пытается поймать мой взгляд. Я бы никогда даже не посмотрела в сторону человека, который потратил столько времени на свою внешность. Ведь он наверняка требовал бы от меня того же.

* * *

Клуб The Garage оказался очень немецким заведением: большим, старым и гостеприимным,

прокуренным и уютным одновременно. Он был больше, чем я себе представляла, и тут же напомнили о себе мои старые знакомые — слабые нервы. Они объяснили мне, что мне не место на сцене в Берлине, напомнили, что я интроверт, что другие женщины моего возраста сидят дома с мужем и детьми, что я никогда не училась музыке, что играю я слишком прямолинейно и неровно и что среди публики наверняка найдется человек, который мне все это выскажет. Поэтому мне было приятно встретиться в гримерке с Микаэлем и подзарядиться порцией юмора, от которого всегда становится легче.

— Ну вот, опять выходить на сцену и выглядеть там жирной коровой, — сказала я ему.

— Такой старой, что народ удивится, что ты вообще тут делаешь, — подхватил Микаэль.

— Да они в шоке будут оттого, что такие древние старики могут двигаться, — продолжила я.

— Как только ты выйдешь на сцену, половина слушателей сразу же разойдется по домам, — сказал Микаэль.

— А когда ты поднимешься на сцену, интернет просто взорвется. Они будут писать: ну как можно быть таким страшным? У тебя появится свой мем, просто твое лицо крупным планом. Текст

уже не нужен.

Довольные, мы громко рассмеялись.

Тут Антон со вздохом поднялся.

— Как вы меня утомили. Хватит! Вы потрясающие. Микаэль, ты играешь как машина. МАШИНА! А ты, Сири, звучишь… очень хорошо. Меня, признаться, расстраивает такое отношение. Давайте лучше подбодрим друг друга. Мне обидно, что вы портите весь настрой.

Мы с Микаэлем уставились друг на друга. Потом на Антона. Микаэль вышел, а я взяла себе пива. В гримерке стало тихо.

Я сходила в туалет, постояла у зеркала. В голове проносились разные реплики, которые мне хотелось выкрикнуть Антону:

«Тебе этого не понять.

Ты выпрос в этой среде и считаешь, что стоять на сцене — это совершенно нормально и даже каким-то образом приносит пользу обществу.

Когда у тебя нет возможности работать с музыкой, ты приходишь в ярость, считая, что государство обязано обеспечить тебя работой, чтобы ты мог дарить культуру людям.

Каждый раз, стоя на сцене, я думаю, почему не занимаюсь вместо этого чем-нибудь настоящим.

А то стоишь и притворяешься важной персоной.

Музыка и поэзия должны быть вишенкой на торте после тяжелого рабочего дня. Должны помогать, вносить свой вклад.

Я не считаю, что культура может быть работой.

Иначе получается несправедливо.

Для меня невыносима мысль, что я тут в Берлине играю в клубе на бас-гитаре, пока другие заботятся о больных».

Потом я выпила еще один стакан пива и услышала, как немец, владелец клуба, прошептал, что скоро пора.

Концерт подходил к концу, все шло неплохо. Правда, Антон устроил одну не очень комфортную штуку, заставив людей подпевать, бесспорно, худшему синглу из последнего альбома, Scumbag Circus.

— *А сейчас…* (барабанная дробь)

Мы исполним последнюю песню…

(нескромное ожидание разочарованных кри-

ков, которые, кстати сказать, последовали в большом количестве)

… песню о жадности…

Мы сталкиваемся с ней повсюду…

Люди используют других…

Знаете, как я их называю…

Знаете…

Ублюдками, вот как я их называю…

А знаете, как я называю мир, в котором мы живем…

Я называю его цирком… ублюдков! (победный голос)

(усталое соло на гитаре от Пижона)

Тут Антон махнул рукой в сторону публики слева:

— Эта сторона кричит «Цирк!»

Он побежал вправо:

— А вы кричите «Ублюдков!»

А потом начал размахивать руками, призывая публику скандировать:

— Цирк! Ублюдков! Цирк! Ублюдков! Цирк! Ублюдков!

Зал просто взорвался криками.

Это был, наверное, худший момент в моей жизни. Пока Антон не настоял на том, чтобы представить нас по одному, так что мое имя еще

и прозвучало со сцены.

Представив всех участников концерта — я заметила в зале немало камер и ощутила, как во мне нарастает страх попасть в ютьюб, — он запел:

My baby's got a problem

She ain't gonna put up with this SHIT

My baby's no fool

She's not gonna pay no ticket to go to this: Scumbag Circus!

No she's not and she's not gonna pay the wardrobe fee, either[12].

«*Either*» он спел на октаву выше, почти выкрикнул.

Я взглянула на публику, народ вовсю танцевал и наслаждался жизнью. Наверное, они все обкурились. Дайя стояла слева, держась за голову. Ей явно было стыдно. Я поймала ее понимающий взгляд и чуть не захихикала.

Позднее я узнала, что представители одной

---

[12] Примечания: 12

У цыпы моей проблема,
Ей не справиться с этим ДЕРЬМОМ,
Но цыпа моя не дуреха,
Не заплатит она за билет, чтоб пойти в цирк ублюдков!
И налог на тряпки свои не заплатит тем более. (англ.)

звукозаписывающей студии все-таки присутствовали на концерте.

Эти представители решили, что Антон звезда, и были правы. Просто они вкладывали в это слово иной смысл, нежели я. Они пришли к нам за кулисы со своей похвалой и напитками, Антону досталось первое, остальным — второе.

— *Stuff3* — определенно лучшая демоверсия за последнее время, нам давно такого счастья не выпадало, — сказала по-английски девушка из студии и улыбнулась во весь рот.

— И мы хотели бы обсудить это подробнее. Может быть, завтра?

— Завтра! — воскликнул Антон, тоже по-английски. — Завтра подходит. Мне прийти к вам в офис?

Нас он даже не спросил, хотим ли мы пойти с ним, а также ни словом не обмолвился о том, что мы собирались выехать как можно раньше, чтобы не гнать всю дорогу до Мюнхена.

* * *

Наконец, ближе к обеду, мы выехали. Хуго предложил сесть за руль первым, но веселый низкорослый веган по имени Юрг, с которым Пижон познакомился на афтерпати, предложил довезти

нас до Мюнхена, если мы возьмем его с собой бесплатно. Он оказался заядлым трезвенником, к тому же сто раз ездил по автобану с его бешеным движением, поэтому мы радостно согласились. Микаэль сел впереди, чтобы болтать с Юргом и не давать ему уснуть, а я методично благодарила Юрга каждый час, стыдясь, что чужому человеку приходится везти нашу неопохмелившуюся компанию.

Хуго с Пижоном сидели сзади и переругивались. Они познакомились, когда Хуго еще учился в школе, поэтому их дружба больше походила на братские отношения. Сейчас речь шла о том, что Пижон наступил на ботинки Хуго, когда выходил из душа, и они до сих пор не высохли. Хуго считал, что Пижон мог бы вытереться сразу после душа, а не ходить мокрым и голым, пока сам не высохнет. Пижон возражал, говоря, что Хуго не следовало ставить свою обувь на проходе.

— Не на проходе, а у двери, — сказал Хуго. — Я уже не могу свои ботинки у двери оставить: вдруг тебе заблагорассудится мокрым походить.

— Можно подумать, я один что-то делаю не так, — сказал Пижон. — Могу выдернуть первый попавшийся пример наугад. ЛОТТА ФИЛИПССОН!

— Это было пятнадцать лет назад. И нельзя сказать, чтобы у вас что-то намечалось. Она ведь уже встречалась с этим, как его, из Вэннеса.

— С кем? — спросил Пижон.

— Ну, с тем чуваком из группы «Отходы», — ответил Хуго. — С братом того чела, спринтера.

— А, того, со стрижкой под горшок? А разве он не из Вильхельмины?

— Нет, я имею в виду того, который насрал на пол на вечеринке у Марии Робертссон.

Антон молчал. Он сидел у окна в среднем ряду и притворялся, что спит, накрывшись курткой, но я видела, как его телефон светится сквозь ткань. Я разговаривала с Дайей. Она рассказала, что учится в меде, но до этого сменила несколько художественных школ. Когда она говорила о разных медицинских курсах, вся ее фигура выдавала заметное оживление. Много сложных слов, произнесенных слишком быстро, — я ничего не поняла.

— Посиди смирно, — попросила она, открывая блокнот и доставая карандаш. — Ты такая красивая в этом свете. Я тебя нарисую!

Она произнесла это с мягкой улыбкой. На переднем сиденье Микаэль с Юргом пытались общаться на ломаном английском. Никто, кро-

ме меня, не слышал, что она сказала. Мое лицо никак не могло соответствовать ее словам, я никогда ничего подобного не слышала. Все это мне не подходило, ее речь, ее комментарий не вписывались в мою жизнь, и все-таки я обрадовалась. Подумала: наверное, она такой опытный художник, что понимает — мне надо сказать именно такие слова, чтобы на лице отразилась резкая перемена. Я знала, что никогда не забуду эту минуту. Я сидела неподвижно. Как пятилетний ребенок, которому пообещали конфетку, если он будет хорошо себя вести.

Через несколько минут она сказала, что все готово, и показала небрежно выполненный карандашный набросок какой-то иконы. Я подумала, что с ее стороны жестоко так меня приукрашивать. Если бы девушка на рисунке была в два раза уродливее, я бы еще могла поверить, что на самом деле так выгляжу.

— Красиво, — сказала я.

— Потрясающе, — тут же встрял Антон, высунув голову из-под куртки. — Ты так здорово владеешь карандашом. К тому же тебе удалось поймать эту черту в Сири, что-то такое суровое.

Тут мы с Дайей обе взбесились. Дайя — потому что он сказал очевидную чушь. А я не только

потому, что меня обозвали суровой, заставив почувствовать себя сварливой тетушкой из какого-нибудь старого мюзикла, но и потому, что он ни одну ситуацию не оставлял без оценочных прилагательных и наречий, все происходящее обязательно облекалось в слова. Навязчивое желание Антона описать каждое запоминающееся мгновение намертво сковывало все эти моменты, и, как бы ни были многогранны пронизывающие эти мгновения чувства, они тут же исчезали.

Что мне нравилось в Дайе, так это ее невероятная медлительность. Эта черта причудливо контрастировала с ее образом, идеально вписывающимся в современное общество. Ей нравилось все делать аккуратно, поэтому любое действие занимало определенное время. Когда мы уезжали из съемного дома, она предложила помыть окна микроавтобуса и отдраила каждый уголок, хотя в этом не было никакой необходимости, я успела прочесть за это время три главы из книги, а Пижон — дважды сбегать в туалет. Мы договорились встретиться в фойе после завтрака; все быстренько закинули в себя яйца с апельсиновым соком, а Дайя после каждого откушенного кусочка клала приборы на стол и неторопливо намазывала масло на хлеб, будто была не способна ускориться.

Через некоторое время это стало шуткой: всякий раз, как Дайя собиралась что-то сделать, Микаэль нажимал в воздухе воображаемую кнопку ускоренной перемотки.

Теперь, после комментария Антона, чувствовалось, что Дайя сейчас выскажет ему все, что думает, но сначала она аккуратно засунула карандаш в отдельный кармашек рюкзака, согнула блокнот и убрала его в специальное отделение.

Пижон в свою очередь вынул из пачки горсть чипсов с паприкой и с интересом подался вперед, словно приготовившись смотреть новую часть «Звездных войн» в 3D-формате.

— Боже мой, — начала Дайя. — Нельзя же говорить девушке, что у нее суровые черты лица. К тому же у нее они не такие, это все твой патриархальный троллинг. Иногда тебе лучше помолчать.

— А что такого, — пробормотал Антон смущенно и взволнованно, но все еще игривым тоном. Было заметно, что он пытается разрядить обстановку, обратив ситуацию в обычную шутку, каких много бывает в дороге.

— А еще ты ничего не понимаешь в искусстве, так что не надо комментировать, как я держу карандаш. Я, черт возьми, училась в Академии

художеств. И о бывшей ГДР ты ничего не знаешь, так что хватит умничать.

— Я смотрел документальный фильм, — робко возразил Антон.

И голосом, и жестами он как будто пытался создать отдельное пространство для себя и Дайи, отгородиться от остальных. Он повернулся к ней, закрываясь курткой как стеной. Однако с ее стороны пространство оставалось открытым, и другие пассажиры могли свободно созерцать происходящее.

— Прости, дорогая. И ты прости, Сири. (Косой взгляд в мою сторону.) Я сегодня немного не в себе. Есть причины.

— Какие причины? — заинтересовалась Дайя, да и все остальные, включая Пижона с его чипсами. Его лицо вдруг возникло между Дайей и Антоном, из-за чего ссора приобрела карикатурный оттенок.

— Останови, пожалуйста, на ближайшей заправочной станции, — с достоинством попросил Антон Юрга по-английски с подчеркнутым американским акцентом.

Юрг кивнул, а потом повисло долгое молчание, настолько долгое, что постепенно оно перестало всех смущать, а затем и вовсе стало комфортным.

А потом показалась заправка и мы остановились. Дайя с Антоном стояли у столика для пикника и орали друг на друга, а все остальные сидели в двадцати метрах от них и жевали хлеб.

— Это у «Сеньора» такая традиция — ругаться в автобусе, или сегодня премьера? — спросила я.

— Вот так, в открытую, — нет, — ответил шокированный Пижон.

— Обычно мы говорим что-нибудь обидное, а потом маринуем обиду в тишине до самого концерта, а после напиваемся и обо всем забываем, — пояснил Хуго с ухмылкой.

— Знакомо, — сказала я.

— Посмотрите, как непринужденно она себя чувствует, — восхищенно заметил Пижон, и мы все взглянули на Дайю; в ее глазах не было ни мягкости, ни агрессии, одно лишь достоинство. Одетая в шорты и свободный топ, она держалась словно адвокат из какого-нибудь американского сериала.

— Красивая и — о! — какая сердитая женщина, — с уважением произнес Юрг по-английски.

Микаэль отошел подальше, он плохо переносит тревожные ситуации. Я догнала его и начала дразнить, крепко обнимая и говоря: «Ну-ну, малыш, все обойдется». Я ощущала, как его худенькое

озлобленное тело, напряженное до предела, в панике отталкивает меня. На какое-то мгновение мне показалось, что оно готово сдаться, но тело тут же напряглось вновь.

Когда мы снова сидели в автобусе, я заметила, что на всех, кроме Дайи, произошедшая сцена произвела крайне негативное впечатление: мы все думали, каково это — поссориться с единственной причиной того, что ты вообще едешь в этом автобусе, но она все равно заняла лучшее место и принялась усиленно зубрить устройство разных типов нервной системы. Антон сел сзади. Хуго — рядом с ним. В отличие от нас всех, Хуго добрый человек.

Я открыла ноутбук и начала писать тексты. Столько образов и мыслей проносилось у меня в голове.

— Отлично, — похвалил меня Микаэль. — Если мы хотим, чтобы «Личный бренд» выпустил еще один эпичный альбом, который никто не будет слушать, автору песен лучше не расслабляться. Вперед, за работу.

— Ты что-то хотел сказать, — произнесла я.

— Забыла о нашем разделении труда? — отозвался Микаэль. — Ты у нас человек, которому есть что сказать. А с меня бочка на четыре чет-

верти.

— Я буду писать от лица мужчины, — сказала я. — Так что петь придется тебе.

— Помнишь, что в последний раз вышло из моего пения? — захихикал Микаэль.

Последний раз «Личный бренд» выступал почти год назад, на благотворительном концерте в пользу детей-беженцев. Хотя нам было стыдно за то, что детям-беженцам, которым столько всего довелось пережить, придется нас слушать, мы согласились участвовать, вспомнив заветы апостола Петра. Группа «Личный бренд» выступает только в полнейшей темноте, благодаря чему достигается непринужденная атмосфера. Правда, всякий раз у кого-нибудь из слушателей случается приступ паники и его приходится выводить из зала, подсвечивая путь фонариком.

У нас была песня под названием «Тебе смешно, а мне обидно», с нее-то мы и решили начать, поскольку она строится на трех китах «Личного бренда»: барабаны, текст и агрессивный настрой. Там вместо пения в основном речитатив. Нет, не рэп. Так как «Личный бренд» все композиции исполняет в унисон, Микаэлю приходится заучивать мои тексты наизусть, и обычно с этим проблем не возникает. Но в тот раз он сильно

разволновался, и когда я затянула:

Тебе смешно, ведь ты лежишь,

Тебе смешно, ведь ты идешь,

Тебе смешно, ведь ты не ждешь, что жизнь без пенделей пройдешь и не получишь в морду, как Паоло Роберто в восемьдесят третьем.

У Микаэля случился блэкаут, но как верный друг он не хотел бросать меня одну с микрофоном. Поэтому он начал выкрикивать случайные нечленораздельные звуки, в основном гласные, больше его загнанный в угол мозг ничего выдать не мог. Потом народ из публики рассказывал, что это непередаваемое ощущение — стоять в полной темноте и слушать, как испуганный голос кричит «У» на разные лады, явно заглушая робкий женский голос (мы не успели проверить звук перед выступлением). Когда зажгли свет, в зале оставалось три человека, все дети-беженцы разбежались.

С тех пор «Личный бренд» лежал на полке и пылился.

Тут вдруг подала голос Дайя.

— О, я обожаю «*Тебе смешно, а мне обидно*»! — сказала она.

И начала декламировать:

Тебе смешно, ведь ты шагаешь по бульвару,

Тебе смешно, ведь ты на выборы идешь,

Тебе смешно сказать, заказывая пиццу: мне побольше пекорино и пекана, руколы и голд дублона, уберите шампиньоны, маргарин, томатный соус и добавьте лучше соус из оливкового масла, органический и чистый, от поставщика.

— Это так *обалденно* круто! — сказала Дайя.

Мы с Микаэлем дар речи потеряли. Как будто кто-то взял нашу занюханную губку для посуды и отмыл ее до состояния шелка.

— Ты знаешь текст! — пропищала я.

— У нас есть слушатель! — пропищал Микаэль.

Тут подключился Пижон: он начал подпевать Дайе, у него оказался неожиданно красивый голос, чистый бас, приятно контрастировавший с его гадкой наружностью.

— Тебе смешно, ведь жизнь продолжается, и продолжается, и продолжается, и продолжается, и продолжается, и продолжается.

Это было потрясающее мгновение. А потом мы приехали в Мюнхен.

* * *

В Мюнхене странная атмосфера сохранялась. Антон по-прежнему молчал. Но мы ничего про-

тив тишины не имели. Мы могли есть молча. Пить молча. Сидеть рядом, уткнувшись каждый в свой телефон или книгу. Мы молча бродили по улицам Мюнхена, заглядывали в маленькие магазинчики, где Дайя и Хуго выбирали этичную одежду из интересных материалов. Все это в полном молчании.

Настраивать аппаратуру в тишине невозможно, но мы сделали это быстро и эффективно. Когда настало время выходить на сцену, я почувствовала, что молчание что-то сотворило со мной. Обычно мне тяжело играть после полноценного дня общения, приходится взбадриваться алкоголем, а сейчас я ощущала прилив энергии. У меня даже остались силы немного подвигаться под удручающее бас-соло в песне Ayn Rand's Socialist Grandma. Это единственный фрагмент в песнях «Сеньора», где басист может хоть как-то проявить себя. А вот Антон казался рассеянным и вялым, никаких приемчиков, никакого ныряния со сцены. Он ни разу не направил микрофон в зал и даже не разделся до пояса. Нам, честно говоря, не хватало вчерашнего цирка с «Цирком ублюдков». Время от времени Пижон пытался расшевелить Антона, даже попробовал его любимую штуку, когда два гитариста играют, стоя спиной к

спине. Остальным пришлось попотеть: мы вдруг оказались вынуждены думать, что мы делаем, поддерживать драйв. Даже Микаэль в какой-то момент привстал. В целом вечер получился хуже: погода не такая хорошая, в помещении духота, публика более пьяная и менее заинтересованная. Они бросали на сцену банки из-под пива, как будто надеясь, что произойдет что-нибудь потрясающее, но при этом не желая затрачивать энергию. После выступления мы сразу собрали инструменты и аппаратуру, а не остались пить пиво, как обычно.

Мы уже подъехали к хостелу, когда Антон вдруг открыл рот.

— Я так больше не могу, — сказал он. — Меня гложет одна мысль. Нам надо поговорить. Увидимся в баре через пять минут. Только группа.

Пижон беззвучно присвистнул.

— Интересно, а можно отказаться? — нервно проворчал Микаэль.

Он заказал себе крепкий коктейль в баре.

Мы нашли круглый столик. Дайя и Юрг отправились спать: Юрг — в нашу общую восьмиместную комнату, а Дайя сняла номер в гостинице напротив, пробормотав что-то про ар-деко и

экологические завтраки. А еще она собиралась совершить утреннюю пробежку, чтобы полюбоваться Мюнхеном в лучах восходящего солнца.

Вестибюль хостела был мягким и грязным: мягкие грязные ковры, мягкие грязные кресла, мягкие грязные постояльцы с красными от курева глазами, рассуждающие о том, как долго можно прожить в Болгарии на двадцать пять евро.

Там же сидел и Антон — рослый, мускулистый, в новой куртке из искусственной кожи и с новой осанкой.

Он плакал.

Хуго положил руку ему на плечо.

Проходя мимо, один из мягких постояльцев с дредами воскликнул: «Great show, you guys!»[13] — и, воспользовавшись случаем, сделал селфи с Антоном. Антон на минуту перестал плакать и скорчил мину а-ля Билли Айдол, растянув рот так, что скулы поднялись до самых глаз.

Парень с дредами вышел на улицу и закурил косячок.

Антон сделал глубокий вдох.

— Итак, — начал он. — Все это ужасно печально. Мне правда очень жаль. Это вообще не входило

---

[13] Примечания: 13
Крутое шоу, ребята! (*англ.*)

в мои планы. Но кое-что произошло. Нечто… значительное.

Он снова заплакал. Микаэль принялся нервно стучать по моей ноге под столом, как замученный отец семейства, застрявший в пробке на своей ржавой колымаге с неработающим кондиционером.

Прошло еще минут двадцать пять, прежде чем Антон наконец выдавил из себя, что берлинская студия звукозаписи хочет подписать с группой «Сеньор» долгосрочный контракт. Но у них есть несколько условий. Антон долго не мог объяснить, что это за условия, но мы все быстро уловили их суть.

Первое условие заключалось в том, чтобы группа «Сеньор» переехала на время в Берлин, чтобы поработать с настоящим продюсером. Второе условие сводилось к тому, чтобы подвергнуть группу небольшим изменениям, прежде всего из экономических соображений. Одно из таких изменений — возможность для Антона в дальнейшем записывать песни с другими музыкантами, а другое — вариант дальнейших гастролей с другими музыкантами.

Мы молчали. Постепенно в сознании всплыли все детали, материализовались перед глазами.

Мы вдруг увидели себя глазами ребят из звукозаписывающей студии. Свисающий животик Пижона, радикальные шорты Микаэля, мои попытки накраситься, завершившиеся размазанной по щекам тушью, наклейки с Симпсонами на микшерном пульте Хуго. А с другой стороны мы увидели Антона, с его высокими скулами, его отличной физической формой, его энергией, сочетанием нового с винтажным, идеально подобранной цветовой гаммой и столь же идеально настроенной гитарой, с его педалбордом и неиссякаемой энергией.

— Мне очень жаль, но… — торжественно произнес Антон. — Мне бы этого очень хотелось. Не знаю, что делать. Спать не могу. Может, получится устроить…

Он опять зарыдал. Тихонько поскуливая и закрывая лицо руками. Микаэль запыхтел от смущения. За окнами шумел вечерний Мюнхен. Под окнами курили парни с дредами. У одного с собой было укулеле.

Любой другой группе ситуация, без сомнения, представлялась бы весьма затруднительной.

Но не таков наш «Сеньор».

Поэтому Пижон перебил Антона:

— И всего-то. Как хорошо, что не надо больше

играть эти дурацкие песни. Поздравляю, Антон! Мужик! Рок-звезда!

Тут все бросились хлопать Антона по плечу и обниматься, даже Микаэль обнимался, а Антон достал свою карту Visa и заказал всем пива. Атмосфера была как на кабаньем пиру в конце книги про Астерикса. Микаэль начал приставать к какой-то дурно пахнущей туристке, Антон заставил парня с укулеле подвывать под «Ману Чао», а я, к сожалению, упала со стула и сильно ушибла копчик.

К пяти утра остальные отключились, а мы с Микаэлем пробрались обратно в клуб, код мы запомнили. Микаэль распаковал барабаны, я подключила бас-гитару, мы вырубили весь свет и до девяти утра играли хиты «Личного бренда». По спинам катился пот, а в пустом помещении эхом отдавались ударные Микаэля и наши протяжные крики.

— Этого у нас никто не отнимет, — сказал Микаэль.

— Никто, черт возьми, — согласилась я.

Удивительная получилась ночь.

* * *

Все спали в автобусе до самой Вены. Юрг и Дайя рулили по очереди. Время от времени просыпаясь, я удивлялась всему вокруг: тишине в автобусе, собственной ноге, прижатой к ноге Микаэля, голове Микаэля на плече Пижона. Руке Антона на плече Хуго, специальной подушке Хуго, которую он взял с собой, потому что она пахла его ребенком. Дайе и Юргу, переговаривающимся на переднем сиденье (разумеется, оказалось, что Дайя свободно говорит по-немецки). Она с удовольствием высказывала свои взгляды на внутреннюю политику Австрии.

Автобан и трассы помельче. Солнце и дождь. Чувство свободы и покоя, какое бывает только у людей, перед которыми стоит общая задача или которые приближаются к общему концу. У нас было и то и другое.

Миллионер, заработавший состояние на мобильных приложениях, жил в гигантской, роскошной, похожей на замок вилле, обставленной какими-то высшими силами, не иначе, в пригороде Вены. Все его существо так и источало запах недавно обретенных денег. Это был

маленький толстенький мужчина с живыми добрыми глазами.

— Обожа-а-а-аю группу «Сеньор»! — сказал он.

— Все остальное полное дерьмо, — продолжал он по-английски. — А вот «Сеньор», то есть вы, это круто! Вы сегодня сыграете *Heavy head, heavy metal*?

— Конечно! — ответил Антон, который с каждым комплиментом в адрес «Сеньора» становился все бодрее и бодрее.

— А что это за песня? — спросила я Микаэля. — Я ее не знаю.

— Она из ранних, — ответил Микаэль. — На самом деле, вполне ничего. Если сравнить. Не волнуйся. Бас играет все то же, что и в остальных песнях.

— Ладно, — сказала я.

— *Heavy hea-a-a-a-ad, heavy… metal! Metal!* — запел миллионер, повышая голос на последнем слоге. — Знаете, я подумываю использовать эту песню в моей новой игре.

— Правда-а-а-а-а-? — произнес Антон, и в глазах у него появились значки доллара.

Разумеется, на нас, остальных, миллионеру было наплевать. Он повел Антона показывать свои

владения. Порывы ветра еще долго доносили его «Metal! Metal!», выкрикиваемое тоненьким голоском с австрийским акцентом.

Мы прогуливались по усадьбе. Представляли себе, что мы богаты. В небе сгущались тучи.

— Как прикажете подать лошадиный труп, на ножке из золотых монет или на подложке из женских голов? — спросил Микаэль, делая вид, что держит в руке изящную чайную чашечку.

— Молчи, плебей. Это блюдо подают с соусом из клевера и пота рабочих, — ответила я, глядя в воображаемый монокль.

Вокруг нас возвышались деревянные конюшни, перестроенные в духе эстетики Новейшего времени: черные стены, серебристая мебель и короткие красные штрихи.

— Блин, как круто, — похвалил Пижон и принялся фотографировать.

Когда миллионер проходил мимо нас по саду, мы услышали, как он говорит:

— Обожаю эту новую песню, «Цирк ублюдков». По-моему, лучшая песня двадцать первого века.

Микаэль сделал вид, что роняет свою фарфоровую чашечку.

А потом мы услышали, как Антон говорит, что подумывает записать новую версию «Цирка

ублюдков»: только гитара и вокал.

— Таким образом, текст и голос заслуженно окажутся в центре внимания.

Нам предстояло выступать в огромном пустом помещении, переделанном в бальный зал, скорее всего, исключительно для сегодняшнего праздника. Дайя долго ругалась по-шведски: это же надо, столько денег пустить на ветер, можно было, например, организовать микрозаймы бедным странам, но когда нас пригласили на ужин, замолчала: семь блюд, бесплатный бар с *настоящим* шампанским и даже веганская еда, имеющая не только консистенцию, но и вкус! Все гости были нарядно одеты. Антон сумел сочетать хардкор с праздничным шиком и блеском и представлял собой зрелище, достойное глаз богов: узкие костюмные брюки, черный костюмный пиджак и новая прическа, заключающаяся в выбритых в неожиданных местах фрагментах. На Дайе был золотистый топ на бретелях. Они с Антоном расстались, а потому решили, что могут позволить себе перепихнуться по-быстрому, и думали, что никто этого не заметит, хотя слышно было на весь дом. Потом она пробралась к нам, на ходу поправляя топик.

— Ну не знаю, этот стиль под рококо, — недо-

вольным голосом сказала она, указывая на бирюзовую стену, — такая безвкусица.

— Точно, — ответила я, все еще находясь во сне Марии-Антуанетты и не имея ни малейшего желания просыпаться. Я как раз вышла из туалета, где делала селфи на фоне золотых кранов.

— Нувориши, — фыркнула Дайя.

— Мм, — промычала я.

Мы вышли покурить в сумерки австрийской глубинки.

— Вы видели эту тетку, которая сидит рядом со мной? — сказал Пижон.

— Да она помоложе тебя, — заметил Хуго. — Ну давай, рассказывай.

— По-моему, на ней настоящий бриллиант, — сказал Пижон. — Я ни о чем другом не могу думать. Боюсь что-либо сказать, вдруг я открою рот, а оттуда: «Бриллиант, бриллиант, бриллиант».

— А рядом со мной сидит пара, которая занимается оральным сексом под столом, — сказал Микаэль. — Она какая-то фотомодель, а он очередной миллионер, сделавший деньги на приложениях для айфона.

— Интересно, о чем они разговаривают между собой, эти миллионеры? — сказала я.

— Наверное, обсуждают, сколько у них миллионов и сколько приложений они продали, — предположил Пижон.

— Думаю, они и общаться-то не успевают, — сказала я. — Все время надо придумывать новые приложения и следить за своими миллионами.

— Я хочу домой, — пожаловался Микаэль.

Потом вышел Антон, прихвативший со стола бутылку самого дорогого шампанского, которую он по-братски распил с нами в темноте.

— Последнее выступление, — произнес он чуть не со слезами в голосе. — Я хочу, чтобы вы знали…

Почувствовав, что сейчас опять пойдут эмоции, Микаэль перебил его.

— Смотри, птичка! — крикнул он, указывая влево.

И там действительно оказалась птичка.

— Скоро выходим на сцену, — сказал Хуго. — Вы готовы?

— Вообще, нет, — ответила я.

— Никогда не был так плохо готов, — добавил Микаэль.

— Какой у тебя неуверенный вид, — сказала я, глядя на него испытующим взглядом.

— Ты на себя посмотри, деревенщина, — от-

ветил Микаэль. — Да тебя местные хипстеры брендом сделают — Farmer, by Calvin Klein[14].

Мне стало получше, теперь мы были готовы.

И вот настал момент последнего в истории выступления группы «Сеньор». Миллионер поднялся на сцену и принялся разглагольствовать на плохом английском:

— А теперь… прямо из Швеции, из Скандинавии… моя любимейшая группа… Группа, представляющая ПАНК-рок с большой буквы. Молодые, свежие и веселые. Такого вы еще НИКОГДА не слышали…

(Пауза, во время которой миллионер присел на корточки, чтобы прошептать в микрофон.)

— Итак, встречайте… «Сеньо-о-о-ор»!

Под нерешительные аплодисменты Антон бодро выскочил на сцену, а следом за ним, опустив головы, плелись мы. Когда мы подошли к своим инструментам, на середину сцены выкатили огромный торт, из которого выскочила девушка в бикини и начала танцевать для миллионера.

— Мы тоже феминисты, и после шоу я расспрошу эту прекрасную танцовщицу о ее жизни и искусстве, — равнодушно произнес Антон в мик-

---

[14] Примечания: 14
Фермер, от Кельвина Кляйна. (*англ.*)

рофон, а потом затянул «Heavy head, heavy metal». Миллионер с танцовщицей остались на сцене и продолжали танцевать на заднем плане.

Мы сыграли все песни «Сеньора». Большая часть из них продолжалась не больше двух минут. Антон задействовал все свои приемы: срывал с себя футболку, говорил под музыку, изображал оральный секс с микрофоном. По непонятным причинам в нашей культурной среде считается, что шведы в своих выступлениях должны быть лаконичными — не больше сорока пяти минут. Во многих других странах народ готов стоять на ушах сколь угодно долго.

— Больше крутых хитов! — крикнул миллионер по-английски, одновременно раздраженно и возбужденно.

— Это все песни, которые мы знаем, — сказал Антон.

— Больше хитов! — кричал миллионер еще громче.

Тогда мы начали играть все песни с самого начала, вставив между ними еще и кавер хита, который я терпеть не могу, — Karma Police от Radiohead. Это любимая песня Антона. В знак протеста я приглушила бас.

— Еще хитов! — снова закричал миллионер, но

его помощник напомнил ему, что они выписали диджея из Лиссабона, который уже давно ждет на другой сцене со своей шапкой, виниловыми пластинками и огромными наушниками.

— Все, не надо больше хитов! — крикнул миллионер.

Меня переполняли впечатления: все эти огни, яркие детали, бирюзовые стены, оральный секс под столами с неясной динамикой превосходства. Я решила выйти подышать.

Рядом со мной оказался миллионер.

— Классное шоу, хочешь косячок? — сказал он.

— Нет-нет, — ответила я.

Я вообще не люблю говорить по-английски, а сейчас мне больше всего хотелось побыть одной и подумать о том, как плохо я играла.

Потом вышел Микаэль.

Мы долго молчали.

Наконец он сказал:

— Сколько все-таки на свете разных мест и людей.

— Да, — согласилась я. — Так много мест, и так много людей.

Из Вены мы отправились напрямую в Умео, поделили трассу по-братски, высадили Юрга в Берлине.

Дайя предложила остановиться в каком-нибудь уютном отеле Берлина, отоспаться и поужинать в одном хорошем вьетнамском ресторанчике, но нас дома ждала работа, да и Хуго истосковался по своему малышу.

— Значит, вот как, — сказала Дайя.

Пижон и Хуго всю дорогу не спали и тихонько переругивались на заднем сиденье. На этот раз они вспомнили историю о том, как в 2005 году играли музыку в стиле инди в группе под названием Неу.

— Ты заставил меня надеть ожерелье, — пожаловался Пижон.

— Потому что стремился к единообразию стиля, — ответил Хуго, который в той группе пел, а также отвечал за эстетику и название. — Это же важно, черт возьми.

— Мне всегда было все равно, как выглядит группа снаружи. Либо они умеют играть, либо нет, — проворчал Пижон.

— Вот как! — вскричал Хуго. — А Ramones? А Devo? А BEATLES?

— Слушай, как называлась та группа из города, в осиных шапочках, которые чья-то мама связала? — вдруг оживился Пижон.

— А, у них еще у ударника лишний палец на

руке?

— Да прямо палец, там скорее какая-то культя.

— Вроде у его сестры то же самое?

— А откуда они, помнишь? Из Нурдмалинга?

Снова настало утро. Мы приближались к средней шведской полосе. Природа вокруг изменилась, стала более узнаваемой. Снова появились таблички с выбегающим лосем. Увеличилось расстояние между заправками. Местность обнажилась и посуровела. Вдоль обочин красовались сосны.

Мы остановились в лесу сходить в туалет. Вдыхая чистый морозный воздух, я чувствовала, как сознание расширяется. Слушала, как где-то поодаль Хуго жалуется на Пижона, который якобы встает слишком близко, когда писает.

Вернувшись в город, мы остановились у помещения, где обычно репетировали, чтобы выгрузить инструменты. Дайя отправилась домой, решив, что это ее уже не касается. Мы слышали, как она вызывает такси. Потом мы поехали возвращать машину.

— Тут какой-то бутерброд лежит, — сказал мужик из проката.

— Простите, — промямлил Микаэль.

— А здесь три комочка снюса.

— Извините, — сказала я.

— А это что такое? — спросил мужик.

— Это мои концертные брюки, они в таком состоянии, что мне было противно засовывать их в сумку, — признался Пижон и поспешил забрать брюки из багажника, предварительно надев на руку пластиковый пакет.

— Тут две свежие вмятины, — не унимался арендодатель. — Вот здесь и вон там.

Он показал на левую переднюю часть машины.

— Черт бы побрал этого Юрга, — проворчал Пижон, забыв, что Юрг всю неделю возил нас бесплатно.

— Скинемся, — сказала я, мысленно представляя, как ежемесячный пивной запас уменьшается вдвое.

— Да ладно, я заплачу, — тут же встрял Антон и достал свою Visa.

Потом он притянул нас всех к себе и сказал:

— А теперь групповой портрет, обнимаемся!

Он попросил мужика из проката автомобилей сфотографировать нас («Сделайте пару кадров, мы потом выберем») и тут же выложил фото, где он сам получился лучше всего, на страничке «Сеньора» в социальных сетях с подписью:

«Последнее турне с моей командой… Люблю вас, ребята».

Голова Хуго в кадр не вошла.

Отсыпаться пришлось днем. На вечер у нас были другие планы.

Одна группа в последний момент отказалась выступать, и «Личному бренду» предложили ее заменить.

Нам даже обещали заплатить, но при условии, что на этот раз мы не будем выключать свет (похоже, среди зрителей оказалось немало людей с подтвержденными психическими заболеваниями).

Перед выступлением я повернулась к Микаэлю.

— Ну что, толстяк хренов, — ласково обратилась я к нему.

— Старая перечница. Ты что, собралась в этом выступать?

Потом мы поднялись на сцену. Среди публики не было ни одного незнакомого лица. Мы знали, кто уйдет домой, кто постарается пробраться поближе к сцене, кто просто тусуется на всех концертах независимо от стиля музыки, а кто будет внимательно слушать просто из вежливости.

Я увидела, как Хуго поднял руки над мик-

шерным пультом — значит, он готов. Потом я повернулась к Микаэлю. Он улыбнулся мне, я улыбнулась в ответ, и он начал отбивать ритм «К черту рок», и мы принялись потихоньку напевать. А потом мы сделали все так, как планировали: Пижон стоял на сцене вместе с нами, он заиграл и запел своим глубоким басом, и вот тогда на сцену выпрыгнула она, Дайя, и все встало на свои места, потому что в составе «Личного бренда» наконец появился участник, не испытывающий к себе ненависти.

Мы с Микаэлем замолчали, теперь мы только играли, а Пижон с Дайей пели дуэтом:

К черту рок,
К черту роль,
К черту деньги
И контроль.
Я хочу заткнуться и лежать,
Дайте мне немного помолчать.

Тут Дайя опустила микрофон и издала первобытный крик «А-а-а-а!» — и теперь они стали стаей, все слушатели, точно как они хотели и как мечтала я. Дайя кинулась в зал, все подняли руки, подхватили ее, и она начала перекатываться

над головами, Дайя, настолько уверенная в том, что следующий человек тоже поднимет руки, что даже не смотрела вниз, а оказавшись на середине, она взглянула на меня, а я взглянула на Микаэля, и мы вместе взглянули на Пижона и на Хуго за микшерским пультом, и как захохочем все дружно, а потом, вернувшись на сцену, Дайя снова взяла микрофон и спела «К черту все, если я не могу быть с тобой», а я усилила бас, а Микаэль все продолжал стучать, и под конец слышались только восторженные крики и барабаны, крики и барабаны.

А потом мы собрали инструменты, отнесли их в машину, отвезли их в наше помещение для репетиций и поехали домой.

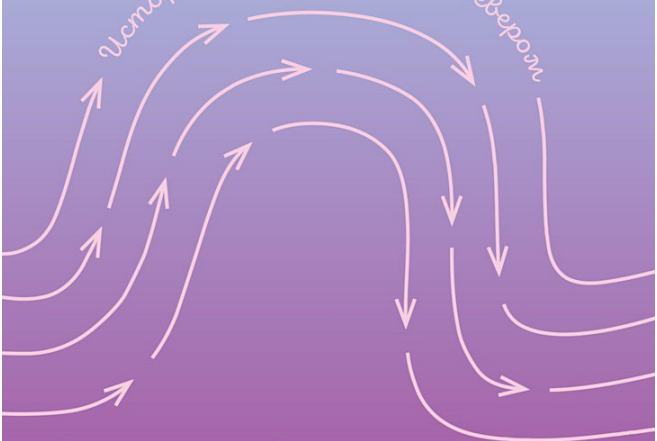


Аннели Ругеман
«Булиден — образцовое общество»
(Отрывок из книги)
В переводе Юлианы Григорьевой

В ПЕРЕВОДЕ ЮЛИАНЫ ГРИГОРЬЕВОЙ

Отрывок из книги

истории, нашёптанные Севером



Аннели Ругеман

БУЛИДЕН – ОБРАЗЦОВОЕ ОБЩЕСТВО

Пролог. Улица Финнфорсвэген, 47

— У нас дома

Улица Финнфорсвэген делит городок Булиден на две части, верхнюю и нижнюю. В верхней стоят прекрасные особняки, над которыми возвышается вилла управляющего. В нижней находится все остальное: магазины, школа, церковь, коттеджи мелких служащих, дома и квартиры шахтеров. Финнфорсвэген проходит через весь Булиден. Улица начинается прямо перед рудниками, затем поднимается вверх по холму к городку и продолжается строго на юг в сторону соседних поселков.

Я живу на Финнфорсвэген, на краю Булидена. Наш дом располагается на правильной стороне — *верхней* — но об этом мне расскажут позже. Пока я ничего не знаю о существовании правильной и неправильной сторон улицы. И слово «класс» означает для меня только одно: «класс в школе».

Дом моего детства большой и красный. В нем два входа. Одна дверь для членов семьи и в первую очередь для нас, детей, и наших друзей. Вторая дверь предназначена для гостей. Еще ею

обычно пользуется папа. Гостей родители принимают часто: мы со старшим братом Андерсом стоим в просторном холле, куда ведет гостевой вход, и забираем их тяжелые шубы и заснеженные галоши. В гостевом холле есть огромное зеркало, перед которым дамы поправляют прически. Затем они проходят в гостиную и пьют коктейли.

Мы с Андерсом, а иногда и с моей лучшей подругой Анне, обслуживаем гостей. Нам нравится выносить тяжелые серебряные блюда с говяжьей вырезкой, копченой ветчиной и обжаренными шампиньонами. Мы чувствуем себя важными, гости обращают на нас внимание, благодарят и хвалят. Нам платят. Сколько? Может, кроны три, но этого достаточно, чтобы накупить развесных ирисок в киоске на углу улиц Ринген и Скульгатан. Вином гостей угощает папа. Мама ведет записи обо всех обедах и ужинах, которые они с папой устраивают. Готовит она всегда сама. Все тщательно документируется в ее «Книге хозяйки»:

> 16 ноября 1963 года: Званый ужин, приглашения по карточкам (дальше имена всех приглашенных): коктейль, пирог

с креветками и икрой, жаркое из маринованной лосятины с запеченным в духовке картофелем с тмином, соус, желе, брюссельская капуста, красное — мерло, инжир со взбитыми на коньяке сливками, херес, кофе с миндальным печеньем, белая скатерть, праздничная голубая лента, пять белых подсвечников, четыре синие чаши с цветами. Вечерний перекус: бульон, крекеры, сыр, голландская настойка — женевер.

19 августа 1965 года: Воскресенье, поздний ужин, коктейль с креветками, салат из цикория с сардинами в масле, майонез в соуснике, шампиньоны, запеченные с ломтиками оливок, рис и зеленый салат на гарнир, кофе с коньячными веночками. Темно-синяя скатерть, оранжевые салфетки и ваза с мандаринами.

15 апреля 1967 года: Небольшой ужин с Соней и Юнасом Юнссонами, кукуруза в початках с взбитым маслом и тостами, стейки из свиного филе со спаржей и тушеными почками, отварной рис, кофе с рулетом. Темно-синяя скатерть, большие белые салфетки и белый фарфор.

Рядом с заметками — наброски рассадки гостей. Сюда же мама вклеила карточки, которые мужчины берут с серебряного блюда на столе в холле: «Соблаговолите сопроводить к столу…»

Мамина хозяйская книга содержит только списки приглашенных и описания блюд и сервировки стола. Но пятница 22 ноября 1963 года является исключением: *Сегодня в Далласе, штат Техас, был застрелен президент Джон Ф. Кеннеди.*

«Вероятно, я написала это потому, что мы волновались — вдруг смерть Кеннеди коснется и нашего городка далеко на севере Швеции. Что пострадает рудная промышленность, а значит, и компания „Булиден“. Но, к счастью, этого не произошло», — говорит она, когда я расспрашиваю ее пятьдесят семь лет спустя.

После ужина всегда начинаются танцы. У меня до сих пор хранится сделанный мамой тканевый коллаж тех времен. Однажды выдался особенно веселый вечер, и мужчинам порезали галстуки. На картине кусочки галстуков изображают танцующие пары. Это безумный, смешной, красочный коллаж.

Все гости работают в горнорудном концерне «Булиден». Я имею в виду мужчин. Женщины, за редким исключением, домохозяйки. Они занима-

ются общественной деятельностью: организуют активный отдых на свежем воздухе, кружки для младших школьников на природе, ведут клуб рукоделия или состоят в краеведческом обществе. Их мужья — конторские служащие, а не горнорабочие. Они обеспечивают семью. В середине 1960-х годов заработная плата сотрудников на руководящих должностях в компании составляла от 3200 до 4700 шведских крон в месяц. В денежном выражении 2020 года это соответствует примерно 33 000 и 49 000 крон. Зарплата начальства более чем вдвое превышает горняцкую. Состоятельными людьми руководство не назовешь, но возможностей сэкономить у них немало, ведь большую часть их расходов оплачивает компания. Живем мы, к примеру, в доме, принадлежащем компании, и, учитывая его площадь, платим за него совсем немного.

Следующий за родительскими зваными ужинами день обычно приходится на воскресенье. По воскресеньям в Булидене весело. Можно весь день провести на улице. Если на дворе осень, то сад покрыт коричнево-желто-оранжевым мягким ковром из осиновых и березовых листьев. Мы с Анне протаптываем в этом ковре дорожки, роем укрытия и закапываем в них друг друга. Воздух

в укрытии тяжелый, там можно сгинуть, а когда наступит зима — воскреснуть. Зимы в Булидене не знают компромиссов. Они наступают самоуверенно и не сдаются до последнего. Зима идет Булидену больше всего. Зимой нет полутонов, но зато есть изобилие сверкающего на снегу света.

В окружении снега, мороза и белизны я чувствую себя в безопасности, а потом мне исполняется двенадцать и происходит Большая игра в снежки. Хотя нет, не игра. Это нападение, атака. Засада на юго-восточной стороне улицы Финнфорсвэген. Сначала я не замечаю ничего особенного, ведь я знаю тех, кто бежит за мной. В голове успевает промелькнуть: «Что им от меня нужно?»

Вскоре обидчики громко кричат: «Думаешь, ты лучше всех только потому, что твоя фамилия Уггельберг?» Первый снежок летит мимо цели. Затем я чувствую холодные удары, первый, второй, третий. Десятый, двадцатый, тридцатый. Снежки твердые, внутри них камни. От них на спине расцветают синяки. Я приседаю, поднимая руки в варежках, пытаюсь увернуться, спотыкаюсь, вперед, скорее домой. Я не плачу, еще нет, я удивлена и растеряна. Не понимаю, почему одноклассники, которых я считаю друзьями, вдруг

меня невзлюбили. Что случилось? И почему это происходит?

Синяки проходят. Вопросы остаются.

Когда мы осознаем, что с рождения принадлежим к определенному социальному классу? Я не понимала этого, живя в Булидене. Не понимала, когда меня, а не мою лучшую подругу, пригласили на ёлку в гостиницу вместе с детьми других «белых воротничков». Не понимала, когда я единственная из одноклассников поехала с семьей в Ниццу на юг Франции и бесплатно жила в квартире, принадлежавшей компании. Не понимала, когда в нашем саду клубнику и малину сажали садовники, а родители моих друзей сами ухаживали за грядками. Если они у них вообще были. Когда атака снежками прервала череду предыдущих мирных, спокойных зим, я ничего не знала, была беспечна и ни о чем не подозревала.

Сегодня я понимаю и знаю немного больше.

Я знаю, почему концерн «Булиден» хотел построить этот идеальный городок. Чистый, опрятный и современный. С хорошими домами для рабочих, утопающими в зелени садами и со всеми мыслимыми услугами. Городок, которому можно позавидовать и который помог бы компании привлечь сотрудников: не только рабочих,

но и взыскательных экспертов в области горнорудной промышленности со всех уголков мира. *Образцовое общество.*

Я также знаю, что компания приняла решение: структура городка должна отражать иерархию компании. В социальную модель Булидена вписали социальные классы. Дом директора будет самым большим и расположится на самом верху. Дома и квартиры горняков — наоборот, самыми маленькими и будут находиться внизу. Между ними — жилье клерков, магазины, парк, школа и автовокзал.

Я знаю, что эта схема сияла так ярко, что ослепила всех шведов и особенно жителей Булидена, обитавших по обе стороны улицы Финнфорсвэген, и что, возможно, поэтому не все замечали острые грани классовой структуры. Но различия сохранялись, десятилетие за десятилетием. Горняки с шапками в руках. Директора в шляпах. Взаимозависимость — да, и своего рода соглашение, но рабочих внизу было проще заменить, чем руководство наверху. Классовое общество существовало не только на карте, но и в реальности, и влияло на людей.

И вот однажды золото закончилось. Когда в конце 1960-х годов рудник закрыли, горнякам

предложили новую работу, некоторым — в других поселках на севере провинции Вестерботтен. Компания сохранила Булиден в качестве центра добычи полезных ископаемых и отремонтировала главный офис. Но ответственность за социальную инфраструктуру и услуги перешла к муниципалитету, у которого кроме маленького городка в тридцати километрах от Шеллефтео было много других забот. К тому же золотой блеск уже потускнел. Появились новые социальные структуры. Кривая развития развернулась и пошла вниз. Дома опустели, фургоны с вещами разъехались, заросли сады. Цены на жилье упали, и виллу бывшего директора выставили на продажу лишь за несколько сотен тысяч крон. Квартиры и дома стояли пустыми, и в 1990-е годы муниципальная жилищная компания начала сносить многоквартирные дома.

Снос продолжился бы, не узнай в начале 2000-х годов Миграционная служба о свободных квартирах в Булидене. Муниципалитет Шеллефтео с радостью сдал их в аренду, и поселок разом наполнился сотнями новых жителей со всего мира. Внезапно в домах вновь появились люди, и возникли новые социальные модели.

Через несколько лет после атаки снежками,

сразу после закрытия шахты, мы с семьей уехали из городка. С тех пор прошло почти пятьдесят лет. И почти сто лет с того дня, как было найдено золото и началось строительство Булидена.

Часть 1. Птичье болото

Как все начиналось

Когда-то здесь был лес. Ели, сосны, мох, черника, брусника, кусты, ветви. Когда-то в этом лесу был торфяник. Его прозвали Птичьим болотом.

По лесу идут шесть мужчин. Это не грибники, не лесорубы и не воскресные туристы. Они находятся на задании: Эмиссионное акционерное общество «СГ» отправило их *провести геологическую разведку*; они ищут руду. На календаре вторник, 9 декабря 1924 года, холодно, мужчины утомлены и угрюмы. Накануне с самого верха пришла телеграмма с приказом: геологоразведку немедленно прекратить.

Прошло три года с тех пор, как мелкий землевладелец Антон Хольмгрен показал геологу Фрицу Каутскому необычный камень, который нашел, копая канавы в Сванфорсе. Как позже рассказывал Хольмгрен, Каутского камень «порадовал». И тот купил камень, который называют Сванфорским валуном, за пятьдесят крон. Затем на север провинции Вестерботтен из Стокгольма стали приезжать — кто с коротким, кто с

более длительным визитом — представители Эмиссионного акционерного общества «СГ»: генеральный директор Оскар Фалькман, начальник отдела развития Аксель Линдблад, главный геолог Улоф Бэкстрём и тогдашний начальник отдела геологоразведки Эрик Весслау. Поиски руды начались всерьез.

Но вот прошло уже три года, а залежей руды с достаточным содержанием железа так и не нашли. А значит, придется упаковать оборудование и разобрать бытовку. Правление «СГ» приняло решение о подготовке к закрытию проекта уже с ноября 1924 года. Руководство компании выступило против и сумело отсрочить это решение. До нынешнего момента.

«Подождем до утра», — говорит бригадир Альберт Петтерссон, который ненавидит сдаваться, хотя знает, что приказ есть приказ. Лишь один последний рывок. В буровую установку только что вставили новый телескопический стержень — монтаж закончили как раз в тот момент, когда пришла телеграмма. Альберт Петтерссон ни в коем случае не упустит этот шанс. Запускают алмазный бур. Проходит ночь.

Наступает утро 10 декабря 1924 года — этот день изменит болото, по которому ходят рудоис-

катели, изменит окрестности города Шеллефтео, провинцию Вестерботтен, да и всю северную Швецию и жизни многих людей на десятилетия вперед. Вскоре шестеро мужчин убеждены: руда, которую они сегодня добыли из скважины глубиной около двадцати пяти метров, отличается от предыдущих образцов. Измерительные приборы показали четко: золото.

Бригадир Петтерссон надевает поверх жилета из грубой шерстяной ткани еще один. По-прежнему очень холодно. Он идет через лес к деревне Нюхольм, чтобы позвонить Эрику Весслау с единственного в этих местах телефона. Эрик Весслау сейчас в Менстрэске, неподалеку от Птичьего болота, он берет трубку и слушает. Петтерссон уверен? Да. Абсолютно. Разговор окончен.

Эрика Весслау поражает мысль о том, что этого открытия не случилось бы, последуй сначала руководство компании, а затем бригадир, решению правления закрыть проект. К обнаружению золота привели интуиция, упрямство и молчаливое сопротивление правлению в Стокгольме. Обычно Эрик Весслау собранный, практичный человек, который редко проявляет или признается в своих чувствах. Но теперь он ликует. Прошлой ночью на Птичьем болоте произошло нечто важное.

Позже другие описывали это так: в тот момент сбылись все мечты о золоте. Эрик Весслау позволяет себе сделать вывод, что, по всей вероятности, началась новая эпоха.

Затем залежи руды предстоит подтвердить. Это задание получает химик Тельма Берггрен из лаборатории «СГ» под Стокгольмом. Она выполняет свою обычную работу: дробит руду, растворяет ее в кислотах, анализирует. И не верит своим глазам. Поэтому проводит процедуру заново. Дробит, растворяет и констатирует, что содержание золота составляет 18 граммов на тонну. Затем анализирует следующую пробу: 108 граммов. И еще одну: 496 граммов на тонну. Это невероятно высокие показатели. Она знает это, потому что ей известно: среднее содержание золота в руде с южноафриканских золотых приисков, на тот момент самых богатых в мире, колеблется от 7 до 14 граммов на тонну. Месторождение на Птичьем болоте сулит добычу совершенно иных масштабов.

Многие эксперты пытаются рассчитать, насколько крупным может оказаться рудник на Птичьем болоте. Известный металлург Карл Салин прогнозирует, что месторождение «очень значимо и в мировом масштабе». Выясняется, что

это не преувеличение.

К концу 1960-х годов, когда работы на руднике в Булидене прекратились, было добыто 8,3 миллиона тонн руды, содержавшей, среди прочего, 125 263 килограмма золота, 400 947 килограммов серебра и 117 445 тонн меди. Лишь несколько месторождений руды в мире — в провинции Трансвааль в Южной Африке, в Южной Дакоте в США и в Поркьюпайне в Канаде — оказались богаче месторождения в Булидене.

* * *

После Первой мировой войны нехватка руды была велика, и появилось множество геолого-разведывательных компаний. Провинция Вестерботтен, особенно в окрестностях города Шеллефтео, считалась перспективным местом для поиска руды. В 1915 году было основано Эмиссионное акционерное общество «СГ», чьим основным владельцем был «Скандинавский банк». Задача состояла в том, чтобы скупать доли в предприятиях, занимавшихся горнодобывающей и лесной промышленностью, но вскоре компания сосредоточилась исключительно на горнодобыче и металлообработке и в особенности на подаче заявок на разработку рудника и исследованиях

руды на месторождениях Шеллефтео. Небольшие месторождения были обнаружены в начале 1920-х годов в Раккеяуре, Нэслидене, Хольмщерне и Менстрэске. В Кристинеберге, в ста двадцати километрах к западу от Шеллефтео, «СГ» подало заявку на давно известную валунными скоплениями территорию, на которой после начала применения электрических методов разведки обнаружили, среди прочего, медь и пирит. Кроме того, компания приобрела несколько рудников в других регионах Швеции и в Норвегии.

Но время шло, а крупных месторождений так и не нашли, и все чаще возникали сомнения: действительно ли в этом районе есть значительные залежи руды? Скептицизм рос, прежде всего, среди инвесторов и правления компании в Стокгольме. Они хотели прекратить геологоразведочные работы уже в 1922 году. Однако генеральный директор «СГ» Оскар Фалькман выступал за продолжение работ и увеличение инвестиций со стороны владельцев. Его тогдашнее упрямство кое-что говорило о том, как он позже будет управлять компанией: исходя из обстоятельств на месте, в Булидене, а не с точки зрения владельцев в столице. В последующие десятилетия Фалькман будет вести постоянную и

иногда неравную борьбу против исключительно финансового подхода владельцев и правления к развитию компании. Он ратовал за долгосрочность, продуманность и администрирование, в то время как владельцы хотели быстрых результатов и отдавали предпочтение краткосрочным инвестициям.

10 декабря 1924 года оказалось, что упорство Фалькмана окупится сполна.

Вскоре за ликованием в связи с обнаружением месторождения последовало тщательное планирование и реструктуризация компании. Компанию «СГ» преобразовали в две другие, одна из которых семь лет спустя, в 1931 году, станет акционерным обществом «Булиден Грюв». Но сначала нужно было построить сам рудник. Нанять людей. Возвести жилье. Времени было в обрез, зато в продуманности недостатка не было. Один вопрос обсуждали особенно долго: в каком именно месте основать городок?

Прежде чем принять решение, компания позаботилась о том, чтобы оставить за собой ценную землю на Птичьем болоте.

Владельцем участка, на котором находилось Птичье болото, была **Маргарета Лундберг (1866–**

1931). Она продала семьдесят четыре гектара земли за 20 000 крон, 570 000 крон в сегодняшнем денежном выражении, и обещание, что ее дети и внуки получат работу в компании. Так и случилось. Одного из сыновей сразу же наняли на шахту, а ее внук Генри Лундберг, начав работать горняком, сделал карьеру в компании, а затем стал генеральным директором принадлежавшего компании плавильного завода недалеко от Шеллефтео и, наконец, генеральным директором «Булиден Металл».

Ее праправнук Антон Русендаль описывает Маргарету Лундберг как спокойную, скромную женщину, которая, несмотря на нищету и множество жизненных трудностей, никогда не сдавалась. Она рано овдовела, снова вышла замуж, но, когда она ждала пятого ребенка, умер и ее второй муж.

Деньги от Эмиссионного акционерного общества «СГ» пришлись кстати, как и обещание, что дети получат работу в компании. Когда месторождение золота оказалось очень крупным, многие в окружении Маргареты задавались вопросом, не слишком ли мало ей заплатили? Нет, она так не считала. Маргарета Лундберг была благодарна за электричество, дороги и то, что рядом с ее домом

появился небольшой магазин.

В интервью еженедельному журналу в декабре 1928 года она говорит: «Здесь, среди пустошей, появилась возможность работать и зарабатывать, о чем раньше нельзя было и мечтать… и если теперь компания зарабатывает, то они это заслужили, потому что все это так или иначе создала компания и ее инженеры. Если бы они не приехали сюда, Бьюрлиден сегодня оставался бы тем же, что и шесть-семь лет назад — богом забытой деревушкой, как и все здесь, в норрландской глуши, а Булиден — ну, был бы просто бесполезным клочком земли, где даже лес не растет!»

* * *

В 1920-е годы Швеция была бедной страной. Из-за высокой безработицы государство в качестве экстренной помощи организовало рабочие места с низким суточным жалованьем. Многие были вынуждены согласиться на понижение заработной платы.

В 1923 году мой дед **Юнас Юнссон (1897–1981)** женился на моей бабушке **Эдит Бергквист (1900–1992)** в Медле, деревне недалеко от Шеллефтео. Дедушка работал сплавщиком, эту профессию он унаследовал от отца. В межсезонье он вел

учет древесины в лесу. Бабушка вела небольшое хозяйство. В мае 1926 года у них родился второй ребенок и первый сын в семье — мой папа. Позже у дедушки с бабушкой родится еще двое детей — небольшая семья для северного Вестерботтена того времени. Много лет спустя, в 1971 году, дедушка написал текст на шести страницах формата А4 под названием «Нашим детям». Его стиль сдержан и корректен.

На этих страницах проступает серый, трудолюбивый северный Вестерботтен. Вестерботтен, где нищета постоянно подстерегает за дверью сарая и где люди зависят от погоды, войны или мира и подработки на строительстве электростанции в Финнфорсе, а затем железной дороги в Бастутрэске. Дедушка подробно описывает свой заработок. 1910 год: пять крон в день за десять часов развозки груза, 1911 год: жалованье бригадира сплавной организации шесть крон в день. Он пишет о «неудаче» в начале 1920-х годов, когда закрывались промышленные производства:

«Помню, что в 1922 году мы сплавляли в основном только оставшуюся с прошлого года древесину». Он вспоминает, что во время следующего спада в 1930 году люди толпами ходили по дорогам и просили еду. Дедушкин тон серьезен,

перспектива обозрима. Он больше рассказывает о северном Вестерботтене в целом, чем о своей повседневной жизни и семье в Медле.

Когда родилась я, дедушка был уже старый. Помню, как он сидел рядом с радиоприемником в гостиной квартиры в Шеллефтео, куда они с бабушкой переехали после многих лет, проведенных в Малотрэске и Медле. Он всегда слушал радио. И насколько я помню, это *всегда* были новости. Дедушкин интерес к общественной жизни я вижу и на этих страницах формата А4.

Нищета 1920-х и 1930-х годов не коснулась дома детства моего отца — все благодаря небольшому хозяйству, которое держала семья: две коровы, несколько свиней и кур, а также тому, что у дедушки всегда была работа. И все же нищета всегда окружала их.

«Возвращаясь к бедности, я помню, как в детстве было обычным делом, когда зимой приходили, волоча за собой сани, люди и просили, чтобы им дали муки, с собой у них был мешок. Если у человека возникали трудности из-за болезни или другой беды, кто-нибудь из соседей всегда вызывался обойти окрестные дома и собрать немного денег».

В дедушкином рассказе ощущается благодар-

ность. Благодарность за то, что жизнь все же была хороша и что она стала намного лучше и проще на его веку: «Когда я сейчас вижу, как мы живем и что имеем в 1970-х, то не могу не думать о стариках времен моей молодости. Большинство из них жили на так называемом выделе у детей или других родственников, от которых ежедневно зависело их пропитание и помощь в случае необходимости». Он заканчивает смиренно, приводя яркий пример: «Это немногое из того, что пережили мы или наше поколение, но мы осознаем, что поколению перед нами приходилось гораздо тяжелее. Хлеб из древесной коры, который иногда были вынуждены печь наши отцы, мы все же никогда не ели».

Как ни странно, дедушка не пишет ничего о руднике в Булидене. Он рассказывает о строительстве электростанции в Финнфорсе в 1926 году, строительстве железной дороги из Бастутрэска, о первом в этом районе молокозаводе, но ни слова о месторождении золота на Птичьем болоте. Однако, когда в 1954 году мой отец устроился на работу в компанию «Булиден», дедушка очень им гордился. А когда папу повысили до директора, он с трудом скрывал радость.

16 марта 1926 года в Булидене была добыта пер-

вая руда. То есть мой новорожденный отец лежал в доме всего в тридцати километрах от места, где теперь начиналось строительство городка, в котором будут расти его дети. Не исключено, что дедушка с бабушкой обсуждали месторождение золота за обеденным столом в Медле. Под влиянием последних событий многие жители деревни, которые были моложе дедушки, начали искать работу в районе Птичьего болота. Во временном офисе в Стрёмфорсе несколько человек принимали заявления. Одним из них был тот, кто уже сыграл важную роль в этой истории, а впоследствии сохранит верность компании «Булиден» на десятилетия вперед — Оскар Фалькман.

* * *

Сын полковника **Оскар Фалькман (1877–1961)** родился в Стокгольме. Его мать, урожденная Ройтерсвэрд, умерла рано, и поэтому Оскар проводил много времени в доме бабушки-аристократки. Он выучился на горного инженера в Королевском технологическом институте. Прежде чем его наняли генеральным директором «СГ», он проработал год в «Карнеги Стил» в Питтсбурге в США, а затем несколько лет в различных шведских компаниях. Фалькман станет ключевой фигурой

для строительства как концерна «Булиден», так и одноименного городка, а затем останется на службе в компании до 1943 года. Бóльшую часть этого времени он проведет на должности генерального директора.

Рассказывая о нем, его внук Стаффан Пауэс описывает сдержанного, внушающего уважение человека, дедушку, которого он почитал и который тщательно соблюдал семейные традиции.

Оскар Фалькман руководил созданием и концерна, и городка. Но сам он так и не поселился в Булидене. Вилла управляющего предназначалась для генерального директора, но он предоставил ее своему ближайшему сподвижнику, Эрику Весслау. Успехи Оскара Фалькмана в построении компании и городка во многом зависели от его ближайшего окружения. В него входили Весслау и не в последнюю очередь геолог Фриц Каутский.

Фриц Каутский (1890–1963) родился в Вене. Он изучал геологию и палеонтологию и рано приобрел репутацию профессионала в этих областях. Участвовал в Первой мировой войне, но об этом периоде своей жизни упоминал редко. Слухи о геологическом таланте Каутского дошли и до Эмиссионного акционерного общества,

которое в 1921 году предложило ему работу на лето — поучаствовать в поисках руды на севере провинции Вестерботтен. Вскоре Акционерное общество стало зависеть от знаний и интуиции Фрица Каутского.

Каждую зиму Каутский возвращался в Вену, но с годами стал проводить в Булидене все больше времени. Какое-то время он жил у Маргареты Лундберг, владевшей землей на Птичьем болоте. Каутскому нравилась работа и жизнь на фоне сурового северного пейзажа. Поговаривали, что он нечувствителен к холоду и жаре. Если ему взбредет в голову переночевать в лесу под деревом, он так и сделает, невзирая на погоду. Он всегда ходил с непокрытой головой и привлекал внимание своей седой шевелюрой. Он интересовался людьми, его любили и хорошо знали. Кристина Бертмар, выросшая на улице Сильвергатан, рассказывает, что Фриц Каутский часто заглядывал к ним и сидел на семейной кухне:

«Он был обаятельным человеком, таким же, как мы, дружелюбным, совершенно не деспотичным. Нам всем он очень нравился».

Когда в 1938 году Германия оккупировала Австрию, Фриц Каутский решил навсегда остаться в Швеции и получить шведское гражданство.

Война разделила его семью, сыновья достигли призывного возраста и были вынуждены остаться в Австрии с матерью. Один из сыновей погиб на Волге. Другой, Гуннар Каутский, вместе с матерью приехал в Швецию и позже выучился на геолога, стал профессором и главой Геологической службы Швеции.

Эрик Весслау (1885–1958) происходил из состоятельной стокгольмской семьи. Уже в 1919 году он устроился начальником геологоразведочной организации «СГ». До этого он получил диплом Королевского технологического института, был начальником рудника Гунэсгрюван в провинции Даларна и управляющим на заводе Эдельфорс в провинции Смоланд. В Эдельфорсе находился первый в Швеции золотой рудник, который также принадлежал Эмиссионному акционерному обществу «СГ».

Когда было обнаружено месторождение на Птичьем болоте, Весслау продвинулся по службе от начальника геологоразведки до местного руководителя. Он переехал в Булиден и поселился на вилле управляющего, построенной на самом высоком и красивом месте в городке, которое называлось Пригорок. По субботам он часто спускался по лестнице, проходил через желез-

ные ворота, отделявшие территорию виллы от остального городка, и спускался к дому врача. Там он встречался с доктором Понте́ном, чтобы вместе выпить пунш перед обедом.

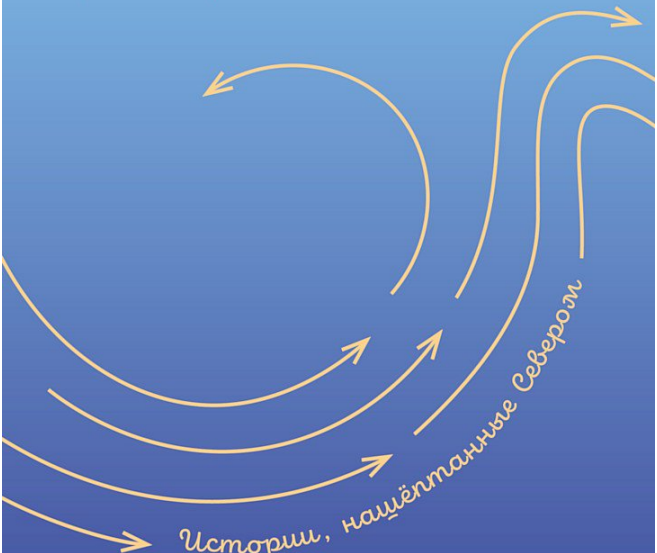
Компанией и городком управляли мужчины, работали в компании тоже мужчины. Первую женщину, упомянутую в истории концерна, звали Юдит Юханссон, она приехала в Булиден в начале 1926 года и стала руководить столовой для горняков.



София Рютбек Эрикссон
«Как на открытке»
(Отрывок из романа)
В переводе Юлии Колесовой

В ПЕРЕВОДЕ ЮЛИИ КОЛЕСОВОЙ

Отрывок из романа



София Рютбек Эрикссон

КАК НА ОТКРЫТКЕ

Глава тридцать первая

Когда в семь утра прозвонил будильник, я едва смогла разлепить веки. По непонятным причинам папа подскочил среди ночи, заявив, что ему пора на работу. Прошло не меньше часа, прежде чем мне удалось убедить его, что на дворе ночь и что он на пенсии. Казалось, папины мысли бродят где-то в другом месте. От этого мне стало не по себе. Когда несколько часов спустя я заставила себя подняться, чтобы проверить, как у него дела, он спал как сурок.

Сделав пару бутербродов, я положила папину порцию в холодильник. Потом съела свой бутерброд и выпила большую чашку чая, сидя на кухне и поглядывая на темный двор. Хотя уже наступил февраль, и со дня зимнего солнцестояния прошло больше месяца, на улице темно, и рано светать будет еще не скоро. Попивая большими глотками «эрл грей», от которого внутри разливалось приятное тепло, я ответила на несколько эсэмэсок. Камило послал мне гифку со злой ящерицей, желая тем самым описать свою малоприятную встречу с кассиршей накануне вечером. Сообщение он отправил в 01:35 — как раз вскоре после

того, как мне удалось снова уложить папу в постель. Просматривая неотвеченные эсэмэски от Камило, я нахмурила лоб и задумалась. Меня поразило не то, что он шлет мне сообщения глубокой ночью. Среди них попалось одно, которое было совершенно не в его духе.

«Ида, когда снова встретимся, я ДОЛЖЕН тебе кое-что сказать. Это очень СЕРЬЕЗНО, только в реале, не по телефону».

От всех этих капслоков, самого выбора слов и отсутствия смайликов меня охватила тревога. Мозг заработал на повышенных оборотах. Что он имеет в виду? Наши отношения? Типа — что нам надо быть вместе? Вопрос время от времени поднимался, но теперь-то что изменилось? Кроме того, что мы так далеко друг от друга. От неизвестности в животе странно защекотало. И правда, Камило — единственный мужчина, никогда меня не предававший, к тому же самый привлекательный из всех, кого я знаю. Но если мы предназначены друг для друга, почему же ничего до сих пор не произошло? Вопреки собственной воле я начала прикидывать в уме, какие ощущения у меня возникли бы, если бы я поцеловала Камило.

«Нет, Ида! Хватит!» Тряхнув головой, я поста-

ралась как могла вытеснить из сознания Камило и отправилась в ванную.

Вау! Оказывается, я могу сделать из себя настоящую красавицу, если никуда не торопиться. Дома мне никогда не удавалось так идеально завить локоны — вечно не хватало времени. Как бы рано я ни вставала, во сколько бы ни приходила на работу, все равно ничего не успевала. Вероятно, из-за напряженного темпа жизни большого города я постоянно делала несколько дел одновременно. Занимаясь готовкой, уборкой и даже укладкой волос, всегда старалась оптимизировать процесс. Обычно я завивала локоны, одновременно запихивая в себя завтрак и отвечая на сообщения в телефоне. Здесь же никого не волновало, если я даже опоздаю на пару минут, здесь никто не заставлял меня постоянно ставить себе немыслимые дедлайны, а потом их выполнять. Если я не пропускала свои экскурсии, все было относительно спокойно. И вновь у меня возникла мысль — может быть, остаться? — но я отправила ее в небытие вместе с нелепыми размышлениями о Камило в качестве кого-то еще, кроме друга. Там им предстояло покоиться с миром вместе с другими мыслями, которым вход в голову строго воспрещен.

* * *

Когда в пять минут девятого я пришла на работу, в офисе никого не было. Запустив компьютер, я поднялась на второй этаж, чтобы включить кофеварку. В комнате персонала стояла Тарья, закрыв лицо руками. Когда она взглянула на меня, глаза у нее были красные и заплаканные. Она поспешно напустила на себя обычный уверенный вид.

— Доброе утро, Ида!

— Что с тобой? — спросила я.

— Ну… э… Да нет, ничего страшного, — вздохнула она. — Просто все так неопределенно. Короче, не выспалась.

Она достала из шкафа термос для кофе и две чашки. Потом кивнула в сторону конференц-зала, и мы зашли туда. Тарья закрыла за нами дверь. Усевшись за стол, мы стали смотреть на площадь. Еще не рассвело.

— Вчера меня вызвали на совещание к руководству. Они поставили мне дедлайн — до какого момента показатели снова должны вырасти.

— Дедлайн? Почему они так на тебя давят? Ты же не можешь управлять цифрами по своей воле!

— Ясное дело, нет. Но если количество посетителей не возрастет, мне придется сократить персонал. Они считают, что нас и так слишком много и что нам следует сидеть в центре Лулео. Выезжать только на автобусные экскурсии.

Внутри у меня все сжалось. Мой родной церковный городок — без туристического центра?

— Полное безумие, — выпалила я.

— Согласна, именно поэтому я попросила их дать мне еще один шанс. Рассказала им о наших планах по поводу экскурсии «Тайны и призраки церковного городка» — и что у меня теперь работает опытный специалист в области пиара.

Она улыбнулась мне и продолжала:

— Тем не менее они дали мне срок до конца мая — к этому моменту должно произойти что-то конкретное. Либо количество посетителей начнет расти, либо мы затеем какой-нибудь большой проект, который вызовет реакцию в СМИ и привлечет туристов. В противном случае нам урежут ресурсы…

— Просто в голове не укладывается…

— Я объяснила, что это будет смертельный удар для городка. Все равно что заявить миру — церковный городок Гаммельстад когда-то был гордостью и украшением Лулео, но теперь его

время прошло. Ужасно печально, но самое страшное, что кто-то лишится работы, — Тарья потерла глаза и покачала головой. — Стараюсь раньше времени не переживать за своих сотрудников и не думать о бедном Дедо. Вероятнее всего, он обанкротится. Он слишком большой оптимист, чтобы понять, какая беда над ним нависла.

— Без его ресторанчика весь городок превратится в музей, в нем замрет жизнь, — вздохнула я. При мысли о том, что городок останется без ресторанов, а туристический центр умрет и экскурсии надо будет заказывать за несколько дней, у меня все внутри перевернулось.

— Конечно, летом всегда будет чуть побольше работы, чем зимой, но все равно… — проговорила Тарья, и ее глаза вновь наполнились слезами. — Все, пора взять себя в руки и начать работать над решением проблемы. Если я немедленно назначу проектную группу для «Тайн и призраков», то мы сможем запустить их уже к осени. Будем надеяться, что более конкретные планы на этом фронте смогут убедить руководство.

Заложив за ухо прядь волос, она попыталась улыбнуться и ушла, унося термос и чашку.

Я же осталась стоять, глядя на пустую и темную церковную площадь. Одинокая старушка выгули-

вала собачку. В остальном же улица как вымерла. И что, так теперь и будет? Пусто, безлюдно, причем не только зимой, в предрассветной мгле, а вообще всегда? В глубине души я прекрасно понимала: чтобы убедить руководство, потребуется что-то еще, помимо «Тайн и призраков». Только вот что? Когда я спустилась в офис, Тарья уже успокоилась.

— Прости, Ида, забыла спросить тебя. Как дела с твоим папой? Ты сказала, что вчера он снова путался?

Прошло уже два месяца с того рождественского утра, когда папа упал и сильно ударился. Хотя он стал пободрее и вроде лучше соображал с тех пор, как мы снова перешли на привычный распорядок дня, он все чаще спрашивал меня одно и то же — по много раз. Особенно когда уставал. Сплошной антикатарсис.

— Сегодня он подскочил среди ночи, думая, что пора на работу. Не знаю, что это было — сон или галлюцинации.

— Сама-то ты как себя чувствуешь? Ты последнее время много для нас делала.

Все так. Несколько недель подряд мне пришлось много работать, поскольку Мортен был в отъезде. Если уж говорить до конца честно,

я очень устала. Ведь параллельно надо было целыми днями напоминать папе обо всем на свете. Мне по-прежнему приходилось звонить домой около девяти и подсказывать ему, что надо позавтракать и принять лекарство от тромбоза, а в обеденный перерыв я всегда старалась сбегать проведать его. Не проконтролирую — он забывает поесть.

— Да, я и в самом деле немного устала. Надеюсь, пройдет, — проговорила я и, как назло, зевнула. — Как ты думаешь, правда, что мы автоматически зеваем, стоит нам произнести слова «устал» или «сонный»?

— Может быть, — ответила Тарья и взяла пачку брошюр на французском языке, только что пришедших из типографии. — Но я беспокоюсь о моей девочке. Мы с Мортеном справимся и сами, если ты захочешь работать поменьше. Пока можешь приходить и уходить, когда тебе удобно, Ида.

Положив пачку бумаг, Тарья подошла ко мне, положила руку мне на плечо и кивнула на мое красное платье-рубашку с большим воротником.

— Новое платье? — спросила она.

— Да, купила в выходные в магазине «Красного креста», — призналась я. — Спасибо тебе. Я с

удовольствием — в смысле, буду пока работать поменьше.

Тарья улыбнулась и уселась за свой компьютер. Я одернула платье, которое мне очень нравилось. Честно говоря, я надеялась снова столкнуться с Эмилем, и поэтому особенно старательно подбирала наряд, хотя и не хотела в этом признаваться. С тех пор, как месяц назад мы с ним случайно встретились в церковном домике, наше общение происходило только в мессенджере. Я никак не могла отогнать от себя мысль, что это как-то связано с Амандой из Санта-Ярви. Само собой, я ее погуглила. Она тоже предпринимательница, владеет спа-салоном в самом центре Санта-Клаус-Лэнда. Мне приходилось делать над собой усилие, чтобы отогнать картинку, где они вдвоем сидят в сауне. Наши с Эмилем сообщения оставались шуточными и напоминали легкий флирт, однако никто из нас не предлагал встретиться — с тех пор как он упомянул о пицце. Интересно, что он имел в виду — не новую ли итальянскую пиццерию в центре города? Я с удовольствием сходила бы туда, но мне не хотелось брать с собой папу или Мортена с Тарьей. Подспудно я все время откладывала этот визит — с тех пор, как Камило посоветовал мне пригласить туда Эмиля.

Казалось, это идеальное место для первого свидания… Если бы только я набралась смелости это предложить. В голове вертелись воспоминания о том моменте, когда мы почти поцеловались, и, едва закрыв глаза, я снова видела перед собой эту сцену в мельчайших подробностях. Когда же мы продолжим с того места, на котором остановились?

— Куда мы так торопимся, Ида? — запротестовал папа, когда во второй половине дня мы шагали по запорошенной снегом тропинке в сторону магазина.

— У тебя же такие длинные ноги, что тебе жаловаться? — фыркнула я в ответ и поспешила дальше.

Но мне становилось все заметнее, что папа запыхался, и в конце концов я почувствовала, что не хочу довести своего старенького папу до инфаркта. Замедлив шаг, я постаралась сосредоточить внимание на окружающем ландшафте. По-прежнему было холодно, как в Сибири. В Стокгольме в конце февраля погода обычно смягчается, но тут Дед Мороз свирепствовал вовсю, словно весны не ожидалось вовсе. Минус 18 градусов — каждый раз, выходя на прогулку, я вынуждена была надевать папины теплые штаны.

Уговорить папу тепло одеваться не получалось, но кальсоны он носил и днем, и ночью.

— Как дела на работе? — спросил папа, тяжело дыша.

— Так себе, — призналась я, изо всех сил пытаясь приуменьшить то, что рассказала мне Тарья. — Мы работаем над тем, чтобы привлечь больше посетителей.

Я продолжала рассказывать на ходу, и, не успев оглянуться, мы оказались перед автоматическими стеклянными дверями.

Во время всего нашего шопинга папа вел себя на редкость адекватно. Он сам выбрал овощи, даже столь экзотические, как огурец. Затем пошел и принес кефир, справившись без всяких инструкций. Где этот человек был сегодня ночью, когда другой упрямец не давал мне спать, утверждая, что ему нужно на работу? Иногда я задавалась вопросом, не слишком ли я преувеличиваю папины моменты забывчивости. Разве не у всех пенсионеров случаются небольшие провалы в памяти? Но события прошедшей ночи погрузили меня в глубокие сомнения.

Учитывая тот факт, что у нас нет машины, мы с папой капитулировали и купили сумку-тележку. В этой самой сумке-тележке я и тащила наши

покупки вверх по склону обратно к дому.

С того момента, как я увидела, в каком состоянии наш церковный домик, я все время сравнивала его с другими, критическими взором окидывая каждый, попадавшийся нам навстречу. *«Этот давно нуждается в покраске. А вот тут доска прогнившая. И почему у них нет цветов в окнах?»* Мне отчаянно хотелось как-то благоустроить наш домик. Мы должны любой ценой оставить его за нашей семьей. Если «Испанская инквизиция» пошлет жалобу в Региональное управление и они примут меры, это станет для папы таким ударом, что я даже не знаю, как он его перенесет.

— Зайдем потом в музей, съедим по бутерброду с лососем? Если там еще открыто.

Папа бросил на меня бодрый и ясный взгляд, хотя все еще пыхтел на ходу.

— Конечно! Если ты не торопишься.

— На это у нас время найдется. Подумать только, ты им когда-то помогал! Абсолютно этого не помню.

— Ты была совсем маленькая, — ответил папа, замедляя шаг. — Но тебе нравилось ходить туда со мной. Ты обожала прыгать в сено, но и шоколадные шарики Катрин пользовались у тебя

большим успехом. Ты даже утверждала, что они лучше, чем мои.

Он состроил обиженную мину.

— Ясное дело, у нее они были лучше! Она делала настоящие шарики, а не давала мне есть тесто прямо из миски, немного посыпав жемчужным сахаром.

Папа рассмеялся.

— Я тебе это припомню в следующий раз, когда буду смешивать шоколадное тесто. «Пойди к Катрин!» Вот что я тебе скажу.

Когда мы подошли к дому, по другую сторону живой изгороди стояла Эва-Карин. Она помахала нам рукой. А рядом с ней Эмиль! Во всем теле закололи иголочки, снова налетели воспоминания.

— Знаешь, сколько мне понадобилось времени, чтобы сообразить, почему эти сумки называют «Каталинами»? — спросил Эмиль.

— Наверное, столько же, сколько и мне, — ответила я. — Я думала, их изобрела какая-то Каталина… а, оказывается, ее просто катят!

Эмиль широко улыбнулся мне, от чего я почувствовала легкость и прилив энергии, несмотря на долгий подъем в гору с тяжелой сумкой. Эва-Карин обошла изгородь, чтобы поговорить с папой.

Они сели на крыльце — я услышала, как папа предлагает выпить кофе. Эмиль остался стоять по другую сторону.

— Я как раз собирался уходить, — сказал он, склонив голову набок. — Зашел на минутку — попросить маму посмотреть один контракт. Она часто хвастается, что в студенческие годы им читали основы юриспруденции, так что пару раз в год ей приходится подтверждать свои знания.

— Понятно, — пробормотала я. Сердце упало при мысли, что мы не успеем поболтать.

— Кстати, в прошлый раз ты мне не ответила, — проговорил он, приподняв одну бровь.

— На что?

Мозг заработал на повышенных оборотах, во всем теле снова закололи иголочки. Неужели я пропустила какое-то ночное сообщение в мессенджере?

— В смысле — когда мы разговаривали в церковном домике. Ты любишь пиццу?

— Само собой, — ответила я. — Я даже заметила, что в центре…

— Появилась новая пиццерия, — закончил он.

Мы оба засмеялись. Скоро мы будем разговаривать, как Тарья и Мортен.

— В ближайшие две недели я буду в отъезде,

но, может быть, сходим поедим пиццы, когда вернусь? — предложил он.

— С удовольствием!

Глядя ему вслед, когда он, помахав мне, побежал к машине, я почувствовала, как уголки рта сами собой тянутся вверх, намереваясь остаться в таком положении. Потыкав ботинком в снег, я задумалась, что же мне сделать, чтобы время прошло быстрее. Прежде чем я успела втащить в дом «Каталину» с покупками, в моем телефоне звякнуло.

«Как здорово, что ты приехала сюда», — сообщение завершалось подмигивающим смайликом. Сердце у меня в груди подпрыгнуло.

Набирая ответ, я подумала, насколько по-другому общались влюбленные в былые времена. Бабушке пришлось целое лето ждать солнечного денька, когда у Фольке настанет затишье в рыбалке, и он сможет зайти в гости. Сама я не могла утерпеть и десяти секунд, прежде чем начать отвечать Эмилю, славшему мне сообщения из машины, стоящей по другую сторону живой изгороди.

Глава тридцать вторая

— У меня дома весь снег на балконе растаял, каждый день сижу и загораю, — проговорила элегантная дама в лиловой куртке. Яркий цвет оттенял белизну вокруг нас, и я мысленно отметила, что надо купить новые цветы для нашего домика. Что-то должно оживлять вид на фоне некрашеных досок.

Я оглядела бескрайние снежные просторы. Какой контраст со Стокгольмом, где в апреле весна вступает в свои права! Там уже начинают цвести ветреница, первоцвет и гусиный лук, в то время как в Лулео сугробы достигают максимальной высоты. Как раз в этот день мы сидели на Церковной площади, под лучами яркого солнца. Лицу стало жарко, хотя стоял последний день марта. Моя экскурсия прошла в полном соответствии с ожиданиями. Проведя тур для большой группы пенсионеров из Умео, я предложила им закончить осмотр достопримечательностей чашечкой кофе, сидя на шкурах северных оленей посреди сугробов.

Когда кружки опустели, группа поблагодарила меня и стала садиться в свой автобус. Некоторым

трудно было подняться по лесенке, и я с удовольствием помогла им. После двухчасовой экскурсии казалось, что я давно и хорошо их знаю.

— Сюрприз! — раздался у меня за спиной радостный голос Тарьи. Я обернулась. Выглядывая из машины, она помахивала в воздухе двумя коробочками суши из моего любимого ресторанчика.

— Ты супер! — выпалила я, принимая коробочку с едой. Усевшись на шкурах, мы взялись за сырую рыбу.

— Как у тебя дела, Ида? За всеми этими совещаниями никак не успеваю с тобой поговорить.

— Да все в порядке, — ответила я, прищурившись на солнце. — Но папа по-прежнему ведет себя странно. То он совершенно такой же, как всегда, то вдруг спрашивает про события, произошедшие десять лет назад. Я уже стала было надеяться, что мой «план по восстановлению папы» поставил его на ноги, но сейчас все больше начинаю в этом сомневаться.

— Как странно, что у него такие перепады, — проговорила Тарья и съела еще одно суши. — Ну, а ты сама как?

— Честно говоря, так много всего — не высыпаюсь. Если даже он не просыпается среди ночи,

я так волнуюсь, что он проснется — все время подскакиваю, — проговорила я и почувствовала, как голос изменяет мне. Наверное, я стала такой чувствительной из-за хронического недосыпа. Не желая впасть в истерику посреди площади, я поспешно добавила:

— Ну хватит об этом! Спасибо за суши. Правда, очень вкусно.

— На здоровье, — ответила Тарья, удовлетворенно чмокая. Но потом заглянула в мою коробку и сказала:

— Ну так поешь еще, моя девочка!

Только тут я поняла, что съела всего одну штучку. Обычно я так люблю суши, что остальным приходится держать ухо востро, чтобы я не съела и их порцию тоже. Есть совсем не хотелось, хотя у меня с шести утра и крошки во рту не было. Подумав об этом, я поняла, что и накануне тоже не чувствовала голода. Голова постоянно болела, еда вставала поперек горла, когда я пыталась заставить себя что-нибудь съесть.

— Потом поем, сейчас я не голодная.

— Может быть, это стресс? — спросила Тарья, глядя на меня серьезным взглядом.

— Или же я заболеваю?

— Ида, береги себя, чтобы не дойти до ручки.

Обязательно скажи, если мы чем-то можем тебе помочь. Если что, и я, и Мортен всегда рядом. Помни об этом!

— Спасибо, — сказала я и положила ладонь на руку Тарьи. У нее в коробке осталось одно жалкое суши.

Просить о помощи у меня не очень-то получается. Стиснув зубы, я смогу дотянуть этот день до конца. Или все же принять протянутую руку Тарьи, раз она действительно готова мне помочь?

— Если ты не возражаешь, я бы пошла домой отдохнуть. Я правда ужасно устала, — призналась я.

— Конечно, иди!

— Но когда Мортен уйдет на следующую экскурсию….

— Тогда я посижу за стойкой сама. Во второй половине дня наверняка будет спокойно, — ответила Тарья и решительно кивнула, показывая, что вопрос закрыт. — До завтра! — прибавила она.

Странное чувство — ложиться в постель среди бела дня, но все же именно так я и поступила. Закрыв жалюзи и опустив рулонную штору, я задернула обычные занавески, желтые со светлыми розами. Папа пообедал, принял лекарства и

теперь отдыхал на диване. Забравшись в постель, я почувствовала, как веки сами собой закрываются. Чтобы избежать безрадостных размышлений, которым я так много предавалась в последнее время, я включила Netflix. Но едва успев выбрать сериал, заснула сном младенца.

Кажется, прошло всего несколько секунд, как вдруг резкий оглушительный писк вырвал меня из сна. Я почувствовала сильный едкий запах, доносившийся из кухни. Вскочив с постели, я, вся всклокоченная, в одной футболке и носках, кинулась вниз по лестнице. Сердце у меня стучало, как механизм часовой бомбы. Когда я влетела в кухню, в нос ударила чудовищная вонь. Воздух стал тяжелым и удушливым. Все вокруг словно закрасили серой краской.

«Пожар!» — такова была моя первая мысль. Или я выкрикнула это вслух, точно не знаю.

— Папа!

— Ничего страшного, — ответил папа откуда-то из клубов дыма. — Я хотел подогреть еду и забыл выключить конфорку.

— Мы горим? — визгливо выкрикнула я.

— Вовсе нет! — решительно ответил папа.

Теперь я увидела его. Он стоял у входной двери, открывая и закрывая ее. Дым слегка рассеялся.

Подойдя к окну, я дрожащими руками распахнула его настежь. Вскоре дым начал улетучиваться, наконец-то стало можно дышать. Тут мой взгляд обратился к плите.

— Папа! Ты расплавил эту пластмассовую штуку!

На одной конфорке стояла кастрюля с подгоревшими остатками еды, на другой — наполовину расплавившаяся пластмассовая коробка из-под печенья. Зачем он включил все четыре конфорки? Дрожа всем телом, я отключила пожарную сигнализацию и тут же кинулась соскребать со стеклокерамической плиты пластик — получалось так себе. Зараза въелась намертво. Папа охал у меня за спиной.

— Хотел сделать тебе сюрприз, приготовить ужин. Да, неудачно вышло.

И потом добавил:

— Как хорошо, что ничего не случилось!

Ничего не случилось? Да столько всего случилось!

Уголком рта я ощутила что-то соленое. Слезы? Я плакала? Тут я заметила, что плачу до сих пор.

Я зашла в первую попавшуюся комнату — это оказалась папина спальня — и захлопнула за собой дверь. Плюхнувшись на кровать, закрыла

лицо руками. Слезы полились ручьем, я начала громко всхлипывать. Почему все пошло наперекосяк? Я собиралась приехать сюда, навестить папу, привести его в порядок. Он долго был один, плохо питался — более чем правильно, что я взяла это дело в свои руки. Папа оказался в такой ситуации по моей вине, так почему же мне не удается все исправить? Только услышав шарканье папиных тапок по сосновому полу под дверью комнаты, я взяла себя в руки. Посмотрела на себя в зеркало, висевшее у него в спальне. Нет, так дальше невозможно. Мне нужна помощь.

Почта. Где лежит почта? Я прошла мимо недоумевающего папы прямо в кухню. Он продолжал повторять одно и то же, но у меня не было сил слушать. Перерыв целую стопку бумаг, я наконец нашла то, что искала. Письмо из больницы с кратким резюме нашей встречи.

«Антон Мякинен, ответственный сотрудник». Здесь же был записан его номер телефона. Это тот самый молодой парень, предложивший помощь, от которой папа столь решительно отказался. Но сейчас ситуация изменилась. Я поспешила в свою комнату, села в кресло и достала мобильный телефон. Кажется, во всем теле пульсировало, пока я набирала номер и ждала ответа.

— Социальное управление, Антон Мякинен, ответственный сотрудник, — произнес в трубке мужской голос, и я чуть не встала по стойке смирно.

— Добрый день. Это Ида Сунделин. Мы встречались в больнице по поводу моего отца Стена, — сказала я, поцарапав ногтем засохшее пятно на обивке кресла.

— Помню. Здравствуй, Ида!

— В тот раз медсестра сказала, что она заметила… в общем, что папа не совсем ориентировался во времени и в пространстве, пока лежал в отделении. Я обратила на это внимание еще осенью, но не смогла сказать об этом при нашей встрече, — начала я.

— Вот как?

— Да, его как будто подменили, он все время спит, совсем запустил дом и сад. На какое-то время все вроде бы нормализовалось, но потом он упал и попал в больницу. Мне показалось, что дома он стал лучше, но сейчас ситуация сильно ухудшилась. Он просыпается по ночам, сжигает еду на плите. Я не понимаю, что с ним такое.

— На этот вопрос, понятное дело, трудно ответить по телефону. Возможно, у твоего папы деменция, но это может быть связано и с другими

причинами.

— Но разве деменция может наступить так быстро? Иногда он ведет себя как обычно, а через минуту я его просто не узнаю.

— При деменция возможны очень быстрые изменения, но аналогичные симптомы могут проявляться, например, при воспалении мочевыделительной системы. С другой стороны, в больнице это обычно проверяют по стандартной схеме, а на встрече по планированию дальнейшего лечения никто об этом не упомянул.

— Воспаление мочевыделительной системы?

— Может быть, воспаление возникло у него уже после пребывания в больнице, и это сказывается. Точно сказать нельзя. На всякий случай ему следовало бы обратиться к врачу.

— Боюсь, на это он не согласится. И сильно сомневаюсь, что речь идет об инфекции. Такие состояния у него то возникали, то проходили всю осень и всю зиму. Будь это инфекция, она за это время поднялась бы до самых почек, и тогда это стало бы заметно, не так ли? На нашей прошлой встрече мы говорили о помощи в уходе за отцом, и теперь я осознала, что мне это нужно. Силы мои кончаются. Поэтому я и звоню.

Мякинен молчал.

— Я хотела бы подать заявление о помощи на дому и даже о проживании для папы. Можно это устроить?

— А что говорит твой папа? — спросил Мякинен.

— В последний раз, когда я беседовала с ним об этом, он не хотел. Но это становится необходимо.

Голос мой сорвался на фальцет.

— К сожалению, я не могу организовать помощь твоему папе против его воли, — ответил Мякинен. — Это основа закона о социальной службе, по которому строится вся моя работа. Добровольность, сама понимаешь.

— А ничего, что он может запросто спалить дом?

— У вас есть таймер или сенсорное устройство, отключающее плиту при перегреве? Очень рекомендую.

Настал мой черед надолго замолчать.

— Нет.

— Мне очень жаль, Ида. Подавать заявление на помощь для кого-то другого могут только родственники, имеющие доверенность. Но, может быть…

На этом месте я положила трубку. Стало совершенно тихо. Я оглядела свою бывшую комнату,

проклиная себя за то, что вовремя не обзавелась доверенностью. Съежилась в кресле, ощущая полный упадок сил. Из гостиной доносился бодрый голос доктора Фила. Неужели мне придется сейчас встать и пойти готовить еду? Папа только что сжег остатки, которые я собиралась разогреть на ужин. Более всего на свете мне хотелось лечь и накрыться с головой одеялом.

Два часа спустя, когда мы, поужинав, сидели и смотрели телевизор, в дверь постучали. Я в своей пижаме с Hello Kitty пошла открывать. На пороге стояла Эва-Карин. Она с удивлением посмотрела на меня.

— Позволила себе немного полениться, — проговорила я.

Эва-Карин склонила голову набок.

— Я думала о тебе.

Грациозная, словно газель, она проскользнула в дверь и огляделась. Почувствовала ли она легкий запах расплавленного пластика?

— Ида, — проговорила она, нахмурив лоб и пристально глядя на меня. — Мне кажется, тебе надо немного развеяться.

Эва-Карин отвела челку со лба и заложила ее за ухо.

— У меня есть лыжи. Надень пару толстых

шерстяных носков, тогда мои пьексы будут тебе как раз. Пойди на лыжню, которая начинается за музеем, и поднимись на холм возле Рутвика, а потом обратно. Эрдландсон только что укатал лыжню. Скольжение идеальное.

Я смотрела на нее, стараясь сдержаться, чтобы не наморщить нос. Лыжи? Я попыталась объяснить, возразить, но обычно такая мягкая Эва-Карин на этот раз не сдавалась.

— Вот тебе жилет с отражателями, чтобы на тебя случайно не налетел лось, — коротко сказала она, показывая, что вопрос решен.

Глава тридцать третья

В папиных теплых штанах и лыжной куртке, в пьексах на три размера больше и с лыжами родом из восьмидесятых я явилась на лыжню, ведущую прочь из города. Нести все снаряжение вдоль посыпанной гравием улицы до самого леса оказалось почти невыполнимой задачей. Я совсем забыла, как одновременно держать лыжи и палки, чтобы не уронить их.

Солнце почти зашло, снег вокруг меня приобрел сине-фиолетовый оттенок. Небо окрасилось приглушенным синим цветом. Синий час. Справа от меня — музей под открытым небом, где собраны старые хуторские постройки. В свете уличных фонарей белело здание магазинчика. Вставив пьексы в крепления, я засунула руки в петли палок, сделала глубокий вдох и пошлепала по лыжне.

После десяти мощных толчков палками все мышцы заныли от напряжения, при этом мне удалось продвинуться метра на два. Пора поменять технику. Как там говорил папа? «Использовать тело, как маятник». Одна палка вперед вместе с противоположной ногой. Я оттолкнулась и

скользнула по лыжне — медленно, но все же продвигаясь вперед. Вокруг были только снег, елки и березы, залитые таким же синим цветом. Я как будто попала в банку с краской. Пройдя что-то около километра, я согрелась и запыхалась, однако в мышцах жечь перестало. Мне начало нравиться — я даже подумала, что надо будет как-нибудь повторить.

Подъем в гору дался мне тяжело. Пришлось применить новый подход — широко расставить лыжи, упираясь палками позади них. Я вся вспотела, оглядываться через плечо было страшновато. Изо всех сил старалась не сравнивать себя с олимпийской чемпионкой Шарлоттой Калла. На каждый шаг мне приходилось дважды отталкиваться палками, однако я постепенно поднималась вверх, и вот наконец — ура, я на вершине Кебнекайсе! Ну, на том невысоком холме, где мне было велено сделать небольшой привал. Сбросив лыжи, я почувствовала свободу движения. Тут меня потрясло — до чего же тихо в лесу! Хотя церковный городок — довольно тихое местечко, сюда, на вершину холма, не доносилось ни звука — ни лая собак, ни разговоров соседей. Полная тишина.

Достав из рюкзака сидушку, я уселась прямо

на сугроб. Наконец-то в ход пошел термос. Кофе аппетитно дымился. Отпив глоток, я поежилась от удовольствия. Эва-Карин сделала мне ирландский кофе, добавив немного виски — вернее, плеснула щедрой рукой. Когда я привыкла к этому вкусу, чашка кофе пошла на ура. В животе разлилось приятное тепло. Видимо, было два-три градуса мороза, поскольку от моего дыхания образовывались небольшие облачка пара, но я разогрелась во время подъема и по-прежнему не ощущала холода. После второй чашки в полной тишине я почувствовала себя заново родившейся и наконец-то смогла отпустить мысли о папе. С этого холма и правда открывался ни с чем не сравнимый вид. Подо мной простирался церковный городок Гаммельстад — все его четыреста восемь домишек, белая колокольня и темно-серая каменная церковь. Сделав фото, я тут же послала его Камило, мгновенно получив в ответ десяток звездочек, массу улыбающихся смайликов и клятвенные заверения, что он переедет жить в Норрланд.

«Напоминаю еще раз — это называется Норрботтен».

Приятно было снова получить от него весточку — после той эсэмэски, где он писал, что должен

рассказать нечто важное, в нашем общении образовалась некоторая пустота. Сама же я довольно долго ломала голову над тем, что же там у него такое важное. Ясно одно — новость состоит не в том, что он намерен переехать сюда. А навязчивая, но безумная мысль, что он решил сделать ставку на наши отношения, показалась невероятной. С моей стороны, как всегда, последует решительное «нет».

Пока я стояла и смотрела на всю эту зимнюю красоту, мне стало казаться таким странным, что мы теряем посетителей, рискуя большими сокращениями. Неужели все туристические объекты должны превращаться в безвкусные копии Санта-Ярви? Несколько глотков кофе сами собой скользнули в горло. Внезапно я представила себе рекламу церковного городка на манер Санта-Ярви.

«*Добро пожаловать в церковный городок Гаммельстад! В каждом домике тебя ждут рождественские гномы, готовые записать твой личный список желаний. Посети мастерскую гномов на площади и вольер с ручными рысями, привезенными самолетом из Сибири. Мы надеемся, что тебе понравятся наши фигуры лосей, петушков и звезд, составленные из ста семидесяти восьми тысяч*

мигающих лампочек».

— Нет, нет! Фу, какой ужас! — воскликнула я вслух и налила себе еще глоточек кофе. Городок был прекрасен таким, как есть, и если уж я что-то и усвоила за годы работы в сфере пиара, то основное правило звучит так: лучше ретро, чем безвкусица. Кроме того, не будь традиции собираться на праздники в церковном городке, не факт, что я вообще появилась бы на свет — ведь именно здесь бабушка познакомилась с дедушкой. Я снова посмотрела вниз, на этот раз — пытаясь визуализировать, как все это выглядело в прежние времена.

«Троица в церковном городке Гаммельстад — проведи выходные в собственном домике! Повозка, запряженная лошадьми, доставит тебя прямо до двери. Все еще ждешь своего суженного? Может быть, ты встретишь кого-то на танцах в риге под звуки гармони? Многое может случиться до воскресной церковной службы».

— Да! Да! Да! — крикнула я, поднимая деревянную чашку высоко в воздух. Меня осенило. Ключ к успеху церковного городка очень прост: чтобы продвинуться вперед, мы должны вернуться назад.

— Мы уникальны тем, что воссоздаем старое.

Нам не нужны ручные олени — у нас и без мигающих лампочек аутентичная рождественская атмосфера. Здесь настоящая идиллия. Приехав сюда, ты сможешь совершить путешествие во времени!

Теперь я выкрикивала свои идеи в полный голос.

Несмотря на весь свой пыл, я замерзла, поэтому, быстро допив остатки кофе, закинула рюкзак за спину. Прежде чем двинуться в обратный путь, я отправила Эмилю спонтанное сообщение о том, как мои креативные идеи спасут церковный городок и как я мечтаю поесть с ним пиццы. Ужасно досадно, что мы все никак не можем увидеться. Каждый раз, когда в телефоне звякало, я надеялась, что у Эмиля найдется время встретиться, но он постоянно был в разъездах или на бесконечных совещаниях, а период затишья все отодвигался. Две недели уже превратились в три и даже почти в четыре. Постоянно прокручивая в голове все наши разговоры, я пыталась вспомнить свои ощущения, когда мы с ним касались друг друга, представляла себе тот миг, когда мы почти поцеловались — и мечтала о продолжении.

Отправив сообщение, я двинулась вниз по

склону. Ветер бил в лицо, и я не смогла сдержаться, чтобы не закричать «Й-и-и-ху!», на большой скорости съезжая вниз. Легкий поворот вправо, пригнуться от веток слева, въехать на пригорок. Дорога назад прошла гораздо легче. То ли благодаря открывшимся мне новым горизонтам, то ли так подействовал ирландский напиток.

— Я вернулась! — крикнула я и сама удивилась, как бодро прозвучал мой голос.

— Хорошо было немного сменить обстановку? — спросила Эва-Карин, выходя в прихожую в папиных шерстяных носках. Она, с ее чуть прищуренными улыбающимися глазами, напоминала рождественского гнома.

— Еще бы! Кстати, очень вкусный кофе! То, что доктор прописал.

В прихожую вышел папа.

— Ида всегда отлично ходила на лыжах, — заявил он.

Я приподняла одну бровь и рассмеялась. Потом одним движением стащила с себя уличную одежду, обняла Эву-Карин и поблагодарила за помощь. Едва она ушла, я отыскала у папы бутылку виски, налила себе и ему.

— Стен! — крикнула я и обнаружила, что папа опять неслышно пробрался в кухню. — Держи! —

сказала я, протягивая ему стакан виски. — Невозможно каждый вечер делать шоколадные шарики. Иногда приходится чем-то разнообразить.

Мы уселись за кухонный стол. Папа — в клетчатой рубашке, я — в термобелье.

— Угу, — проговорил папа, одобрительно поглядывая на стакан, потом посмотрел в окно. — Отличный вечерок сегодня. Легкий минус, как раз для катания на лыжах.

— Точно! — ответила я и отхлебнула золотистой жидкости. — Знаешь, папа, мне кажется, я придумала план спасения городка. Пока я каталась на лыжах, мне в голову пришла прекрасная идея.

— Я в тебе не сомневался, — произнес он, поднося стакан к губам.

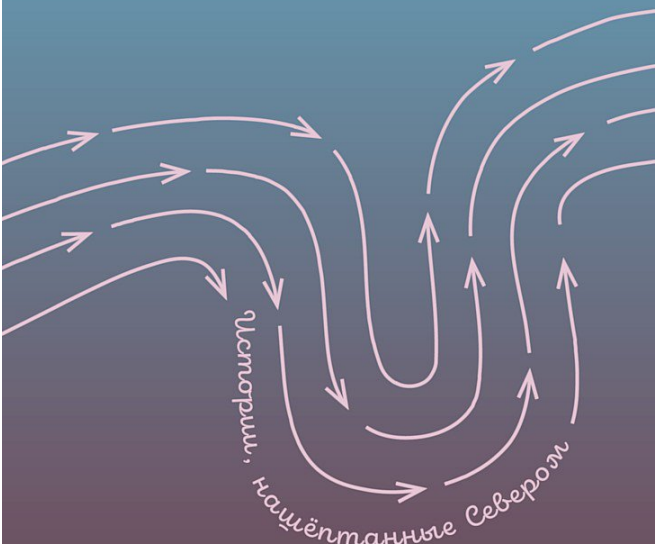
Отхлебнув еще глоток, я принялась рассказывать. Папа слушал с большим интересом, то и дело кивая. Рассказал пару эпизодов из бабушкиной молодости, и мы вместе набросали план, какие мероприятия мог бы предложить посетителям городок. Что-нибудь этакое, что сделало бы нас уникальными и неповторимыми. Когда мы с папой допили напиток, синий час уже давно сменился кромешной тьмой, и я от всей души пожелала, чтобы все вечера были похожи на этот.



Стина Стур
«Чюдищи»
(Рассказ)
В переводе Юлии Шубиной

В ПЕРЕВОДЕ ЮЛИИ ШУБИНОЙ

Рассказ



Стина Стур

ЧЮДИЩИ

...И дом, равного которому нет на всей земле. (Лгут те, кто утверждает, что похожий дом есть в Египте.) Даже мои хулители должны признать, что в доме нет никакой мебели.
Другая нелепость — будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора? Кроме того, однажды, когда смеркалось, я вышел на улицу[15].

Хорхе Луис Борхес

Возле дома лежит гравий, вечно утопающий в грязи. Иногда она достает из него острые кусочки кварца. Есть в них что-то особенное. Они — словно осколки плотного тумана. И их всегда так и хочется помыть.

А однажды нашелся он. Мертвый, точно зеленое стекло, хрупкий и такой хрусткий на свой лад. Сперва она лишь тычет в него пальцем, но потом, наклонившись всем тельцем к вмятине на подкрылке сааба Густавсонов, высвобождает бедного малютку Зеленца-Красавца. Стрекозлика.

Он слегка прилип к нагретой резине стеклоочистителей, и во взгляде появился металлический

---

[15] Примечания: 15
Перевод В. С. Кулагиной-Ярцевой.

отблеск. Как у зеркала. Пусть стрекозлик, раскинув крылышки, полежит в левой руке, а правой она прикроет его, как крышей. И это вовсе не чтобы его спрятать, а только чтобы защитить, а то еще стукнется обо что-то и рассыпется. Крылышки-то у него совсем тонюсенькие, как хлопья высохшего кефира.

Зеленец-Красавец великоват для ее ладошек, торчит немного, так что на самых трудных участках дороги ей приходится пятиться, при этом выставив щитом спину. Путь ее лежит, естественно, не вдоль дома и не через лужайку, а сквозь заросли кипрея. Через это розово-розовое царство джунглей. Ее собственное, заветное, оно находится в кинь-канаве.

А там — тысячи узких тропок меж высоких стеблей, и туда она возьмет с собой стрекозлика.

У земли стебли кипрея почти что голые, но сверху этого не разглядеть из-за копны соцветий, с высоты которых и не чаешь, сколько тут всего. Наружу, к щеголевато-яркому солнцу, обращено по-летнему яркое покрывало из цветов, но под ним, в самой глуби, кроется куча выброшенного кем-то старья. Бутылки и полиэтиленовые пакеты лежат здесь под бурым слоем увядших растений. В кинь-канаве можно найти и сплю-

щенные консервные банки из-под американской ветчины, и круглые ребристые жестянки, наводящие на мысль о консервированных сосисках. Все это будет однажды забыто на веки вечные, ну и ладно.

Там, среди кипрея, растут кусты малины, о которые можно поцарапаться, если ходишь с голыми коленками, а еще тут, глубоко пустив корни в ручеек-холодок, стоит старый смородиновый куст, каждый год приносящий кислые ягоды красного цвета. Эти кислые ягоды предназначены только Сандре, они все достанутся ей одной.

Сандре, да.

Солидно и сильно. Скромно. Странно. Сохранно.

В дровяной печи возле рябины у нее есть личный тайничок. Там хранятся камушки белого и розового кварца, пластинки слюды и стеклянные шарики, пронизанные мелкой цветной волной, есть там и много всего другого. Такого, что стоит сберечь. Как, например, янтарный браслет Маргареты, от которой красота то и дело требовала каких-нибудь жертв, и бабушкины вставные челюсти с желтоватыми коронками и полупрозрачным нёбом. Сандра сверяла их по фотографии и поэтому точно знает, что это точно

те самые. А нашла она их в помятом цинковом ведерке без дна, где-то среди бутылок и прочего кухонного хлама.

Давно уже никто не ставит печься булочки за тяжелую дверь печки — в этой-то каморке Сандра и соорудит ему палаты. Малыш Зеленец-Красавец, такой легонький и хрусткий, будет покоиться тут, положив подбородок на янтарный браслет. А она сядет перед ним на корточки. Будет смотреть и думать о смерти. Впечатлительная она, как говорит Папаня.

А сверху, стоит взрослому только встать в полный рост, пышут розовым цветом густые заросли, но Сандра пока что до них не доросла. В промежутке между маечкой и голубыми штанишками виднеется мягкий детский животик. Кеды у нее не на шнурках, а на липучках, и они каждый день промокают в ручье. Ничего тут не поделаешь.

Ее старшая сестра Аннели ходит вся в прыщах. На груди и спине у нее зреют уродливые закупоренные бугорки с желтой сердцевиной. Стоя под душем, она почти до дыр растирает свое страшное подростковое тело щеткой на длинной ручке (там еще черная грязюка у самого основания белых ворсинок). Старается она так, что бугорки начинают кровоточить, и вот именно тогда ма-

ленькой Сандре разрешается войти в окутанную паром ванную комнату и наложить маленькие клочки туалетной бумаги на те участки спины, куда Аннели самой не достать, а то, если не наложить, будут пятна на одежде. Эти бумажные клочки пушатся по краям. Сквозь их белизну проступает и выглядывает наружу темно-красный зрачок. Пока у Аннели вся спина покрывается такими вот глазками, со своей стороны в дверь ванной все барабанит Папаня:

— Скока можно, достали!

Обычно, когда они слишком долго задерживаются в душе, он спускается в подвал и перекрывает им воду. Но сейчас толку от этого не будет. По крайней мере пока Аннели, стоя голышом, намывает себе лицо зеленой спиртовой жижей из маленького флакона, а затем замазывает себе все покраснения на носу и подбородке корректором, который якобы должен быть телесного цвета, но на коже какой-то совершенно рыжий.

Сандра нащупывает ладошкой защелку, но открыть не может. Не может, ведь Аннели устремляет на нее взгляд, угрожающий расправой и словно бы говорящий: «только попробуй, зараза мелкая». То-то же.

Еще по ноге у Аннели, той, худой и вывернутой

так, что пятка смотрит наружу, а пальцы — вовнутрь, стекает кровь. Всего лишь тонюсенькая красная струйка. Немножко. Совсем немножко крови. Но у Сандры к горлу подступает ком, ей приходится отвернуться и воткнуть ноготок в стык обоев. Мягкие и воздушные, как булочки, обои на стыках бурые, будто покрылись ржавчиной. А еще в такие стыки удобно запихивать козявки.

На обоях ванной — синий узор четырехлистного клевера. Синий был мамин любимый цвет. Четырехлистники равномерно рассыпаны по всей комнатушке. А между ними белеют пустые пространства, их больше всего. Выверенная белая пустота.

Уходя, Папаня хлопает дверью. Весь дом вздрагивает, а в шкафах дребезжит посуда.

— Дошло ж таки до козла, что во дворе тож сортир ессь, — ехидничает Аннели, наклонясь к зеркалу и продолжая возиться с лицом.

Отперев, Сандра выныривает за дверь. Здесь попрохладнее, дом полон свежего воздуха, и ей дышится легко. Под потолком на специальных желто-липких лентах скапливаются маленькие и темные мушиные тельца. Дверцы шкафчиков на кухне голубые. Не такие голубые, как джем

из голубики, потому что он-то как раз сиреневый, а скорее как незабудки или колокольчики. Крупный шмель, оказавшийся по ту сторону баррикад, все карабкается по москитной сетке за кухонным диванчиком. Время от времени он жалобно жужжит.

Взобравшись на диванчик, Сандра встает в полный рост, чтобы выпустить гостя, а для этого надо сначала снять зеленую резинку с накидного крючка, но тут вдруг Аннели криком велит ей сходить к Папане и спросить, не купил ли он тампоны. Вот так:

— Спроси: купил?

И, встав одной ногой на подоконник, Сандра все же решает слегка придавить шмеля.

В том месте сетки, куда она давила, появилась выемка, а шмель упал на подоконник и стал корчиться в жутких судорогах.

Но! — никуда идти не хочется. И все же она идет, как же не пойти.

В этом году до самого туалета расчистили газонокосилкой дорожку, но рядом еще виднеется та старая, хоженая-перехоженая серо-коричневая тропинка. Из-за иголок и шишек кажется, что никто о ней уже и не помнит. Сандра запрещает себе ступать в щетинистую зелень, растущую по

краям. Нельзя сейчас пуститься в эти свои летние путешествия среди растений, как она это умеет.

Идти далеко в высокой траве с пальцами врастопырку, и пусть ее колоски лезут прямо в ладоши. Как будто лаской приручать мир.

Или, перекладывая туда-сюда камушки в кинь-канаве так, что меняется звучание ручейка: вода с них то тихо покапывает, то тяжело громыхает.

Нет, она все-таки пойдет по самой середке старой тропинки, как по канату, протянутому между крыш домов. Иначе ей вовремя не дойти.

Папаня сидит в сортире с дверью нараспашку, вид у него вполне кроткий. Глядя на Сандру, он щурится от солнца, и ему ее лицо видится в лишь как калейдоскоп из крапинок и полосок, поэтому ко лбу козырьком приходится приставить широкую ладонь. Руки у него разрисованы синими картинками: всякие тети с большими сисями и попами. По краям обрезанных джинсов висят белые нитки, и под коричневой жилеткой у него нет рубашки, солнышко зарывается ему прямо в волосы на пупке.

Сандра стоит рядышком, а солнце печет ей спину. Как-то по-особому скалясь, Папаня что-то достает из-за спины и протягивает со словом: «На-ка», — и это «на-ка» означает: «Пожалуйста,

это тебе».

— На-ка! Гляди, какой харошой.

Сандра заходит к папе на полшажка и берет из его рук.

Принца-в-сердце-плюх. Вдруг оказывается: это райское создание. Такой большой! Ну просто..!

У лягушонка светло-желтый животик, только немного в пятнышку. На задних лапках длинные пальцы соединены перепонкой цвета ржавчины, а на передних — пальцы настоящие, с гнущимися суставами. Вроде подвижных деталек. Лягушачьи лапки как у младенца: если ухватят за палец, уже не выпустят. Сандра улыбается, а Папаня собой гордится. Добытчик. Молодчина. Хотя Аннели бы сказала «негодяй», ведь Сандра утыкается прямо в лягушонка, произнося:

— Папа, а у Аннели опять месячные, ты купил ей эти, как ых, тампоны?

— Нетушки, нич-чего я не купил! Как у нее это началось, я больше стал давать на карманные расходы! Поди-ка и напомни ей, что отцом было велено.

Сандра опускает взгляд на папины деревянные сабо с серыми потертостями на черной коже. На полу сортира лежат остатки старого осиного гнезда, похожие на какую-то бумажную вихрятину. В

вихрятине ползает крупный крылатый муравей, папа топчет его ногой.

— Знай, Сандра, эдакие муравьишки когда-нить сожрут нам дом.

Взяв рулон, он начинает наматывать на руку шершавую туалетную бумагу.

Домой Сандра возвращается по тому же «канату», по которому и пришла сюда. Обе руки заняты ее райским созданием. Желтые глазки, рот во всю мордочку. Брюшко светлое и припухлое.

Завернув за торец, уже на крыльце она видит Аннели, стоящую в одних трусах, с волосами, собранными в хвост, правда, отдельные белесые прядки все равно свисают ей на грудь, покрытую прыщиками, замазанными рыжим цветом. Аннели закурила одного Джоника, папину сигаретку марки «Джон Сильвер», и говорит:

— Нас тока трое: Джек, Джон и я.

Слышно, как в этот момент она пытается походить на Папаню, но у нее, видимо, что-то болит, и поэтому выходит не то, как-то брюзгливо, а ведь папа говорит совсем по-другому.

Грудь у Аннели — как отвисшие соски у гончей Уве Юнссона — тоже вся в каких-то пятнышках, отметинах, припухлостях, к тому же у обеих грудь одинаково неприкрыта. Обе они голые, но при

этом не красивые. Помнится, эта гончая, ощетинившись, лежала с кутятами, а они все тянули ее и дергали, и, еще слепые и черные комочки, они ползали друг по другу, пища и поскуливая, а у их мамы торчали эти самые соски, хотя в остальном у нее было обычное собачье тело: с шерсткой, радостным хвостиком и всем таким. Голые, не прикрытые шерстью мешочки с какой-то пипкой на конце.

— Гляди, что у меня есть! — говорит Сандра, а Принц-Плюх весь распластался по ее рукам, голенький и гладенький. Он чуть-чуть двигает ножками — нет, не то что капризничает, а так просто шевелит всем подряд. Но потом, присмирев, успокаивается и лежит себе, тяжелый, в ее маленьких ладошках. Ноги у лягушек на самом деле длинее и тоньше, чем может показаться, когда они просто так, вяло свисают вниз. Брюшко у него зеленое и блестит, как подкладка кошелька из комода Аннели. Вот такой он. Особенный.

— Купил он мне что надо? — спрашивает Аннели.

— Не-а. Эт ж его не касается, — отвечает ей Сандра.

— Блин, да ищ-ще ж ка-ак касается! Мне ж даже в джинсы не втиснуцца с этим дурацким подгуз-

ником на заднице! Глянь-ка!

Аннели оборачивается, показывая спину. На ней осталось несколько бумажек с багровыми глазками, а трусы все просто голубые, только кружева по краям.

— Он ваще отец или как?

— Ну нет вапщета.

Аннели тушит сигаретку в цветочном ящике, висящем на перилах.

— Вот же бли-ин!

Потом Сандра остается на крыльце одна: Аннели уходит в дом, чтобы выпотрошить из шкафа всю негодную одежду. Сидя на нижней ступеньке, Сандра гладит лягушонка по выпуклым горбинкам на спинке:

— Ну-ну, — утешает она его.

Все-таки в основном он коричневый, и у Сандры тоже всегда видно коричневые линии в складочках на ладошках. Они с ним в каком-то роде подходят друг другу. Сочетаются.

Потом приходит Папаня, неся с собой белое десятилитровое ведро. В нем будет жить лягушонок. Ведро с лягушонком ставится под крыльцо, а Папаня ходит довольный, насвистывая песенку про своего вечного Хартов-Голда. Дает лягушонку всякие разные красивые прозвища.

— Эк какой мне замеч-чательный зять достался, скажу я вам! Тока бы он тя, Сандра, плохому не научил.

Папаня, как обычно, берет Сандру за подбородок. Большой палец сверху, а снизу — шершавый указательный. С улыбкой глядит ей прямо в глаза, близко-близко. Его щетина как медная проволока. Кожа загорелая, только внутри морщинок — белая. Особенно красный у него нос, который к тому же весь в мелких ямках, прямо как клубника, только зернышек внутри нет.

Когда папа уходит в дом варить кофе, Сандра бродит по пажити, нащипывая розовые кругляшки клевера для лягушонка. А потом заползает под крыльцо и бросает их в ведро. Под крыльцом все как в подземном царстве. Валяются червячные коробки с четырехугольными прорезями на крышках, окурки, банки из-под пива, старые цветные горшки и две сбитые лопаты без черенков. Земля тут утоптана, и ничего не растет. Из-за света, бьющего сквозь доски, все в полосочку.

Под половицами висит сеть, в которой застряли крылышки насекомых. Это уже остатки. Косиножки не всегда их доедают, или это крылатые сами вырываются из сетей и, лишившись своих крыльев, падают на землю, начиная новую жизнь

уже в качестве пресмыкающихся или ползучих.

Сандре холодно. Лягушонок топчет клевер: «топ-топ-топ» — слышно его лапки по дну белого ведерка. По размеру он — примерно половина этого самого дна. Заглядывая в будущее, понимаешь, что зрелище будет неутешительное.

Пока папа пьет кофе, читая в газете объявления о продаже автомобилей и борзых щенят, Сандра сидит рядышком, болтая ногами и макая в его кофе кусковой сахар из медной сахарницы. А бывает, прильнет ухом к синей пышногрудой тете у него над локтем.

— Вот такого давненько бы надо было завести, — произносит папа, тыкая пальцем во что-то очень хорошее в газете. — Ну, крошка, скажи ж, какова была б красота!

Сандра угукает, а во рту крошится сахар.

— Угу-у.

Иногда почти выговаривает «да».

На клеенке в желтую полоску прожжены маленькие дырки, в них приятно запихивать хлебные крошки. Получается такая игра. После нее весь стол в бугорках, и это вроде как навсегда, так что даже стаканы не стоят ровно. Ну и пусть их, все равно до этого только Аннели есть дело.

Слышно, как Аннели там сверху все что-то сну-

ет и возится. На одной из стен в ее комнате есть следы от ударов, она там колотила своей тростью для ходьбы. Бывает у нее такое настроеньице, грымзоватое и брюзжащее.

Почитав до кучи еще и объявления о знакомствах, Папаня говорит:

— Вот выучишься у меня в институте, когда вырастешь, будешь высокая и без вредных привычек… ой, да тьфу ты, дочура!

Вдруг на кухне объявилась Аннели и стала всем мешать. Допытываться, почему это Папаня не постирал белье, а еще… И еще, и еще! Список можно продолжать до бесконечности.

И тут начинается настоящий кошмар, из-за которого Сандре приходится сползти со стула под стол — поглядеть на свои розовые жвачки. Они твердые, кое-где виднеются лунки и тоненькие следы от ногтей.

— И в чем ж тада, по-твоему, Сандра должна итти на праздник? — спрашивает Аннели, когда перебранка поуспокоилась.

— Эт какой еще такой праздник? — спрашивает папа.

И тут Аннели начинает трещать про праздник. Бла-бла-бла, как будто ей известно все-все-все на белом свете. Вот всегда она так. Словно все знает

лучше остальных.

Сандра дергает Папаню за бахрому на шортах, чтобы он макнул кусочек сахара в кофе и передал ей под стол, но он делает вид, что ничего не замечает. Тогда она принимается дергать его за черные волоски на голени, а он, дрыгнув ногой, ушибает большой палец о ножку стола.

— Йеш-шкин др-рын! Сукины дети!

И потом снова ешкин дрын: рванув со своего места, Папаня перед тем, как уйти, опрокидывает стул на пол.

— Ччер-рт побери, Сандра!

За домом в кинь-канаве растет кипрей. Меж залитых солнечным светом розовых верхушек, колыхающихся на ветру, гудят златоглазки, но у самой земли, где скачут лягушки, стебельки растений голые и бурые, а вокруг можно отыскать жуков, упавших вверх тормашками, и извивающихся червяков. Сандра прихватила с собой ведро и, пока она волочит его за собой сквозь кипрей и малину, чего только в него не падает через ободок. Всякий сор, труха и шелуха так и липнут к лягушонку.

Извиваясь и журча, далеко вперед течет ручеек. Сандра только было хотела помыть лягушонка, а он, брыкаясь, выскальзывает у нее из рук и

скрывается под камнем, но она настигает его и забирает обратно. Принц-в-сердце-плюх все-таки необходим ей в утешенье. Желтые лягушачьи глазки. Весь блестит от воды. Сандра легонько целует его в мордочку, но превращения не происходит. Большой он, солидный весь из себя, такой вот. Затем, вернув лягушку в ведро, наклоняет его, чтобы туда набежало немножко воды. А теперь пусть постоит в ямке между корнями пня, а Сандра пока половит еще лягушек для поцелуев. Принц-Плюх плескается у себя в воде. Практикует летнее плавание в собственном бассейне. Остальные лягушки будут помельче его. Две самые маленькие, стоит им сжаться в комок, похожи на круглых жуков, а как только расправятся, — то уже на крупных косиножек. Шмяк, бряк. Теперь лягушек четыре. И у всех мизерные пальчики, которые вечно к чему-то тянутся — любят они хвататься за все подряд. Передние — лапки-карабки, а задние растопыриваются, как у озерных птиц.

Вода в ручейке течет из холодного родника. Это дикая, подернутая рябью вода и притом совершенно прозрачная. Словно бы и вовсе невидимая. Такая вот.

Она начинает бить у старого колодца, но потом

снова скрывается под землей, стоит ей только добежать до проволочного забора, за которым раньше держали овец и до которого ни у кого так пока и не дошли руки. Лишь мгновенье ручейку течь под солнышком по земле у Сандры в кинь-канаве, а затем ему предстоит скатиться обратно в ямку между двумя большими камнями.

У Сандры в кармане лежат кусочки сахара, а кофе нет. Сахарок так себе, больно твердый. К нему пристал синий пух из кармана, ну ничего, в воде у лягушек еще отойдет.

— Нате-ка! — обращается она к лягушкам. — Нате!

Она хочет им сказать: «Пожалуйста, это вам!» — но лягушки как будто этого не понимают, а сахар остается лежать на дне ведра.

Аннели опять станет ее звать. Уже давненько она вот так стоит на краю лужайки и все кричит, зовет Сандру, а когда сестренка наконец выходит из кипрея, то и тогда старшая сестра злится на нее и лишь больно хватает за руку.

Да и на Папаню тоже злится, вообще-то. Вообще-то Сандре с Папаней сейчас лучше было бы пока не высовываться вовсе, а то будет только хуже. Папаня притаился в дровяном сарае. Точнее: он, скорее всего, сейчас в дровяном сарае и делает

вид, что сидит тихо. Может, с ним там вместе йешшкин дррын, но он тоже тихонький, а еще там, наверное, «Джек Дэниелс», налитый в стакан из-под горчицы, и Джоник, пепел с которого папа стряхивает в жестяную банку из-под кофе, стоящую среди разбросанных кругом кривых гвоздей. Папаня не из тех, кто рискнет возвратиться раньше времени. Сообразил, что хотя бы этого делать не стоит.

Аннели вдела в уши пластмассовые кольца фисташкового цвета и натянула на себя джинсовую юбку с кружевом на талии и рядами оборок. Из вещей Маргареты, которой вечно приходилось чем-то жертвовать ради красоты, она взяла блузочку без рукавов, но внизу завязала узел, чтобы было видно живот, а еще от нее так разит лаком для волос, что голова начинает кружиться.

У Аннели вырывается:

— Бли-ин, Сандра!

Теперь Сандре светит душ и мыльная пена, щиплющая глаза. А потом, завернутая в полотенце с изображением Бетти Буп, она будет сидеть на кухне и есть фильбрюту — хлебец с джемом, сметаной и свиной грудинкой.

Вот так вот.

Но надо же в кои-то веки и слезть со стула —

поглядеть, что там такое на подоконнике и на полу за диванчиком. Шмеля нигде нет. Исчез. Улетучился. Пропал. Ну и хорошо, зато не будет больше никому мешать.

После этого она надевает чистые белые гольфы, красные шортики с белыми полосками по бокам и голубую футболку с маленьким зайкой на груди. Аннели сама все выбрала и сказала, что это то, что надо. Что это нормальная красивая одежда. Как раз для праздника.

Вернулся Папаня в приподнятом настроении, и ему пришла одна идея. Идея такая отличная, что он без конца насвистывает песню про Хартов-Голда. Еще он принес с собой картонную коробку, с прошлого месяца валявшуюся в багажнике сааба. Раньше в ней лежал гидравлический насос, который теперь стоит в подвале у Уве Юнсона и делает «др-р-р» (когда давление жидкости достигает отметки ниже двух баров). Коробка большая, как из-под обуви, и, поскольку двигатель Папаня уже заменил, теперь она лежит без дела. На желтой этикетке изображены черные циферки и значки, а так вообще картон коричневый и прочный.

— О-от какая хорошая мысля мне пришла. У них ж нету шерсти, такшт у ребятишек, скорей всего, и аллергии не буит. Всем ж шалопаям иногда

хочица се зверушку завести.

Сандра заносит ведро в дом и медленно, по очереди, перекладывает лягушек из него в коричневую коробку. Начинает с Самого Принца-Солидного-Плюха, а за ним идут и все остальные. Растворившийся в воде сахар уже не видно, а то бы лягушкам положили с собой в дорогу еще и перекус. Внимательно наблюдавшие за переселением каждой лягушки Папаня и Аннели затем запечатывают коробку: пока он наклеивает горчичного цвета скотч, она всю эту конструкцию поддерживает, и ей с коробки на пальцы капает вода.

— От-так!

И в этот миг Папаня будто глядит на Сандру и видит, что она все же чуточку огорчена, и поэтому продолжает:

— Да не грусти ты, дочура, ты ж знаешь, у них там в центре нету стока лягушек, скока у тя тут. — Он поглаживает ее широкой ладонью по спине. — Да и ваще, када у тя буит день рожденья, ты их можешь обратно се забрать!

Аннели достает из чулана под лестницей рулон упаковочной бумаги. Бумага рождественская, с узором, на котором Санта-Клаусы с горой подарков мчатся в санях по заснеженному пейзажу,

но, кроме этой бумаги, дома все равно ничего больше не найти, да и вообще не стоит судить по обложке.

У Сандры внутри все так и сжимается при виде того, как Папаня то так, то эдак тормошит коробку, чтобы бумага легла как надо. Ее должно хватить не только на обертывание, но и на загибы по бокам. Зубами отрывая кусочки скотча, с горем пополам он заканчивает работу и сразу становится такой гордый.

Сандру сажают на заднее сиденье, а коробку кладут ей на колени. Аннели же вечно так и норовит ехать спереди, а туда пускают, только как повзрослеешь и наберешься уму-разуму. Но из папы водитель такой, что по дороге тебя мотает из стороны в сторону и дыхание сбивается, так что, несмотря ни на что, поездкой все равно остаешься доволен. Вот так вот.

Это такой толчок. Он помогает встряхнуться и отпустить.

Подскакивая на усыпанной гравием дороге, в багажнике дребезжат детальки в один, полтора и три четверти дюйма. Это уже когда-то снятые с машины запчасти, но они еще могут однажды пригодиться. Там есть металлические тройники и переходники, хомуты, торцевые ключи и се-

ровато-белая пышная льняная пакля, похожая на кукольные волосы или на колоски кипрея по осени. Голубой газовый баллон, несмотря на свою пузатость, твердо стоит на месте, а от него, извиваясь, отходит шланг. У Сандры на заднем сиденье лежат купоны спортлото, пустые пачки сигарет, обертки от мороженого, написанные от руки квитанции и еще всякая всячина. И снова клочки пакли. Есть в машине и дорогие вещи, но трогать их запрещено, они тоже похожи на какие-то ржавые штучки-дрючки. «Прибамбасы», — с улыбкой отвечает Папаня, когда она про них спрашивает:

— Прибамбасы не трожь!

В кувшинчике в черную пятнышку и с маленьким носиком хранится смазка. Пташка из металла.

Когда сааб Густавсонов сворачивает на девяносто второе шоссе, то дребезжание прекращается, потому что тут дорога уже заасфальтирована. Только теперь становится ясно, до чего противный шум стоял все это время.

Вдоль дороги на телеграфных столбах протянуты провода. Чаще всего из окон видно только лес, но когда позади столбов мелькают поля и поваленные деревья, то провода становятся похожи

на черные нити, которые, едва успел вдохнуть, резко вильнут то вверх, то вниз, то снова вверх.

У Папани есть одно дельце в местном сельском киоске. Сейчас он только быстренько с ним разберется. Он пулей. И нечего тут бузить!

Пока они ждут, Аннели, прокрутив ручкой вниз, опускает у себя спереди окно. В машину залетают мухи, питающие исключительный интерес к носу Сандры, и ей приходится без конца его тереть. По коричневой стене киоска бежит трещина, краска отслаивается, и осы так и копошатся между листами газетных объявлений, там, где проглядывает древесина, которую они так по-летнему пытаются погрызть. С плаката смотрит девушка с улыбкой красавицы и косой челочкой. Ее и в новостях тоже показывали, зовут ее то ли Убийство, то ли Жертва, то ли Изнасилованная, то ли Труп. Но чаще всего про нее говорят «Марлена из Бюртрэска», ей было всего шестнадцать, когда…

У нее могло бы быть прекрасное будущее, и именно поэтому так цепляет именно ее случай, теперь же она знаменитость, но все еще так дружелюбно улыбается, совсем не зазналась.

В ней все души не чают и правильно делают. А ведь совсем недавно никто и не подозревал

о ее существовании, но теперь — теперь у нее такая красавицына улыбка и вообще она для всех Жертва или «та самая» Марлена. Особенная, не то что Аннели, у которой есть какая-то исковерканная, колючая сторона и плохого настроения всегда навалом, — нет, Марлена красавица, душка, именно в таких влюбляются без памяти и на таких хочется быть похожей.

Оставшись стоять возле киоска, Папаня прикурил Джоника. Стоит, перекидывается парой фраз с каким-то дядечкой в кепарике, пока тот переминает в руках коробку со снюсом, под мышкой зажав газету, на которой изображена то ли Марлена, то ли чьи-то сиси, то ли еще что.

— А ну, ты! — вдруг ревет Аннели. — Да, ты, ты!

В ответ Папаня лишь бубнит себе под нос:

— Так, девки, сидите и ждите мня…

Как-то так он отвечает, а потом выплевывает Джоника и возвращается к ним.

В машине к тому моменту было уже настоящее пекло, и, усаживаясь внутрь, он спрашивает у Сандры, не сварились ли еще в коробке принцики, а она ему отвечает что-то в духе:

— Да эт так, прицесски, я ж их целовала, а они ни в кого не превратились.

Что-то такое она ему ответила. Всего-то.

Но оказывается, что это был перебор: Аннели поворачивается к ней с выпученными глазами и пошла-поехала:

— Да ты вапще что ль, Сандра, с ума сошла? Ну неужто ты целовала этих тварей? Хосподи, фу! Меня щас стошнит!

Вот всегда с ней так. Ничего не смыслит. Одни крики, вопли и возмущения, вот ее-то никто бы не стал брать силой, да чего уж, ее бы и просто так никто не взял, сколько бы она ни красилась и ни пшикала волосы лаком.

А Папаню все это только смешит. Он тоже опускает у себя стекло и высовывает локоть из окна. Заводит машину и шалит, так давя на газ, что сааб Гусставссонов делает «врум-врум!» — прямо как гоночная тачка! Хотя с места не двигается. Только «врум» и все.

— Чокнутые, бли-ин, — ворчит Аннели, но при этом ни на Папаню, ни на Сандру не глядит. — Чокнутые придурки.

Не на шутку разобидевшись, она отворачивается к окну и сидит не шелохнется, портя все впечатление от поездки видом своей прыщавой спины. И так всю дорогу: с того самого момента, как они только трогаются, и дальше, когда

проезжают бело-синюю вывеску супермаркета «Восьмерка», желто-зеленый логотип автозаправки «БиПи» и трехэтажное краснокирпичное здание школы, виднеющееся сквозь рядок осин. В лицо дует ветерок, слегка развевая белесые волосы в хвосте у Аннели и поднимая с темного сиденья купоны спортлото и клочки пакли, кружащиеся в танце рядом с Сандрой.

У праздничного дома красная крыша и белые стены, а поодаль от него стоит церквушка, такая же белая. На входной двери, покачиваясь, висят воздушные шарики, и Сандре при виде них становится неловко (один — длинный и зеленый, а другой — красный, да еще и круглый). Коробка у нее в руках не легкая и не тяжелая, какая-то неравномерная, и по упаковке все так же несутся Санта-Клаусы в санях. Сандра замечает, что они забыли ухватиться за кудрявые вожжи.

Затем в дверях появляется Нарядная мама в праздничном платье, у нее еще такие большие очки, а так радостно улыбается она именно потому, что Сандра и Аннели смогли приехать на праздник.

— Ах, ну что же вы!

И еще:

— Проходите, проходите!..ах!

Когда Папаня уезжает, на усыпанном трескучим гравием подъезде к дому остается два следа от колес сааба, но Нарядная мама, не заметив этого, лишь кладет ладонь Сандре на спину, подталкивая ее к двери.

А Аннели с места не двигается. Так и стоит на солнышке, оперевшись о трость, и кричит:

— Я пойду прогуляюсь до могилки! Полью там цветы… и все такое.

И Нарядная мама, обернувшись, кивает ей в ответ со словами:

— Ты только крепись, Аннели, — хотя ничего такого в поливке цветов нет: льешь себе и льешь, но с Аннели так всегда. О ней всегда все переживают.

В темной прихожей видимо-невидимо обуви, которая валяется и там и сям. А промокшие в кинь-канавских кедах гольфы уже успели испачкаться. Пробираясь на ощупь, Сандра идет дальше в дом. Но у двери в кухню как бы замирает. Там внутри все залито светом, которого так много, что в глазах почти рябит. К темно-зеленым кухонным дверцам на скотч налеплена куча пестрых рисунков, а на пол постелены полосатые коврики. На каждом стуле лежит по цветастой подушке, привязанной лентами к рейкам на

спинке, а с люстры свисают шарики почти всех цветов, какие только бывают на свете. Облопавшись торта со взбитыми сливками, довольные дети, визжа и звеня голосами, кружат у стола в шапках из бумаги. Три другие девочки бегают все бело-розовые в своих летних платьицах.

Прямо как зефирки. Вылитые. Ни дать ни взять.

Одна мама с короткой стрижкой пытается за чашечкой кофе побеседовать с другой, пунцовой мамой, которая своей энергией заполняет все кругом. Сняв одежду, пунцовая мама прикладывает младенца к одной из грудей, чтобы тот умолк. Она загорелая, только грудь у нее белая, как фарфор, и из-за этой груди тоже невольно смущаешься, ведь она такая нежная, что хочется прильнуть к ней щекой, хоть самую малость. Или потыкать в нее пальцем — в общем, она почти как лягушачий живот.

Сандра не знает, у кого из детей сегодня день рождения, и потому никак не возьмет в толк, как поступить с подарком.

В конце концов она ставит коробку на пол, как можно дальше от полосатого коврика, и садится на стул, который для нее выдвигает Нарядная мама.

Два мальчугана вынуждены начать сильно толкаться друг с другом, а то вдруг их тоже будут грудью успокаивать, а потом один из них падает со стула, но ничего, забирается обратно, чтобы еще потолкаться.

— Во-от так!

На шейке Сандры появляется тоненькая эластичная лента на голове — что-то вроде шляпки. И:

— Ах, ну что за маленькая принцесса, вы только посмотрите! — радуется Нарядная мама.

Солнечный свет заглядывает в стеклянные стаканы, и в них, посверкивая, переливается мультифруктовый сок. Рубин, красная дрема, рябина! Как-то так. Как в сказке! Нарядная мама старательно нарезает торт, и Сандре достается такой огромный и красивый — можно сказать, роскошный, — кусок, который теперь величаво стоит в самой серединке тарелки в цветочек. Остальные дети кладут сладко-слюнявые ложки на скатерть, но Нарядная мама так мила, что ни единого словечка на этот счет не говорит.

Сандра легонько мотает ногами, про себя напевая песенку про Хартов-Голда. Стоит ей воткнуть ложечку в кусок торта, как, прорвавшись через коржики, наружу выливаются банановое пюре и

малиновый джем. Банановое пюре и малиновый джем, вот это вкуснятина! И сливочный бордюрчик лежит такими аккуратными завитками, и все-все так идеально, как будто взято с фотографии в журнале «Аллерс».

У кофейных мам с языка не сходит Марлена. Та самая девочка. Марлена то, Марлена се.

— А у меня, кстати, тоже ессь спрятанный трупик, уж очень он был красивый, — вставляет Сандра.

Но тут вдруг позади нее появляется Нарядная мама и слегка теребит ее за руку:

— Да не слушай ты их, Сандра. У них там свои, взрослые разговоры.

Фраза «взрослые разговоры» прозвучала как-то строго, и девочка, как по волшебству, исчезает из беседы мам, сменяясь словами:

— Только представь, как быстро время летит!

И всяким другим, о чем Сандре им рассказать нечего.

По краям блюда с тортом лежат сдобренные сливками свечки. Они нужны, чтобы измерять время. Свечки на торте, часы и календарь объединения «Северных лесовладельцев», который висит дома на кухне, в нем Папаня особым красным карандашом отмечает свои подработки. А

здесь, на кухне, повсюду цветы. Цветы на шторах, в горшках и в синей стеклянной вазе на столе. А часы стоят в углу, ростом они со взрослого и тоже в цветочек. Все. Все. Как на сказочном лугу.

Один мальчик с ямочками на щеках случайно опрокидывает стакан с соком, который стекает через край прямо на юбку девочки в платьице. И Нарядной маме приходится вытирать со стола и промакивать чистыми желто-синими салфетками платье девочки. Жалко так тратить салфетки: они были довольно красивые. Девочка очень расстроилась и плачет:

— Ну-ну, не нада, не нада, — твердят мамы. — Совсем ничего в этом нет страшного, ничего не будет видно после стирки, вот увидишь!

— Да и вообще судят не по обложке, — добавляет Сандра.

Но тут кофейная мама с короткой стрижкой резко фыркает на нее, и это значит: «Помолчи-калучше». Не проронив больше ни слова, Сандра, предавшись своей застольной песне, мотает ногами и все ест и ест: пусть, мол, сами разбираются со своими проблемами.

Какой-то мальчик с джемовым ртом, посыпанным бисквитной крошкой, положив подарок Сандры на стол, разрывает на нем упаковку и,

отодрав скотч, открывает коробку.

Лягушек в коробке разморило, и они стали липкие, словно покрывшись сахарной глазурью. Одна маленькая лягушка пристала к спине Солидного Принца, как будто у нее случился обморок.

— Сандра?

Но Сандра ест торт. Кусочек еще не свалился набок. Сливки, красный джем и банан. Ест она осторожно, чтобы кусок не падал. Крошечки кекса в сливках. Сливки с вареньем и бананом. Вкуснятина!

— Сандра Густавсон?

И мамы все повторяют своим нарядным детям лягушек не трогать:

— Не трожьте!

Выбравшись из коробки, одна маленькая лягушка с другой, чуть побольше размером, вываливаются на испачканную праздничную скатерть. Светит солнце, и на всех стаканах хорошо видно мутные следы от детских пальцев, а у краев — еще и от губ. Это новый мир, и существа бурого цвета исследуют его ощупью, угловато передвигаясь по цветастому фарфору, ложкам и грязным салфеткам.

Облокачиваясь на спинку сиденья по дороге домой, Сандра чувствует корону на голове и

тоненькую кружевную ленту на шее. Корона сделана из плотной бумаги, внешне она золотистая, а внутри белая. Игрушечная. Сандра ее снимает и кладет рядом. Вместе с обертками от мороженого, купонами спортлото и паклей.

Спрашивает:

— А можно порулить?

А Папаня отвечает:

— Попозже.

Никогда ей нельзя рулить на большой дороге.

— Попозже, Сандра, как будем поближе к дому.



Пер Улов Энквист
«Марш музыкантов»
(Отрывки из романа)
В переводе Ольги Денисовой

В ПЕРЕВОДЕ ОЛЬГИ ДЕНИСОВОЙ

Отрывки из романа



Пер Улов Энквист

МАРШ МУЗЫКАНТОВ

Напасть греховная

* * *

Она снилась ему до конца жизни.

Всплывала в старческих снах, являясь ему одновременно девочкой и старушкой. Никаких кошмаров, все очень естественно и правдоподобно. Лицо Эвы-Лийсы, каким оно было, когда она только пришла к ним, но с царапиной, как в последнюю встречу. Всё сразу. Глаза широко распахнуты, смотрят без упрека, но с немым вопросом. Во сне он совершенно точно знал ответ, но вопрос, каким был вопрос?

Еще это было как-то связано с крысами в западне.

Дело было в первые годы. Никанор с Эвой-Лийсой соорудили за хлевом загон для пойманных крыс. Вырыли ямку, стенки обшили плотно пригнанными друг к другу досками. Сверху лежала жестяная пластина. Туда кидали крыс, и они еще довольно долго оставались живыми и бодрыми. Было весело, и вместе с тем чуточку жутко. Иногда вниз кидали картошку или отходы, чтобы продлить веселье и посмотреть, как

крысы дерутся. Самым замечательным и самым ужасным были их междоусобные войны, пока у животных еще оставались силы. Тогда Никанор с Эвой-Лийсой сидели и, замерев, наблюдали за происходящим.

На их лицах не было злобы или вредности, просто бледно-желтыми летними вечерами в прибрежном краю Вестерботтена они сидели и с любопытством, задумчиво и невинно наблюдали за тем, как внизу в бессмысленной братоубийственной войне сражаются крысы. Вероятно, дети думали: *«мы — не крысы»*, и голодные крысы продолжали сражаться в этой бесполезной войне, в битве своих против своих, каннибализме, ненависти и отчаянии, а сверху за ними наблюдали любопытные детские глаза.

Во сне ее глаза будто спрашивали: почему увиденное ничему нас не научило?

Или же: как же нам следовало поступить?

* * *

Никто точно не знал, как все началось. Но вдруг это случилось. Вдруг она начала воровать.

По мелочи. Просто чтобы отметиться.

Может быть, неправильно говорить «по мелочи». Кража краже рознь. Два эре не всегда просто

два эре, а одна крона не всегда просто одна крона. Первая и единственная сохранившаяся кассовая книга в доме Маркстрёмов осталась с 1908 года, когда семья переехала в Оппстоппет: записи делались чернилами, аккуратно, и, если сложить все доходы за год (что сделано! И верно!), оказывается, что никогда не отлынивавший от работы Карл Вальфрид Маркстрём за год заработал 864 кроны. Вот и все, остальное растворилось в деталях: разгрузка леса у Д. А. Маркстедта в Коге, 12 дней по 4 кроны 20 эре. (Замечательно! А на выходные он приезжал домой?) Сортировка в Брэдгордене, 103 часа по 32 эре. Похуже, но зато близко, ночевать можно дома. В январе в общей сложности 15 дежурств на лесопилке по 2,94 кроны за смену — удача! Удача! Кому еще с декабря по февраль выпадет заработать, когда лесопилка то и дело простаивает? Расходы также аккуратно прописаны.

И так далее. И так далее. 864 кроны за год. Воровство — дело нешуточное (особенно в этих условиях).

Воровство — промелькнувший в траве змей. Внезапный холодок в воздухе, страх.

Все началось с двух эре, когда она пошла в магазин за продуктами. Пропажу заметили не

сразу, но когда Карл Вальфрид с привычной лютеранской дотошностью все пересчитал, то с удивлением обнаружил, что двух эре не хватает. Должно быть, досадное недоразумение: но на всякий случай он решил спросить у Эвы-Лийсы, куда пропали деньги. Она уверяла, что понятия об этом не имеет, но так яро, бойко и поспешно, что стало ясно: монету украла она. Ее Богом молили сказать правду. И тут она почти добровольно сняла левый ботинок, вытащила спрятанную в нем монету, со звоном швырнула на стол и выбежала.

Они смотрели друг на друга, потеряв дар речи. Не просто воровство. Еще и проявление гнева.

Воровство — смертный грех, так же как и гнев. Совершенно ясно, что в семье такое не может пройти незамеченным. Маркстрёмы приняли эту несчастную душу, как козу в овечье стадо, а она и воровать не постыдилась. Неужели девчонка оказалась испорченной.

Всего одиннадцать лет, а она ворует.

Небесная арфа стала звучать приглушенно, печально и одиноко мычать над их замешательством, как корова вдалеке от дома. Что поделать. Говорят, отец девочки был не из простых, писал книжки о цыганах. А мать — пианистка. Да, мо-

жет, и от отца толку не было.

Эва-Лийса молчала. Настало время, когда замолчали все, и только по робким слезам на глазах Юсефины было заметно, что ее мучает дуновение прикоснувшегося к ним ледяного ветра из котла вечных мук (они все так думали: адский жар и адский холод).

Эва-Лийса молчала. Она часто смотрела на Никанора темными, совершенно бездонными глазами, но, когда он задавал вопросы, ей нечего было сказать. Она просто сидела на чердаке и смотрела в окно, как будто внезапно сквозь весь остальной мир она видела цветущую Карелию: водопады, сверкающие горы, пастухов со стадами овец и траву, такую зеленую и свежую.

Через неделю ее поймали снова.

Юсефина Маркстрём взяла из маленькой комнаты Библию и псалтырь, положила их на диван на кухне и воскресным вечером собрала всех на совместный молебен ради отпущения грехов.

В длинном, худощавом, сильном теле Юсефины жил не на шутку талантливый церемониймейстер. Такие небольшие семейные службы она вела особенно виртуозно. Все было четко спланировано, она точно знала, где должны стоять стулья, кто должен опуститься на колени и где

какие псалмы спеть, как сделать так, чтобы напряжение нарастало и наполняло души осознанием греховности. Для начала несколько глубоких вздохов воскресным утром, пока все завтракают размоченной в бульоне лепешкой. Слегка дрожащие губы, обязательно слезинка (незаметно утертая), в середине дня еще слезинка, нарастающее ощущение подавленности и грусти. Лучше всего и всего правильнее вообще не ужинать (пустой желудок! Плач и голод! Чувство физического покаяния!) — и, разумеется, пристальный контроль за тем, чтобы никакие неуместные шутки, болтовня или напевание мирских песен не нарушили атмосферу.

Все подчинялись ей на удивление беспрекословно. Они стояли на коленях: как всегда остервенело надраенный пол свидетельствовал о том, что семья, несомненно, жила крайне бедно, но, видит бог, праведно и (всё в той же наивысшей степени) опрятно.

Они стояли на коленях. В Никаноре и его семье не было ничего восторженного, напоминавшего пятидесятников (какое оскорбление!) или еще какие-то вольнодумства. Маркстрёмы вели себя совершенно трезво, весьма сентиментальным образом, но без малейшего намека на религи-

озный экстаз: они стояли на коленях, строгие, сдержанные, абсолютно не намереваясь разражаться криками «аллилуйя!» или прочими стокгольмскими светскостями и суевериями. Они были сосредоточены, и, пока мать Юсефина вместе с мужем по очереди читали молитвы и наставления, становились серьезнее и все больше раскаивались в своих грехах.

Стояла с ними и Эва-Лийса.

Псалмы брали из «Песен Сиона», сборника псалмов Евангельского национального общества. Пели именно их, потому что «Песни» обладали совершенно особенным шармом непритязательности. Сборник был простым, набожно пролетарским с оттенками гернгутерской мистики слез и крови; своей смесью народности, основательности, жертвенности и непритязательности он выгодно отличался от более напыщенного, чопорного и в чем-то *стокгольмского* псалтыря. «Песни Симона», как их называли в народе, *ни на что не претендовали*: мелкими, скромными, бесхитростными шажками они поднимались по узкому пути к Небесам и не зазнавались.

«Песни Сиона» принадлежали к их миру, а напыщенный псалтырь — нет.

И вот в этот странный воскресный вечер они

принялись за псалом из «Песен Сиона». *«Взглянув на себя, ощущаю я ужас, ведь жалкий, потерянный агнец я лишь»,* — пели они, а пронзительный, жалобный голос Юсефины звучал во главе преклонившей колено паствы. Ее голос выделялся даже в крупных собраниях. Она прославилась в округе резким голосом и тем, как свободно им пользовалась. Голос звонко, скорбно и жалобно скользил по ступеням мелодии с плавной неумолимостью, привычной в вестерботтенской юдоли, перекрывал все и был душераздирающим. *«Взглянув на тебя, исполняюсь надежды, навстречу заблудшим, Господь, ты спешишь»,* — пела она отчаянным жалобным голосом, а папа Карл Вальфрид смущенно бурчал вслед за ней, как лодка, прицепленная к пароходу и беспомощно болтающаяся на волнах. Сыновья вежливо мычали в такт. Никто из них особо часто этот псалом не пел; его скорее отыскали и выбрали ради текста, потому что ведущая церемонии в глубине души почувствовала, что автор псалма обращался напрямую к маленькой воровке, дочери пианистки из Карелии. Но песня была сложной и незнакомой, звонкий, набожный голос Юсефины прокладывал дорогу вперед, пока остальные пытались прислушаться и разобраться в мелодии.

«Взглянув на себя, я впадаю в унынье, ведь бремя греха мне тянуть нету сил».

Никанор пел, низко и, по-видимому, с чувством праведности склонившись над стулом, а сам краем глаза напряженно выжидающе поглядывал на Эву-Лийсу. Она сидела с закрытыми глазами, наклонившись вперед.

Ее лицо казалось сморщенным, как в судороге, губы вяло двигались, словно она пыталась подпевать, хотя в глубине души не хотела или не могла себя заставить. «*Взгляну на тебя, и тревога исчезнет, Спаситель мой, все ты грехи искупил».*

Затем Юсефина Маркстрём начала молитву:

— *Дорогой Иисус,* — произнесла она на чистом *шведском* тем чрезвычайно *шведским* голосом, который иногда использовала для особых случаев и который в глазах детей всегда придавал ее словам более серьезный, священный тон, — *дорогой Иисус, ты видишь, Эва-Лийса согрешила. Будь милостив, обернись к ней и смой грехи ее кровью Агнца. Она украла и припрятала деньги, и не созналась в обмане, и швырнула монетку на стол* (она почти сразу начала сбиваться и переходить на диалект, как будто местный говор, как строптивый конь, нехотя подчинялся церковному шведскому и лишь вначале изволил

соответствовать торжественности ситуации), *и вот мы молим тебя, дорогой Иисус, в милости твоей сжалиться над сим дитем, свершившим столь тяжкий грех и едва способным понять, как она согрешила.* За этими словами последовала пауза, Юсефина смахнула первые слезы и одновременно, похоже, воспользовалась случаем привести речь в порядок, чтобы та больше походила на ту торжественную манеру говорить, в народе именуемую «швенским». — *Дорогой Иисус,* — продолжила она с той же огромной серьезностью и искренностью, *ты не оставляешь нас несчастных в нашей нужде и наверняка знаешь, как сложно прокормить все эти голодные рты, но мы трудимся с утра до ночи в поте лица и терпим невзгоды, но, дорогой господь Иисус, ты сам знаешь, что воровать — такого с нами не случалось! Нет уж, вот воровать никогда не воровали, никогда!*

И тут в звенящей тишине кухни Никанор услышал, как папа Карл Вальфрид невнятным голосом заискивающе поддакнул: «*Нет, это правда так и есть, никогда не воровали!*»

И Никанор со своего дальнего места у стула увидел, что Юсефина Маркстрём плачет. Да, действительно плачет, не фальшивыми крокоди-

льими слезами, а настоящими слезами печали, тревоги или гнева. Он много раз видел, как мать плачет, но в этот раз ее слезы тронули его как никогда, как будто он хотел утешить ее и одновременно закричать, что он против всех этих слез, молитв, псалма и царившей в комнате *тишины.* Но с бегущими по щекам слезами она стала молиться все более рьяно, как будто отчаянно пытаясь убедить Всевышнего, что Маркстрёмы никогда, ни разу в жизни ворами не были, к чужому имуществу не притрагивались и денег не крали. *«Дорогой Господь*, — продолжила она после небольшой передышки, — *в милости своей ты заботишься о нас о всех, приглядываешь за теми, кто готов погрязнуть в полном греха мире и страдает оттого, возьми же за руку Эву-Лийсу и наставь ее на путь истинный, дабы не стала она как те юнцы-бродяги, что слоняются без дела и живут во грехе. Дорогой Иисус, ты знаешь, что зерна греха проросли в ее сердце, так не позволь греховности Эвы-Лийсы заразить наших невинных детей!»*

Тут тревога и муки совести, казалось, поразили родителей Никанора в самое сердце. Мама начала громко всхлипывать, в тишине, царившей на кухне у Маркстрёмов, звуки плача казались

оглушительными. Карл Вальфрид после минутного замешательства присоединился к жене, слегка неуверенно, как бы мыча и похрюкивая так, что было неясно, молится он или оплакивает грешницу. Да, оба они рыдали, отчасти горюя об Эве-Лийсе с ее воровством, отчасти тревожась, что зерна греха перелетят с этого юного, но уже прогнившего колоска на их собственных детей и прорастут в них. В завершение Юсефина добавила: *«О Господь, Спаситель мира сего, помоги нам, дабы напасть греховная не перешла на Ансельма, Акселя, Даниэля и Никанора, дорогой Иисус, ты ведь так милостив, ты не позволишь им стать такими как Эва-Лийса. Кровью Христовой, аминь».*

— Кровью Христовой, аминь! — торжествующе и с облегчением вторил стоявший справа от нее супруг. — Аминь, аминь, аминь, аминь, — послышались разрозненные, но послушные голоса мальчиков. Затем повисла недолгая пауза, а Юсефина серьезно и требовательно взглянула на Эву-Лийсу.

— Аминь, — наконец отозвалась и она.

— А теперь споем хором «Я гость и незнакомец», — объявил отец семейства, слегка запоздало пытаясь сделать вид, что это он ведет церемонию.

Запевал сам Карл Вальфрид, чуточку громковато, а остальные несколько сдавленно подпевали.

Все пели, и Эва-Лийса с ними. «Ведь здесь, на этом свете, — пели они, — повсюду живет грех. С ним чуждой для нас станет краса земных утех. Но он проклясть не может и проклят будет сам, меня он все же гложет. Ему не место Там».

Так они и пели. Дом, дом, мой милый дом. Все пять куплетов. Служба подошла к концу.

Вечером все оставались на удивление притихшими.

Никанор только и делал, что поглядывал на других, как будто пытаясь что-то понять, но не решаясь спросить. Ничего особенного он не увидел. Папа усердно корпел над кассовой книжкой, записывая все доходы и расходы за неделю; книга представляла собой тетрадь с синей обложкой и разлинованными страницами, этой тетрадки отцу, должно быть, хватит на всю оставшуюся жизнь. Юсефина молча сидела, как будто с затекшей шеей: так обычно бывало, когда она уставала, раздражалась, злилась или грустила — выяснить, что именно с ней происходит, удавалось нечасто. На ужин ели поджаренную ржаную кашу с брусникой. Еду поделили поровну; накладывая кашу, Юсефина выглядела строго и хладнокровно,

двигалась угловато, как будто хотела соблюсти строжайшую справедливость. Никанору вдруг захотелось, чтобы она перед сном погладила их по голове — всех, включая Эву-Лийсу, но он знал, что притрагиваться друг к другу не позволялось.

Пришлось довольствоваться едой, справедливостью, пожеланием спокойной ночи и суровым выражением лица.

Вечером Никанору не спалось. Он встал попить воды из ведра. В маленькой комнате на раскладном диване спали мама с папой, из кухни он разглядел лицо Юсефины. Во сне оно выглядело мягким, детским, она спала с приоткрытым ртом, губы будто вот-вот собирались расползтись в рассеянной, счастливой улыбке. Никанор замер и тихо дышал, чтобы никого не разбудить. Она спала как младенец.

Мальчик простоял так долго-долго, как будто пытаясь что-то понять. Затем решился, осторожно поднялся по лестнице на чердак, открыл дверь и бросил взгляд на кровать Эвы-Лийсы. В летнюю ночь лучи света мягко падали на пол, и он увидел, что девочка сидит в кровати. Она подложила подушку под спину и натянула одеяло до подбородка. Услышав Никанора, Эва-Лийса, казалось, на секунду испугалась, но затем медленно

отвернулась к окну.

Она вспоминает Карелию, подумал он. Горные долины и пасущихся там овец.

— Эва-Лийса, — тихо прошептал Никанор.

Она ничего не ответила. Никанор осторожно присел на краешек кровати, увидел ее совершенно распухшее лицо и все понял. Она оперлась на изголовье кровати и смотрела в окно. Она уже не плакала.

Мальчик не знал, что и делать.

Он не знал, что сказать, да она бы и не ответила. На стекле пестрели мушиные точки, за окном неприметно дрожали осины, ее взгляд был как будто прикован к чему-то снаружи, словно она никогда больше не повернется к нему.

— Эва-Лийса, — прошептал он, но было по-прежнему тихо.

Никанор огляделся по сторонам.

У стены напротив стоял буфет: Никанор резко встал с кровати и тихо подошел к нему. Там внутри у дверцы стоял сахар. Трогать его было строго запрещено, и все же мальчик взял щипцы, отломил кусочек и прикрыл дверцу буфета.

Когда он опять присел на кровать, Эва-Лийса взглянула на него.

Ее потемневшие глаза были прикованы к

Никанору. Как будто, вглядываясь в него, она пыталась получить какой-то ответ или попросить о чем-то, но глаза не выдавали ее чувств, оставаясь внимательными и опухшими, и ему больше не казалось, что Эва-Лийса сейчас в Карелии рассматривает, как на снегу в горах сверкают цветы. Короткостриженые волосы, обгрызенные ногти, Господь, смилостивься и не позволь греху заразить нас, дабы мальчики не стали как она. Кровью Христовой.

Она дышала тихо, как будто спала, но глаза оставались открытыми.

Никанор вытянул руку и протянул ей кусок сахара. Эва-Лийса не двинулась и не приняла его. Мальчик ждал долго. За окном шелестели листья осины, плавно, спокойно покачиваясь, но Никанор не замечал ничего, кроме глаз Эвы-Лийсы, темных, наблюдающих за ним. Он поднес сахар поближе, вплотную к ней. Губы у нее были сухие, слегка потрескавшиеся, она дышала. Он поднес сахар совсем близко. И вот наконец заметил, как губы почти что неуловимо разомкнулись: самым кончиком языка она осторожно дотронулась до белой поверхности сахара.

Улыбающийся мужчина

«Мы также хотели бы выразить благодарность за Ваше невероятно человечное отношение к нам. С истинным почтением, подписавшиеся ниже».

* * *

Отец Никанора в те годы нередко повторял: от права голоса пользы мало. Бедным голос дарует Господь.

Он имел в виду, что право голоса не так-то просто сохранить. Ведь если не оплатить налог, то и голосовать нельзя. Карл Вальфрид считал, что с Богом проще. Например, вспоминается, как его вызвали на собрание в Шеллефтео, где решался важный вопрос: год тогда выдался удачный, и у отца было право голоса. Он поехал. Фабрика Бюрео отправила своего представителя, у которого голосов было больше, чем во всем Шеллефтео. Карл Вальфрид вернулся домой, его голос ничего не значил. И тут все стало ясно. Право голоса трудно сохранить, а пользы от него никакой. Время было тяжелое. Ему действительно с тру-

дом удалось скопить деньги. Он свозил домой бревна и вырезал из них абсолютно гладкий брус, не допуская шероховатостей, края требовались совершенно ровные. В качестве образца использовали доску с прямыми углами. Вид бруса назывался девять на девять, и, если размеры совпадали, за это неплохо платили. Где-то одну крону. Ездить тоже приходилось неблизко. В то время он на лошади доезжал аж до Восточного Фальмарка, останавливался передохнуть вместе с лошадью, а затем ехал в Бюрео. Там на предприятии проводился замер. Сначала мерной вилкой измеряли длину, а затем проверяли, чтобы ни один край не оказался косым или узким, все делалось абсолютно идеально. Приходилось тяжко: если выявлялся малейший изъян, брус забраковывали. А если все бревно было кривым, то его просто откидывали в сторону и даже не возвращали Карлу Вальфриду. Брус был бракованным. С приезжими вроде отца Никанора обращались как хотели.

А что же социалисты? С социалистами все понятно: они много шумели, но реального положения дел не понимали.

Свой голос следует обращать к Богу. У Господа каждый бедняк получает по сорок тысяч голосов.

У него невозможно проиграть выборы, а кривой брус не выбрасывают как бесполезный мусор. Так считал Карл Вальфрид. Господь справедлив, на его суде нас не забракуют.

Им всегда говорили: Бог даровал нам землю. И они видели, что земля растет.

Это видели все. Берег поднимался. Год за годом побережье Вестерботтена становилось чуть шире. Люди знали, что так происходит не везде: у язычников в Конго не так, и у тех, кому пришлось поселиться на юге Швеции, тоже. Но Вестерботтен становился все больше и больше. Настал новый век, а рост продолжался, несмотря на предсказания, что именно 1900-й год станет поворотным и берег вновь опустится в море, словно Вестерботтен — спящий на краю моря великан, он вдыхает — вода отступает, выдыхает — вновь прибывает. Однако линия моря упрямо отступала все дальше и дальше. Сантиметр в год. Каждый год Бог даровал им один сантиметр. Шаг за шагом, шаг за шагом земля разрасталась. А раз Господь прикладывал такие невероятные усилия, проявлял столь бесконечное терпение, почему же и им самим не пойти тем же путем, проявить то же терпение?

Вода ли опускалась или поднималась земля?

Этого они не знали. Но Господь давал им знак. Земля несказанно медленно поднималась. Так и должно быть. Изменения происходят медленно. Сантиметр в год.

Здесь, на побережье Вестерботтена, они росли.

Рабочих было мало. Крестьян гораздо больше.

Даже слово «мелкие земледельцы» иногда казалось им слишком роскошным. До такого великолепия как «землевладелец» не доходило почти никогда. У людей было по две-три, иногда четыре коровы, не больше. Этим себя не прокормишь, поэтому приходилось подрабатывать. Весной, летом и осенью можно найти работу на лесопилке в Бюрео или грузчиком в порту. Бригады грузчиков часто приходили из деревень и держались вместе. Зимой лесопилку закрывали, а рабочих отправляли домой, порт замерзал, грузить было нечего, оставалось только рубить лес. Это выход: если, конечно, снега не выпадет так много, что лошади надорвутся или замерзнут до смерти.

Большинство ездило на заработки. Мелкие крестьяне и сезонные работники лесопилки, грузчики или лесорубы. Деревни находились за пять, десять, пятнадцать километров от лесопилки, чаще всего люди ходили пешком, реже ездили

на велосипеде — вставал вопрос с транспортом. Хочешь выжить — ищи способ передвигаться.

Были ли они рабочими? Многие считали себя скорее крестьянами. Многие точно не знали. Они работали, вот и все.

Его звали Карл Вальфрид Маркстрём, он родился в Восточном Йоггтбёле, и у него было четверо детей, включая Никанора.

Первое воспоминание об отце связано с жемчужной совой. Птица села на крышу, а Карл Вальфрид достал ружье с синим прикладом и латунным стволом, чтобы подстрелить ее. И выстрелил. Сова упала. Но, когда ее подобрали, Никанор не нашел никаких жемчужин. Он тут же заплакал, но отец сказал, что нет никакого жемчуга, ее просто так называют.

А так отец редко бывал дома. Мог прийти поздно вечером, проехав пятнадцать километров по торфянику на велосипеде, весь в поту, и с порога сказать: «Можно мне полстакана сока». А затем медленно выпить весь стакан. Он никогда не просил целый. Просить всегда надо меньше, чем тебе нужно, ведь блаженны кроткие, ибо они, нет, не наследуют землю, настолько далеко заходить никто не собирался, но все же скромные и кроткие не задирают нос, а знают меру.

Деревни всегда были небольшими и образовывали в лесном покрове незаметные дырочки.

Лес рос повсюду. Словно зеленое, светло-желтое одеяло, он равномерно расстилался поверх всего до самого берега, где утопал в море. А поперек леса между деревнями протягивались жалкие ленточки тропинок или велосипедных дорог.

Деревушки всегда были небольшими и бедными, и все же неизменно притягивали своих обитателей. Люди, которые однажды здесь поселились, построили дом и обосновались, уже не уезжали. Вместе с детьми они жили здесь веками, из поколения в поколение. Оставались мелкими крестьянами и лесорубами, женились на людях того же класса, из той же деревни или из соседней, семьи не переезжали, заведенный порядок не нарушался никогда. Если в центр деревни воткнуть иглу огромного циркуля, начертить круг радиусом в тридцать километров, а потом заглянуть в прошлое на триста лет назад, все семейство со всеми ответвлениями останется внутри этого круга.

Они живут здесь. И останутся здесь до самого момента, когда Спаситель вернется и заберет их в свое царство. Так решено.

— А из тебя настоящий мужик выйдет! — неред-

ко с любовью говорил он Никанору. — Настоящий мужик!

В деревнях всем заправляли женщины.

Причину нетрудно понять. У мужа с женой общее дело — хозяйство. Им они занимались с утра до ночи, с ранней утренней дойки до последней кормежки коров. Но, когда мужу приходилось уходить на заработки в лес, на завод или судно, жена оставалась дома одна.

Одна была за главную.

Приходилось нелегко: работа была изнурительной. Но все же ей доставалась власть. Муж уезжал в пять утра, работал, возвращался домой поздно вечером злой и усталый, мог, наверно, полчаса помочь погрести навоз, потом ужинал и заваливался в кровать. Если он работал в лесу, то не появлялся дома еще дольше. Однажды зимой Карл Вальфрид три месяца подряд проработал на вырубке леса вблизи Мало, и за все это время семья видела его дважды. Но женщины оставались дома. Они заправляли всем: коровами и детьми, молоком и маслом, выгребали навоз и читали вечерние молитвы, штопали одежду, следили, чтобы коровы телились, готовили еду и распоряжались бюджетом, били и хвалили, считались главным духовным авторитетом и

шли в молитвенный дом во главе всей семьи.

Периодически муж возвращался с работы домой. Приходил усталый до смерти, что тут сказать, как тут следить за хозяйством: он был наемным рабом и приносил в дом деньги. Лучше всего жилось в те периоды, когда он сидел дома и занимался хозяйством. Тогда дети могли видеть двух тружеников, равных, хотя слово матери было все же важнее.

Периодически до них доносились вести из большого мира о том, что где-то якобы жили женщины-домохозяйки, они совсем ничего не делали, а только сидели дома, возмущались, что с их мнением никто не считается (странно!!!), и хотели свободы или чего-то такого.

Звучит чудно́. Должно быть, это происходит далеко-далеко, в причудливой стране, где всем заправляют не женщины. И где женщины не просто не работают, а еще и позволяют себя подавлять и угнетать. Наверняка это в Конго или где-то ближе к Стокгольму, где безбожники звали себя шведами. Но все же и в местном приходе был пример описанной выше так называемой важной дамы. Жена священника. Она сидела дома и била баклуши. Все смотрели на нее со смесью почтения, изумления, презрения и недоумения.

Считалось, что она представляет собой женщину нового времени.

Берег поднимался. Спящий великан дышал.

Медленно.

В 1324 году государственный совет при малолетнем короле Магнусе Эрикссоне объявил, что «тех, кто веруют в Христа или желают обратиться в христианскую веру», приглашают поселиться между реками Умеэльвен и Шеллефтеэльвен. Они получат право свободно пользоваться землей, временно необремененной налогами.

Народ из Хельсингланда устремился сюда.

В 1413 году население Вестерботтена по подсчетам достигло 1900 человек. В середине XVI века местных жителей стало уже примерно 15 000. Однако в Шеллефтео в 1413 году жило всего 450 человек. В приходе Лёвонгер числилось 150 жителей. В 1543 году в районе Шеллефтео было 54 деревни, 350 хозяйств и в общей сложности 2632 человека. В самом Шеллефтео жило 945 человек, а в Бюрео 450.

В 1700 году в приходе Шеллефтео числилось 3000 человек, живших в 57 деревнях. Шеллефтео, 1900 год: 19 952 жителя.

Маленькие кусочки возделанной земли, разбросанные по лесной местности. Деревеньки

на побережье Ботнического залива, пятнышки, сгущавшиеся у устьев рек. Плоская земля, торфяники, несколько гор ближе к берегу.

Вот что агитатор Эльмблад называл «глухой землей».

И все же она поднималась.

Жила и чрезвычайно медленно поднималась из моря.

* * *

У Карла Вальфрида Маркстрёма была одна чрезвычайно нецерковная привычка. Он пел песни. Не псалмы и не гимны, а песни. Абсолютно мирские песни, Юсефина официально все это осуждала, но все равно слушала с некоторым удовольствием. Затем она одергивала мужа, но с довольным выражением лица, чтобы он понимал, что петь снова не запрещается.

«Печальную песню я спеть вам хочу, — весело и громко запевал он, — что вызовет в каждом скупую слезу. За качество песни уж я не в ответе. Пою, как рубили мы лес в Клеменснесе».

Песня была известной. Карл Вальфрид часто ее пел, и Никанор знал все слова наизусть. В ней пелось о так называемом Клеменснесском письме.

Иногда люди забывают, что раньше все было

иначе.

В смысле, что протесты были иными, у готовности вступить в борьбу или избежать ее имелось рациональное обоснование, что раскол произошел так естественно и существовал так давно, что противник был подготовлен гораздо лучше и знал, как поощрять и наказывать так, что уважение к власти держалось на реальном болезненном опыте. Люди сдавались не потому, что им так хотелось.

У знаменитого предательства имелись свои корни. Но, возможно, не совсем такие, как ожидалось.

В репертуаре отца Никанора была песня про Клеменснес.

В ней рассказывалось о небольшом происшествии, по-своему описывавшем духовное и профсоюзное развитие Шеллефтео. События датируются 1894 годом, песня написана тогда же. История родилась из кризиса, а предшествовали ей долгие и упорно превозмогаемые страдания. Доходы из года в год падали, увольнения случались внезапно и обжалованию не подлежали. Все зарабатывали примерно прожиточный минимум, а к северу от реки положение было и того хуже, ведь северным рабочим, в отличие от

южных, в тяжелые времена не могли помогать родственники с хозяйством поблизости.

Ситуация была ужасающей. И абсолютно нормальной. Но в конце концов норма стала невыносимой.

И вот они решили перейти к действиям. Майским вечером 1894 года назначили встречу в лесу. Пришло около ста рабочих, все собрались на опушке и были полны возмущения. Спустя полчаса обычных жалоб вперед вынесли доску, два камня, построили небольшой подиум, и первый выступающий призвал к тишине. То, о чем он говорил, всем было хорошо известно, но они все равно пристально слушали. Речь шла о жизни впроголодь, нужде и вероятной угрозе снижения заработка.

Как позже говорили свидетели, вечер выдался жарким. Многие вставали и говорили, что работать дальше не имеет никакого смысла. Мужчина по имени Бенгт Линдквист заявил, что, раз работой себя не прокормишь, можно с тем же успехом на нее не ходить. Все равно помрем с голода.

Где-то через час они приняли решение. Нужно написать резолюцию. Атмосфера накалилась до предела, и после получасового перерыва три человека были назначены для составления

обращения к руководству. Оно и стало тем самым знаменитым Клеменснесским письмом, в результате протеста сотни разъяренных вестерботтенских рабочих родились следующие знаменательные, позднее ставшие почти что классическими строки:

Директор
Уважаемый Господин У. В. Вальберг!
Шеллефтео!

Так как новая производственная инструкция, по сравнению со старой, в определенной степени расширила применение квадратного распила бревен, таким образом пропорционально уменьшив наши доходы, мы желаем почтительно поинтересоваться, возможно ли компенсировать разницу, дабы избежать падения заработка? Мы были бы чрезвычайно благодарны Вашему содействию в этом вопросе избранным Вами способом.

Мы также хотели бы выразить благодарность за Ваше невероятно человечное отношение к нам. С истинным почтением, подписавшиеся ниже.

Клеменснес, май 1894 года

Далее следовал длинный список имен. Первая подпись принадлежала рабочему по имени П. Г. Шёлунд. Пока что все шло гладко. Письмо сочинили, зачитали, подписали, а список имен оказался очень длинным.

Настоящие трудности возникли позже.

Все сошлись во мнении, что письмо получилось отличное, с удачными формулировками и тон взят совершенно верный. Обращение вовсе не казалось возмутительным. Но, когда пришло время решать, кто готов передать письмо руководству, возникли трудности.

Сначала повисла напряженная тишина. Мужчина, записавший обращение, стоял на доске между двух камней с бумагой в руке и ждал. Последовала долгая напряженная пауза. Затем слово взял рабочий из Иттервика, он считал, что логичнее всего было бы, чтобы к начальству отправился первый подписавшийся, Шёлунд. Тот пришел в полный ужас и наотрез отказался.

У него дома семья и дети, и, если на лесопилке решат, что за этой «профсоюзной» инициативой стоит он, его непременно уволят.

А детки помрут с голода, как котята. Он отказался. И стало понятно, что говорит он всерьез.

Мужчина на подиуме переложил письмо в другую руку.

В ход пошли остальные имена. Оскар Хенриксон. Пер Линдгрен. Е. А. Фэлльман. А. Дагерштедт. Н. Х. Маркстрём. Виктор Шёлунд. А. Ренберг. А. Лундстрём. Н. Нюгрен. Все отказались.

Мужчина на подиуме опустил письмо.

Стоял поздний вечер. Некоторые из рабочих уже ушли. Им завтра рано вставать.

Мужчина спустился с подиума и сел.

Клеменснесское письмо написано чернилами, крупным и аккуратным почерком, и сложено втрое. Оно сохранилось. Текст письма очевидно не самый революционный, однако никто не решился его передать.

Важно помнить, что тогда все было иначе.

«Мы также хотели бы выразить благодарность за Ваше невероятно человечное отношение к нам. С истинным почтением, подписавшиеся ниже…» Было ли положение дел в Клеменснесе хуже, чем где-то еще? Вовсе нет. Скорее наоборот: произ-

водство было выстроено менее авторитарно, чем на многих таких предприятиях. И все же они действительно боялись. Тогда все было иначе.

Спустя два часа так и не нашлось ни единого человека, готового передать письмо руководству. Так инициатива ушла в песок. Письмо не было передано. Но оно все же приобрело известность, ведь о случившемся сочинили песню и пели ее нередко. «Болтать языком тут умеют прекрасно, а сделать хоть что-то пытаться напрасно. Единства не жди, ведь ему здесь нет места средь славных рабочих из Клеменснеса». Смысл песни прост: в ней высмеиваются трусливые рабочие, которые сперва много болтали и собирались выступить против нищенских зарплат, а потом не решились даже передать письмо.

Во всем царило полное единодушие. Что привычные эксплуатация и жизнь впроголодь стали невыносимыми. Что письмо должно быть уважительным. Что сформулировано оно верно. Что никто не решался передать его начальству. По всем этим вопросам царило полное согласие.

Берег дышал. Поднимался из воды, жил. Протест может принимать множество форм.

У Карла Вальфрида Маркстрёма была одна нецерковная привычка: он пел песни. Песню о

Клеменснесе он тоже пел со смутным ощущением (быть может, не злорадством, но почти), что славные рабочие из Клеменснеса поступили неверно, сложно сказать, что было ошибочным: первоначальный замысел или его крушение? Трусость ли заглушила голос разума? Или же разум одержал верх над безрассудством? Или храбрецы превратились в трусов?

Карл Вальфрид, вероятно, не знал ответа, он просто пел. «Где семеро в небе сову разглядят, восьмой непременно увидит орлят. Девятый — вперед, но десятый — назад, таков уж давно предрешенный расклад».

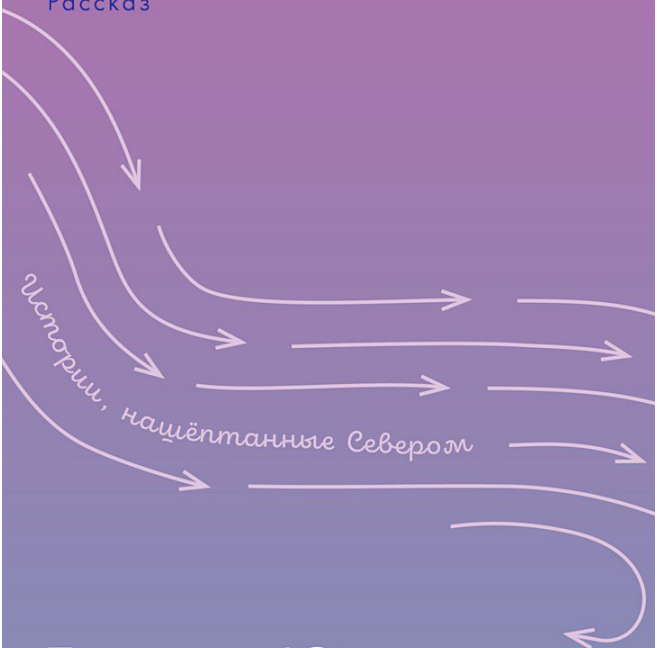
Так он и пел. Ведь единства не жди, ему здесь нет места, не только средь славных рабочих из Клеменснеса.



Торстен Юнссон
«Зимний этюд»
(Рассказ)
В переводе Полины Лисовской

В ПЕРЕВОДЕ ПОЛИНЫ ЛИСОВСКОЙ

Рассказ



Торстен Юнссон

ЗИМНИЙ ЭТЮД

Пока их соединяли, констебль Борг задумался, каким тоном Филипсон будет с ним сейчас говорить. Ожидая, констебль пил кофе и читал местную газету. Он заранее заказал вызов абонента в переговорный пункт.

— Соединяю с господином Филипсоном в Квиктрэске, — сообщила телефонистка.

— Да, спасибо. Алло! — откликнулся Борг.

В трубке что-то щелкнуло, и Борг услышал характерное шипение, знаменующее собой соединение с абонентом, однако на том конце линии никто не ответил. «Алло-алло!» — повторил констебль. Так он сидел в ожидания ответа с телефонной трубкой в левой руке и время от времени говорил громкое «Алло!». Положив рядом с блокнотом перьевую ручку, он налил себе очередную чашку кофе, при этом немного его разлив, и теперь по зеленой промокательной бумаге расползалось бурое пятно. Кофейник Борг поставил на дребезжащий поднос.

— Алло! — говорил он. — Алло! — И все это время его не оставляло чувство: Филипсон на другом конца провода прекрасно его слышит, но молчит.

Борг положил трубку и набрал коммутатор.

— Знаете, фрёкен, — посетовал он, — в Квиктр-

эске не ответили.

— Как странно. Только что они снимали трубку.

Тут телефон зазвонил, и, держа трубку на некотором расстоянии от уха, Борг услышал в ней металлический мужской голос:

— Да-а.

— Филипсон, это ты? — спросил Борг и приложил трубку к уху.

— Да-а.

— Говорит констебль Борг из Стуртэрнана, — ответил он и взял в руку перо. Затем, подождав секунду ответа Филипсона, продолжил: — Филипсон, ты же понимаешь, о чем пойдет речь?

— Не-е-ет, — тихо и будто вовсе издалека послышался ответ.

— Да нет, Филипсон, все ты понимаешь.

Тишина на том конце. Голос в трубке, растягивая слова, произнес:

— Что-то с налогами?

— Я же говорю с Георгом Филипсоном — младшим из Квиктрэска? — спросил констебль.

— Да-а, — ответ прозвучал не сразу и как-то совсем издалека.

— Но ты же понимаешь, Филипсон, что речь идет о четырех месяцах тюрьмы. Пора их отси-

деть. Филипсон, тебе же ясно, что я имею в виду?

— Аа-а.

— Филипсон, я, пожалуй, сам приеду за тобой в Квиктрэск. Давай договоримся на завтра.

— Не-е, никак не выйдет.

— Это почему же? Что, снова начал гнать самогон и не можешь теперь оторваться от дел?

— Не-ет.

— *Оплаченное время истекло, продолжите разговор?* — перебила их телефонистка.

— Алло, барышня, это невозможно, — возмутился констебль. — Абонент так долго не отвечал.

— *Пожалуйстапродолжайтеразговор*, — ответил юный женский голос.

— Так, значит, я приезжаю завтра, — заявил констебль. — Алло?

— Не-ет.

— Это почему это?

— Мне бы сперва долги по налогам выплатить.

— Верно, ты, Филипсон, и налог задержал.

— У меня векселя. Мне надо получить деньги по векселям.

— Ну ты же быстро справишься. Это же сплошь местные, кто тебе задолжал?

— Да это Густафсон тут в деревне, еще кузнец, еще из Лонгмуна там один…

— Да, прекрасно, — перебил его констебль. — Но ты можешь с этим разобраться за сегодня и завтра. Я приеду в пятницу.

— Да не получится ничего.

— Хватит пререкаться, Филипсон. Я и так долго шел тебе навстречу. Приеду в пятницу утренним поездом, и ты должен быть дома. Разговор окончен. Будь дома. И сделай одолжение, не дури. До встречи.

Ответа не последовало. Борг подождал минуту. Он так и не услышал, что на том конце провода положили трубку. Полной уверенности в том, что он только что поговорил именно с Филипсоном, у него не было.

Уже после того, как сам Борг положил трубку, снова раздался звонок, и телефонистка спросила:

— Вы закончили разговор?

— Да, — ответил Борг и повесил трубку.

«Конечно же, это был Филипсон», — решил для себя констебль.

Он попросил соединить его с налоговым инспектором в муниципальном совете. Пока их соединяли, выпил еще чашку. Кофе уже успел остыть. Как раз когда он снял трубку, чтобы позвонить в кафе и попросить их забрать кофейный поднос, подоспело соединение с муниципали-

тетом.

«Утренний поезд, пятница», — выводил он в блокноте, пока докладывал, что собирается поехать в Квиктрэск за Филипсоном и доставить его в тюрьму в Тэрнео.

— Ясно. Но будьте осторожны, — предостерег инспектор, цедя слова гнусавым голосом. — С этим Филипсоном никогда не знаешь, что он выкинет.

— Мне кажется, опасаться тут нечего. Не скажу, что он сильно обнаглел. Скорее запутался, чем обнаглел.

«Не наглый, запутался», — записал Борг в блокноте, пока слушал инспектора.

— Ну да. А в субботу нам надо ехать на север проводить допрос по делу об оленях. Подумал, что мы можем вместе поехать.

— Понял, — отреагировал констебль. — Вернусь из Тэрнео утренним поездом в субботу.

* * *

Когда констебль сошел на перрон в Квиктрэске, трескучий мороз на улице показался ему легкой прохладой после теплого купе, где его душил запах отопительной трубы, шерстяной одежды и гниющих апельсиновых корок. Он постоял на

плотно утоптанном снегу перрона в расстегнутом коротком овчинном полушубке, чувствуя, как холодный воздух начал обволакивать тело и доставать до позвоночника, проникая внутрь через рукава пиджака. Тогда Борг застегнулся и надел перчатки. Тем временем из-под локомотива на снег с фырканьем вырвалось облако пара. Сначала оно легло на перрон белой и пышной периной, но вскоре сжалось, и его тонкие клочки рассеялись в морозном воздухе.

Констебль был единственным пассажиром, сошедшим в Квиктрэске. Пока он брел по перрону, под ногами скрипел снег, в каком-то буром и безлюдном зале ожидания его шаги уже отдались гулким эхом, и, отряхнув ботинки, он вышел на улицу с другой стороны вокзала, где все тоже было в снегу. За спиной он услышал пыхтение отправляющегося поезда.

Филипсон жил в белом двухэтажном доме на холме над поселком; но прежде чем направиться туда, Борг намеревался навестить старого знакомого, шофера, жившего в доме наискосок от небольшой вокзальной площади. Пока он шел туда по дороге, местами усеянной желтоватыми, неправильной формы углублениями от конского навоза, под ногами от сильного мороза немило-

сердно скрипел снег. Посередине между колеей от цепей на автомобильных колесах блестела ледяная колея от полозьев, а по нетронутому снегу обочины, словно две широкие шелковые ленты, пущенные по белому шерстяному сукну, бежала лыжня.

Лундберг был дома; он ел, сидя за кухонным столом. В кухне пахло свежей выпечкой, и тому, кто пришел с мороза, запах свежеиспеченного хлеба напомнил мягкое тепло натопленной бани.

— Какие люди! — изрек Лундберг, подцепив на вилку картофельное пюре и полтефтельки. — Я снова превысил скорость? — поинтересовался он со смехом.

Со двора вернулась его жена Эльна, красная от мороза, в белом переднике. И в обнимку с охапкой дров.

— У тебя какое-то дело к нам? — спросила она Борга, сама при этом встала на колени перед плитой и начала складывать под нее поленья. — Кофе-то успеешь выпить?

— Успею.

— Давай, я тут кое-что испекла, — сказала жена Лундберга.

— Пахнет очень вкусно, — отметил Борг. — Я за Филипсоном приехал.

— Вот как, — кивнула женщина. — Говорят, он очень странный стал, как его суд приговорил.

— Наверное, невесело ждать тюрьмы, — предположил констебль. — Так часто бывает. Четыре месяца — срок немалый. Как правило, люди нервничают еще до того, как приходится сесть.

— Даже жалко его как-то, — посетовала Эльна.

— Да ни черта подобного, — возразил Лундберг. — Думать надо было раньше.

Деревянным ножом он соскреб с тарелки все пюре до капельки.

— Я с тобой пойду туда к нему, — заявил Лундберг и облизал нож.

— Нет необходимости.

— Конечно нет. Но я все равно могу пойти.

— Не забудь, тебе в три часа за руль, — напомнила Эльна.

— Еще полно времени. Так долго это не займет.

— Да, мне надо с ним сесть на поезд в полтретьего, — сказал Борг.

Они открыли входную дверь и съежились от потянувшегося внутрь ледяного воздуха. По дороге снег ныл под подошвами их сапог, а следы от лошадиных копыт на пути торчали мерзлыми колдобинами.

— Я подумал, что нет смысла ехать на машине,

когда тут пройти всего ничего, — оправдывался Лундберг. — Знаешь, возможно, с этим Филипсоном будет не так-то просто.

— Ты о чем?

— У него пушка.

— И у тебя есть пушка. Что в этом необычного?

— Мне ребята на лесопилке рассказали. Он у них ружье взял.

— Вот повезло, — возмутился Борг. — А кто их просил давать?

— Он им сказал, что собирается зайцев пострелять. Это просто дробовик. Но все же.

Дом Филипсона был виден издалека. Снизу у склона лесистого холма, на котором он стоял, маячила прогалина. Верхняя часть дома белела на фоне елей, а его нижняя часть казалась серой возле белого снега.

— Он так и живет на втором этаже? — поинтересовался констебль. Борг натянул цигейковую шапку поглубже на голову и, не снимая перчаток, постарался полностью закрыть уши.

— Да.

— А жильцы какие-нибудь есть у него сейчас? — При этом Борг засунул руки в карманы полушубка. В правом у него лежал пистолет.

— Нет, после суда у него жильцов нет.

Они прошли через двор и поднялись на крыльцо, констебль потянул латунную ручку входной двери. Заперто. В кармане кожаная перчатка нагрелась и чуть не прилипла к ледяному металлу. Констебль постучал так сильно, что стекла в переплетах двери затряслись.

Они немного подождали. Из дома не доносилось ни звука, стекло в двери с внутренней стороны было заклеено красной клетчатой бумагой, которая по бокам слегка отошла. Однако все равно ничего разглядеть было нельзя. Они снова стали колотить в дверь; потом еще подождали. Лундберг топал замерзшими ногами по крыльцу так бойко, что в щелях между досками хрустел лед.

— Для такого мороза ботинки слишком тесные, — пожаловался он. Влезает только одна пара шерстяных носков.

— И ты в одних этих ботинках водишь машину?

— От мотора тепло.

— Думаешь, он дома? — спросил констебль. — Я звонил ему вчера и предупреждал.

— Уверен, что дома, черт его дери, — ответил Лундберг.

Выйдя во двор, они стали заглядывать в окна в надежде увидеть внутри хоть что-то. На первом

этаже оконные стекла были холодные и прозрачные. Обойдя вокруг дома по насту и местами проваливаясь так, что снег набирался в ботинки, они увидели, что в комнатах внизу пусто, а на обоях выделяются прямоугольные следы от мебели. Двери всех комнат были открыты, и, когда мужчины снова оказались перед домом, они поняли, что нижний этаж просматривается насквозь: через окна на тыльной стороне виднелись заснеженные ели. Пол внутри был покрыт инеем, таким плотным, что по углам даже нельзя было различить половицы.

На втором этаже окна заиндевели. Но снаружи они заметили, что из печной трубы идет дым. Его светло-серая струя вздымалась строго вертикально.

— Ни хрена себе!

— Когда мы пришли, дыма не было, — заметил Лундберг. — Я специально посмотрел.

— Я тоже, — поддакнул Борг.

Переминаясь на морозе с ноги на ногу, они какое-то время размышляли, что делать. Изо рта белыми клубами шел пар. Воротник полушубка Борга целиком покрылся инеем.

— Вот я думаю, мой полушубок выдержит ружейную дробь? — вслух спросил Борг.

— С ближнего расстояния — нет.

— Вот именно, и еще надо беречь глаза. А что, если взять приставную лестницу и заглянуть в окно?

— Слушай, не надо.

— В какой из комнат он обычно сидит?

— В той, что слева, рядом с кухней.

— Помоги мне с лестницей. Но надо постараться не шуметь.

Ступая в собственные следы, обметанные по краям настом, они обошли дом. Лестница была прислонена к торцу. Борг подлез под нее, а Лундберг взялся за низ. Обхватив руками одну перекладину, Борг прижал ее к груди, уперся ногами в землю, и это позволило им приподнять лестницу. Пока Борг держал, Лундберг пятился через двор и принимал ее у Борга перекладина за перекладиной. Наконец они донесли эту длинную и громоздкую лестницу до выходившего во двор окна и бережно прислонили к стене дома, чтобы не дай бог не стукнуть.

Лестница надежно стояла в снегу, и констебль полез по ней вверх. Еще одна перекладина, и Борг головой уже окажется на одном уровне с откосом окна, но тут констебль остановился. Затем осторожно потянулся всем телом и нагнулся влево. По

нижнему карнизу лежал толстый валик льда, а на стеклах плотной листвой папоротника цвели узоры инея. Быстро приложив ладонь в перчатке к стеклу, он попытался заглянуть внутрь, но рассмотреть ничего не смог; одно он знал наверняка: самого его изнутри видно, поэтому он снова спустился на ступеньку ниже. Молча он внимательно прислушался, но изнутри не доносилось ни звука. Затем Борг крикнул:

— Филипсон! Филипсон, ты там? Спускайся и открывай!

Посмотрев на Лундберга, он увидел, что тот стоит, задрав голову, и держится правой рукой за перекладину лестницы.

— Филипсон! — крикнул Борг. — Ты что, не слышишь?

Констебль стал думать, не разбить ли окно.

Пожалуй, не стоит, а то Филипсону будет сподручнее целиться. Борг стал спускаться. Внизу Лундберг помог ему слезть на землю.

— Будем ломать дверь в прихожую, — сказал Борг.

Они поднялись на крыльцо, и констебль достал из кармана пистолет.

— Отойди-ка.

Он ударил по стеклу рукояткой. Брешь вышла

небольшая, от нее пошли длинные трещины, но прочная бумага с внутренней стороны не позволяла стеклу рассыпаться. Он ударил еще в двух местах, и оттуда посыпались осколки, оставляя на перчатках констебля белые царапины. Он просунул руку. Изнутри был вставлен ключ. Борг отпер дверь.

Они вдвоем зашли в прихожую и прислушались. Деревянные половицы лестницы были припорошены кристаллами льда, а обшитые железом края самых верхних ступеней покрывала зернистая наледь.

— Я могу со двора последить за окном, если хочешь, — предложил Лундберг.

— Стой на крыльце, чтобы он в тебя не пальнул, вдруг ему захочется.

— Хорошо, но теперь-то ему должно хватить ума нам открыть, — сказал Лундберг и вышел на крыльцо. — Не возьму в толк, почему он не открывает, — уже оттуда произнес шофер, и в дверном проеме показалось и тут же рассеялось в холодном воздухе облачко белого пара из его рта.

— Видимо, боится, — ответил на это констебль и начал подниматься по лестнице. «Ясное дело, Филипсон боится, — думал он, пока шел вверх. —

Он боится».

Борг остановился, когда его голова оказалась на уровне пола второго этажа. Пол под дверью был влажным от талого снега. «А что, если он стоял у открытой двери и слушал все, что мы говорим?» — подумал Борг. Затем крикнул:

— Филипсон! Это констебль. Я приехал за тобой.

Затем немного постоял, прислушиваясь, и ощущение от полнейшей тишины было такое, будто все происходит в замедленном темпе, словно в странном сне.

— Филипсон! — снова крикнул Борг. — Открывай немедленно, или я прострелю дверь!

Но слышно было только как Лундберг, пытаясь согреться, топчется замерзшими ногами по крыльцу. Борг стал подниматься выше. Уже наверху он прислонился к дверному косяку и приложил ухо к щели между ним и дверью. Ему показалось, что он слышит чье-то тяжелое дыхание, но при этом слышал и свое. Взявшись левой рукой за косяк и оттопырив большой палец, он крепко прижал ухо к двери. Щекой он ощутил, что та холодная. Теперь он определенно слышал чье-то дыхание.

— Филипсон! — заорал он громко и сильно пнул

ногой по нижней филенке. В тот же миг как дерево дверного полотна слегка подалось, изнутри раздался выстрел, звук которого показался Боргу очень мощным, совершенно не таким, как когда палят на открытом воздухе. Констебль бросился на пол и по-пластунски сполз немного вниз по лестнице.

Уже под укрытием верхней ступени он ощутил что-то вроде укола на безымянном пальце левой руки. На самом кончике перчатки — два небольших отверстия. Сняв перчатку, он осмотрел руку. Дробью ему поцарапало кончик пальца, а на срезе ногтя он увидел полукруглую лунку. Еще не натянув назад перчатку, он услышал обеспокоенный голос Лундберга:

— Ну как там?

— Тише! — глухо цыкнул Борг, а когда спустился по лестнице, прошептал: — По самому кончику пальца попал.

Взглянув наверх на дверь, констебль заметил в стене дырки от дроби, их было несколько, кучно у самого косяка. Дверь и косяк дробь не пробила; но стена, видно, была всего лишь из фанеры. Борг снова натянул перчатку на левую руку.

Внизу под лестницей он нашел несколько черных дробин.

— Что теперь? — спросил Лундберг.

— Побудешь здесь? — ответил на это Борг. — Я схожу позвоню инспектору. Где тут ближайший телефон?

— У пристава Пальма. Метров двести отсюда. Желтый дом слева.

— Я знаю, где он живет. Так ты тут побудешь?

— Да, черт побери, — сказал Лундберг.

Шагая через двор, констебль ожидал заряда дроби в спину и думал: «Полушубок точно выдержит»; он натянул свою теплую шапку поглубже на уши.

У пристава он заказал срочное соединение и, ожидая ответа с прижатой к уху трубкой, пожал хозяину руку, как положено, и объяснил, в чем дело.

— Пойду попробую с ним потолковать, пожалуй, — вызвался Пальм. — Как-никак, мы два года соседи. Меня он знает.

— Да, попытаться можно … *Алло*, это констебль Борг, — перебил он сам себя, когда его соединили. — Филипсон, — произнес констебль, — начал стрельбу. У него дробовик.

— Ну вот, а что я говорил, — на том конце провода послышался гнусавый голос инспектора.

— Понятно, просто я хотел сообщить, что буду

применять силу, — ответил на это Борг.

— Вам понадобится подмога?

— Нет, тут есть кому помочь. Все будет в порядке. Но силу мне применить придется.

— Ясно, осторожнее только, — уже совсем гнусаво произнес инспектор.

— Конечно, я осторожен. Могу я действовать по своему усмотрению?

— Можете, но все-таки будьте с ним поаккуратнее.

— Попытаюсь. Ну, до свидания.

Борг положил трубку, снова набрал телефонистку и попросил ее записать разговор на его абонентский счет.

— Ну и бардак, черт подери, — произнес пристав, когда они вышли на улицу. Он сплюнул, затем остановился и носком ботинка закидал плевок снегом. — По нему было видно, что он плохо кончит.

— Вы что имеете в виду?

— Пока он гнал самогон, было еще как-то более-менее, но как перестал и его осудили, стало намного хуже.

— Вот как, то есть вы давно знали, что он гонит? И не сообщили в полицию?

— Гхэх! — хмыкнул пристав и сверху вниз

взглянул на констебля, который рядом с ним казался невысоким и худосочным. Пальм поднял высокий воротник своей волчьей шубы до самых ушей и заметил: — В позапрошлом году отморозил себе оба уха, теперь нельзя, чтобы мерзли. А руки у меня никогда не мерзнут, — добавил он и продемонстрировал свои лапищи.

— Так что насчет Филипсона-то? — снова спросил констебль.

— Уж такой, какой есть, — ответил пристав.

Пальм первым прошел через калитку во двор Филипсона, и Борг отметил для себя, как Пальм поеживается в своей огромной шубе, которая закрывала его спину от затылка до самых голенищ ботинок. «Он в этой шубе выглядит так, как будто бронированную телефонную будку на себя надел», — подумал констебль.

— Я встану под окно и попробую его урезонить, — сказал пристав. — А вы, констебль, можете тем временем подняться наверх и подождать там, пока он нам отопрет.

Борг поднялся по лестнице. Поравнявшись головой с уровнем пола, дальше он пошел уже на цыпочках, но, не дойдя до верха, остановился и пошел назад. Спустившись, он поинтересовался у стоявшего на крыльце Лундберга:

— Не знаешь, это двустволка у него?

— Нет, одностволка.

— Ясно.

Тогда Борг глухо позвал пристава и велел ему: «Пристав, ждите тут. Дровяник у него там, вот та дверь?» Борг указал куда-то в сторону.

— Да.

Борг бегом пересек двор. Снег под дверью в дровяной сарай был отодвинут на четверть окружности, констебль открыл дверь и вошел, взял топор, воткнутый в колоду для колки дров. По пути назад через двор ему очень хотелось прикрыть лезвием топора лицо, но он постеснялся пристава, стоявшего посреди двора без какого-либо укрытия. Борг услышал, как пристав густым басом спросил у шофера:

— Слышь, Лундберг, ты не замерз?

— Ноги только, — ответил Лундберг. Констебль в этот миг прошел мимо него по крыльцу.

Борг поднялся на несколько ступеней вверх, после чего на корточках подобрался к двери. Достав из кармана пистолет, он положил его на пол рядом с собой. Затем лег и стал ждать, держа в руке топор. Со двора донесся бас пристава: «Слышь, Филипсон!» Борг не разобрал, что пристав сказал дальше, уловил лишь грубую манеру речи.

Лежа неподвижно на полу, констебль почуял сладковатый запах сивухи, доносившийся из-за двери, и подумал: «Ясное дело!» И в этот же миг он услышал, что за дверью кто-то мягкими шагами в одних носках пересек комнату. Борг напрягся в ожидании и услышал, как открывается окно: с треском рвались полоски бумаги, которыми были заклеены рамы изнутри, гремели задвижки, затем настал черед бумаги, заклеивавшей внешние рамы. И вдруг ему даже как-то полегчало от мысли, что Филипсон сдается, но тут прогремел выстрел. Через секунду констебль встал на колени и изо всех сил саданул топором по нижней филенке двери. Та без труда подалась внутрь, как будто сидела на петлях. Сев на корточки, он взял в руку пистолет и снял его с предохранителя, правда, большой палец в перчатке не сразу справился с небольшим рычажком. Внутри комнаты он разглядел ноги в темных брюках и серых носках, а также висящий тут же стволом вниз дробовик с дымящимся дулом, который перезаряжал стрелок. Из скорченного положения на полу Борг тщательно прицелился и выстрелил Филипсону в правую ногу, прямо в лучевую кость, чтобы наверняка ее перебить; констебль увидел, как ноги внутри шагнули к двери, но на втором шаге

правая подвернулась, и человек внутри рухнул на колени.

Борг встал на ноги и схватил топор двумя руками. Начал бить им по верхней филенке левой створки двери. Щепки упали внутрь, и через неровную щель он увидел, что Филипсон лежит на полу ничком. Борг просунул руку внутрь и отпер замок, после чего пнул дверь ногой и бросился сверху на лежащего. Схватив Филипсона за плечи, он перевернул его на спину, затем, уже сидя верхом на груди у обездвиженного им человека, решил, что этого недостаточно. И, наклонившись вперед, схватил лежащего руками за уши, отчего тот открыл глаза и его лицо исказила гримаса сопротивления, тогда Борг еще сильнее ухватил Филипсона за уши и треснул затылком об пол. Тот по-прежнему лежал под ним совершенно неподвижно, но Борг продолжал сидеть сверху, пока не почувствовал, как живот и грудь лежащего содрогаются в конвульсиях. Тогда констебль поднялся на ноги и встал на колени рядом с Филипсоном. Лежащий повернул голову набок, его стало рвать чем-то желтым вперемешку с розовыми кусочками колбасы, все это отдавало сивухой. Обхватив голову Филипсона, Борг повернул ее набок, в сторону, противоположную

от лужи рвоты, а наблевал тот целое море, так что Боргу пришлось подвинуть и тело. Рядом с мужчиной лежал дробовик, согнутый как колено. В стволе блестел латунью патрон крупного калибра с ярко-красным капсюлем.

С лестницы послышались шаги поднимающихся наверх двух мужчин. Борг выпрямился и стоя разглядывал лежащего на полу человека. Длинный серый носок на его ноге потемнел от крови.

— Ну как? — спросил Лундберг, стоя в дверном проеме.

— Сам видишь.

— А сам ты как?

— Ничего страшного. А как вы, пристав?

— В меня он не попал, — ответил Пальм, возвышаясь над лежащим в своей лохматой и толстой, как колода, шубе.

— Ну вот. Теперь он послушный, — констатировал констебль.

Двое других посмотрели на него, и Боргу стало стыдно от сказанных слов.

Он обошел и осмотрел комнату. Короткая кровать восемнадцатого века с несвежими простынями была не убрана. Чугунная печная плита была пудрово-розового цвета из-за того, что ее много топили, но никогда не чистили от нагара.

Рядом с плитой стоял двадцатилитровый молочный бидон. Боргу не пришлось в него даже заглядывать, чтобы учуять крепкий сивушный дух. На столе лежали полбатона вареной колбасы и охотничий нож.

«Нужно его куда-то переложить». Услышав за спиной голос Лундберга, Борг ответил не оборачиваясь:

— Оберните ему одеяло вокруг ноги. Нельзя, чтобы рана замерзла. Лундберг, будь добр, отвези нас на станцию, а, вы, пристав, будьте любезны, позвоните, пожалуйста, сестре Хильме и попросите ее прийти на вокзал с бинтами и прочим, чтобы мы могли сделать ему первую перевязку прямо в зале ожидания. Так будет лучше всего.

— О да, конечно, — ответил пристав и направился к двери.

— Господин пристав! — крикнул ему вслед Борг, наконец обернувшись. — Огромное спасибо за помощь, если не увидимся до моего отъезда.

Пристав ничего не ответил, и Борг увидел, как его мохнатая меховая фигура исчезает вниз по лестнице. Оставшись стоять у стола, констебль наблюдал за тем, как Лундберг трудится, оборачивая ногу Филипсона одеялом. Самому ему ничего делать не хотелось. Тем более вытирать пол. Он

слышал, как человек на полу тяжело дышит. Затем он отошел от стола и закрыл окно.

— Помочь тебе? — спросил он Лундберга, стоя к нему спиной.

— Нет, я справлюсь.

Внутри было холодно, несмотря на то что дверь он закрыл, и какое-то время Борг ходил туда-сюда по комнате. Наконец правая нога Филипсона лежала на полу, завернутая в толстый куль из одеяла. Борг снова подошел к окну.

— Ни хрена себе, как метко ты стреляешь, — донеслись до констебля слова Лундберга.

Борг ничего на это не ответил. На столе лежала газета, открытая на развороте с комиксами. Он поднял ее, чтобы рассмотреть на просвет заиндевелого окна. Снизу на полях неровными печатными буквами было выведено:

ПРИЕДУТ
— ПОЛУЧАТ НА ХРЕН ВЗБУЧКУ.

А ниже с загибом за угол газетной полосы и дальше вверх по полям, затем снова за угол и вниз по противоположному полю, и снова за угол вверх, выведенное послюнявленным тупым химическим карандашом, каким-то детским почерком значилось следующее:

Карл Филипсон, поселок Квиктрэск, приход Стуртэрнан, лен Вестерботтен, Швеция, Скандинавия, Европа, мир, небесное тело Земля.



Выходные данные

Литературно-художественное издание

ИСТОРИИ, НАШЁПТАННЫЕ СЕВЕРОМ

Антология шведской литературы

Микаэль Берглунд, Мария Бруберг, Нина Вяха, Солия Крапу-Каллио, Элин Анна Лабба, Торгни Линдгрен, Андреа Лундгрен, Кент Лундхольм, Мона Мёртлунд, Анника Норлин, Аннели Ругеман, София Рютбек Эрикссон, Стина Стур, Пер Улов Энквист, Торстен Юнссон

Сборник подготовлен семинаром переводчиков шведской художественной литературы им. А. В. Савицкой при поддержке Шведского совета по культуре.

Перевод со шведского *Наталии Пресс, Елизаветы Голубевой, Наталии Братовой, Аси Лавруши, Натальи Асеевой, Екатерины Крестовской, Анастасии Шаболтас, Яны Бочаровой, Алексея Алёшина, Ольги Костанды, Юлианы Григорьевой, Юлии Колесовой, Юлии Шубиной, Ольги Денисо-*

вой, Полины Лисовской

Издатель *Евгения Рыкалова*
Руководитель редакции *Юлия Чегодайкина*
Ведущий редактор *Анна Устинова*
Арт-директор *Ольга Медведкова*
Дизайн обложки *Ольга Медведкова*
Литературный редактор *Мария Пономаренко*
Корректоры *Ольга Калашникова, Екатерина Назарова*
Компьютерная верстка *Антон Гришин*
Продюсер аудиокниги *Елизавета Никишина*
Специалист по международным правам *Татьяна Ратькина*